

НИЖНИЙ
НОВГОРОД

N I Z H N Y N O V G O R O D 2 / 2 0 1 5



СЕРГЕЙ
ШАРГУНОВ
Москва

4



ТАТЬЯНА
ДАВОВИЧ
Германия

34



ВИКТОР
СИМАКИН
г. Кстово

58



ВИС
ВИТАЛИС
Москва

70



ЕЛИЗАВЕТА
ЕМЕЛЬЯНОВА-
СЕНЧИНА
Москва

76



ОЛЬГА
РЭСНЕС
Норвегия

87



МИХАИЛ
ЧИЖОВ
Нижний Новгород

157



ВЛАДИМИР
СИЛКИН
Москва

168



ИРИНА
ДЕМЕНТЬЕВА
Нижний Новгород

175



ЕВГЕНИЙ
ЧИГРИН
Москва

182



ИГОРЬ
ЗОЛОТУСКИЙ
Москва

188



ВЕРА
БИШИЦКИ
Берлин

212



АЛЕКСАНДР
РЕШЕТНИКОВ
г. Семенов

233



ЕВГЕНИЙ
ГАЛКИН
Нижний Новгород

242



АНАСТАСИЯ
АНОСТОВА
Нижний Новгород

259

В НОМЕРЕ

Проза

Сергей ШАРГУНОВ	
СВОЙ	4
Евгений ЭРАСТОВ	
ОШИБКА	14
ПОГОВОРИ С ЛАРИСОЙ	20
НЕДОРАЗУМЕНИЕ	27
Татьяна ДАГОВИЧ	
ЗА ГОРОД	34
Сергей ШАУЛОВ	
СЛЕПЫЕ	44
Степан ШМЕЛЕВ	
ЗАВТРАК О ЛУНЕ	49
Виктор СИМАКИН	
ТАНЯ ЗОЛОТОЙ ЗУБ	58
ПАССАЖИРЫ «ГОЛУБОГО ДУНАЯ»	64

Поэзия

Вис ВИТАЛИС	
...И ЮЗЕР GOD РАСФРЕНДИЛ МЕНЯ	70
Елизавета ЕМЕЛЬЯНОВА-СЕНЧИНА	
ЗА БОГОМ НА ПЛОЩАДЬ ГАЛОПОМ НЕСТИСЬ...	76
Алексей ТАИРОВ	
ПО СЛЕДАМ ВОДОМЕРОК	80

Проза

Ольга РЁСНЕС	
ДОНСКОЕ	87
Валерий РУМЯНЦЕВ	
ПРИСЯГА	150
ДОРОГА НА ФРОНТ	152
ПУХОВЫЙ ПЛАТОК	154
Михаил ЧИЖОВ	
ПОПУГАЙ	157
Евгения ОРЕХОВА	
РОЯЛЬ	165

Поэзия

Владимир СИЛКИН	
НЕ ГАСИ СВЕЧУ, СТАРШИНА....	168
Ирина ДЕМЕНТЬЕВА	
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ – В БОЛЕЗНИ ПЕРЕМЕН	175
Евгений ЧИГРИН	
СТАРАЯ МУЗЫКА СНОВА ПРИХОДИТ ЗА МНОЙ....	182

Вехи памяти

Игорь ЗОЛОТУССКИЙ	
ПЕРЕД ЗАПРЕТНОЙ ЧЕРТОЙ. Константин Симонов: часовой при эпохе	188
Лидия ДОВЫДЕНКО	
КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТРАНЗИТ ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА	197
Николай БЕНЕДИКТОВ	
БОГОСЛОВ, ПОЛИТИК, ПАТРИОТ. Слово о патриархе Сергии (Иване Николаевиче Страгородском)	205
Сергей УТКИН	
ПРОЗАИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ	210

Эпистолярный

Вера БИШИЦКИ	
«АХ, ЭТОТ ФРАК!.. ЗАЧЕМ ОН ЕДЕТ КО МНЕ?»	212
«КАКОЕ БЕЗОБРАЗИЕ ЭТОТ СТОЛИЧНЫЙ ШУМ!»	222

Культурный код

Николай МОРОХИН	
КРАЯ КРАЕВА	228

Стихи по кругу

Владимир РЕШЕТНИКОВ	233
Андрей ДМИТРИЕВ	234
Александра ПОЛЯНСКАЯ	235
Борис АНДРИАНОВ	235
Александр ЖУКОВ	236
Георгий ПАНКРАТОВ	237
Екатерина КАРГОПОЛЬЦЕВА	238
Владимир ЛЕБЕДЕВ	239
Оксана ШИКОВА	239
Андрей ТРЕМАСОВ	240

Из будущих книг

Евгений ГАЛКИН	
ЖЕРТВЫ ЛЮТОЙ ЛЮБВИ	242

Книжная полка

Анастасия РОСТОВА	
ПРАВДА ПРОЩЕНИЯ	259
Елена КРЮКОВА	
ВОЗВРАЩЕНИЕ	262

Сергей ШАРГУНОВ

Родился в 1980 году в Москве в семье священника, преподавателя Духовной академии. Выпускник МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «журналист-международник».

В 1998–1999 годах участвовал в думской комиссии по расследованию событий осени 1993 года. Работал в «Новой газете» спецкором в отделе расследований у Юрия Щекочихина, обозревателем в «Независимой газете». Обозреватель радиостанций «Коммерсантъ FM» и «Финам FM», главный редактор портала «Свободная пресса».

Публиковался во многих литературных журналах, книги Сергея Шаргунова переведены на итальянский, английский и французский языки. Лауреат премии «Дебют» в номинации «Крупная проза», государственной премии Москвы в области литературы и искусства, итальянской премии Arcobaleno, финалист премии «Национальный бестселлер». Живет в Москве.

СВОЙ

– Нас окружают, – сказал парень рядом.

И сразу Илья услышал то, на что не обращал внимания.

Вкрадчиво хрустели ветки. Словно подавая сигналы.

Лес, высоченной чернотой обступавший просеку, был полон нехорошего движения.

Это была даже не просека, где они стояли, а разбитая колея с окаменелыми комьями земли, а слева и справа кто-то с треском приближался.

Хряск, хряск...

– Окружают, – сказал парень виновато. – Лучше посижу, – он быстро опустился на землю: призрак человека с призраком автомата.

Хряск, хряск...

– Окружают, – несло от одного к другому.

– Тишина! – отрывистый приказ. – Заткнулись!

Илья замер, остановив дыхание, разом прикинувшись неживым. Хруст перестал, значит, и в лесу тоже замерли, и от этого стало жутко. Ночь густела – еще чуть-чуть, и можно мять ее, как пластилин.

Он ссутулился, чувствуя горб рюкзака и неловкий черепаший панцирь бронжилета, нянча двумя руками автомат, ставший липким и по-чему-то лишним.

– Я слышал рации, – пылкий шепот.

Успокоительно:

– Здесь зверей много.

За деревьями размашисто зашуршало, как будто протянули тяжелую тушу.

Илья повесил автомат на плечо, снял каску, душившую горло ремешком и накрывавшую слух, опустил на землю.

Ведь всех сейчас уложат, двенадцать человек. Уложат... Вряд ли плен. Просто всех уложат...

В небе навстречу его молниеносному взгляду пролетела лучистая строчка. Следом еще одна. Звездопад. В эту ночь был настоящий звездопад. Звездная собачья свадьба. Их было непривычно много, и они там в своей тоскливой серебристой вышине клубились, грызлись, металась – наверно, лаяли. Откуда еще увидишь такое небо? Мы уже пересекли границу? Сказали: да...

Удивительно – конец мая, но здесь ни одного комара.

По сухим комьям дороги заиграли яркие лучи фонарей.

Людские фигуры шатнулись, выпуская к лесу двоих. Илья споткнулся и, выпрямившись, в каком-то инстинктивном танце проскользнул к машине, бронированной белой «газели» с облупленной зеленой полосой на борту. Влез внутрь – было черно и пусто – пробрался на последнее сиденье, к бойнице, откинулся, поставив автомат между ног, и закрыл глаза.

Сколько времени? Время в телефоне, телефон приказали сдать еще давно, чтобы не засекли.

Уснул в минуту – отрубил опасность...

Разбудил грохот. Что-то ползло мимо. Вылез, увидел грузовик, который встал с погашенными фарами.

Позади «газели» темнело плотное стадо, грузовик к грузовику.

Наскочил старшой, с силой хлопнул чье-то плечо, протараторил в возбуждении:

– КамАЗ полетел!

– Как?

– Застрял! – Глаза, хорошо различимые в темноте, казалось, светились, проясняя бешеное лицо с клочковатой бородой.

Илья почувствовал бодрость: есть подмога, окружения нет... Прислушался. Хруст, вроде еще звучал, но нестрашный, уже жалобный. Может, и правда звери, но ничего, много нас, охотников. Или это сами деревья приветствуют освободителей скрипом.

Пошел навстречу грузовикам. На дороге теснилась молчаливая толпа, он продирался сквозь нее – разбирали автоматы, натягивали броники и каски.

А там, куда поднималась зябкая дымка, там по-прежнему сверкал звездопад...

Возле одного КамАЗа было пусто, но из черной пасти открытого кузова доносился гуд. словно бы улей инопланетных пчел. Непрерывные голоса сливались в сладко-гортанное прожорливое урчание. Неужели демоны ночные? Может, их прислал звездопад?

– Братан, кто там? – окликнул первого встречного.

– Чего?

– Это че за гундеж?

– А... Чечены!

– А...

– Погнали! По машинам! Быстро! – раздались крики.

Он прошел кромкой леса и, поняв, что возвращаться к своим поздно, приблизившись к случайному грузовику, запрокинул голову:

- Ребят, сюда можно?
- Мест нет!
- Да ладно, лезь!

Он ухватился за крепкую камуфляжную руку и вскарабкался туда, где было битком. Захлопнулись. Засел на дне, верхом на «шимеле», круглой трубе, на которой с первой минуты больно стало подскакивать, но и держаться оказалось не за что... Встал на колени, протиснувшись к боковому борту и вцепившись в его железо, и теперь так и ехал – с автоматом на плече, на коленях около пулемета, а сверху кто-то сказал ласково:

– Я когда стрелять начну, ты головушку нагни...

Грузовик помчал. Молчали напряженно. Дорога сузилась. Ветка хлестнула по кузову, как выстрел, боец справа в ответ лязгнул затвором, неотступно уставившись в лес.

Начало светать, среди смутно-сизой дымки лес обретал насыщенно-летние тона, и проступали те, кто был в кузове. Илья посматривал на них, пятнистых и крупных... Рожи славянские... На руках кожаные перчатки без пальцев, некоторые в вязаных масках...

– Ты с каких мест? – спросил все тот же ласковый голос.

Илья покосился вверх – человек не прятал лицо, добродушное и спокойное: голубые глаза под оранжевыми бровями, полные щеки повара тряслись, красноватые, как будто распарились у плиты.

– Москва...

– Ых!

Этот насмешливый вдох перекинулся на весь кузов, но тут их мощно подбросило, и раздался общий выдох ругани.

– А вы откуда? – крикнул Илья, перекрывая ветер и скорость.

Вырвались из леса на голое пространство степи.

– Беркута! – почему-то этот хлипкоголосый слышен был отчетливо. – Я с Харькова. Да кто откуда...

Въехали на пригорок – привстав и глянув назад, Илья увидел петляющую между полей и рощиц дорогу, по которой, вздымая пыль и рассеивая рассветную мглу, слепя фарами, гнали вперед и вверх грузовики.

А наверно, весело сейчас разбомбить этот караван...

Машина опять взлетела. Мина? Их швырнуло друг на друга и пере мешало – валясь с ног, стучаясь автоматами, они неразборчиво заорали все вместе, возмущенно, но и восторженно, как будто в порыве братания. Илья зажмурился, цепляясь за уплывавший ящик, укатывавший огнем и чьи-то шнурованные ботинки.

По крыше гулко застучали кулаки.

– Шумахер хренов!

– Эй, козел! Слышь, не газуй!

– Как приедем, шофера сразу к стенке, – заржал казак с пушисто-седыми усами, в синем мундире и синей фуражке с красным околышем, чем-то похожий на букет полевых цветов.

– А правда, почему он так гонит? – выпалил Илья.

– Когда быстро, попасть сложнее... – объяснил пулеметчик.

– Откуда?

– Да откуда... Хоть с земли, хоть с неба... Думаешь, они не знают, что мы едем? Вчера бой был... Три машины сожгли...

– Два «двухсотых», шесть «трехсотых», – готовной скороговоркой отозвался кто-то справа.

Илья всматривался в рассветную местность: где затаилась засада – за тем аккуратным, точно подстриженным кустом или в той голубова-

той траве?.. Как он умудрился посеять каску? Какая завидная, наверно, мишень его голова, которая крутится и подпрыгивает над железным бортом... Наверно, ее первой разобьют!..

Колени болезненно ходили ходуном, ему хотелось нагнуться в поклоне, спрятаться хоть за какой-то заслон, но этого унижения он не мог допустить.

Левое плечо тяготили моталавтомат: «Доброволец. Ты – доброволец».

Поднял глаза на пулеметчика:

– Победим?

Тот неожиданно по-родственному сощурился:

– Сто процентов!

Вдали то ли туман, то ли привязанная коза...

«В эту ночь решили самураи перейти границу у реки, – песня из детства, зачем-то он пытался расшифровать ее, иногда зависая на словах, как в молитве. – Так... Перейти границу... И я тоже – через границу, ночью... Но разведка доложила точно... И летели наземь... Значит, если нас встретят сталью и огнем, мы полетим наземь... Но это как? Сразу смерть? Или можно упасть, уползти, затаиться под кустом? И лет-е... наземь самура-а...»

Он стал себя развоплощать, готовить к смерти, подумал о друге Иване по фамилии Пушкин, который не узнает про эту войну. Отчаянный гуляка, поэт, блондин. Он часто шутил о смерти. Однажды позвал гостей на день рождения ровно к девяти вечера – «и ни минутой позже». Дверь была открыта, они прошли в комнату, где хозяин лежал, сложив руки крестом на груди, а неизвестный снимал с него гипсовую маску. Такой розыгрыш. Маску Иван повесил над диваном. А год назад, в конце мая, его нашли в Филевском парке с проводом на шее. То ли повесился, пьяный, то ли повесили... Он лежал в гробу, похожий на себя тогдашнего на диване, весь похожий на слово «поэт», с лисьей большой усмешкой... И вот сейчас лететь в неизвестность по извилистой дороге – это была как бы сопричастность другу... Он как бы летел по его мертвой улыбке... «Я рискую головой, чтоб тебе там было не так обидно... Ну если что, стану, как ты».

А вот о девушке Полине и о матери почему-то ничего не подумалось... Наверно, из жалости к ним.

Полина, с которой недавно стали жить. Длинношея. Девочка-мерзляка. Кожа гусиная на лебяжьих косточках.

– Держись, Москва! – Кто-то, оскалившись многочисленными стальными зубами из прорези в черной маске, поднял перчатку с торчащим вверх голым большим пальцем. – Мы все теперь москали!

Опять тряхануло – затормозили...

И тут же, как остальные, Илья посмотрел в небо, пытаясь разглядеть вертолет, стрекочущий в сизо-белесом облаке.

Зачертыхались.

Позади один за другим, гася фары, останавливались грузовики. Из кабины выскочил мужичок в ватнике и крикнул, задрал мелкое детское лицо:

– Наземь! – И после паузы: – Приказ «Хорвата»! – Он потрясал хрипящей рацией с толстой антенной, словно какой-то игрушкой вроде танчика.

Илья, как все, снял автомат с плеча, перекинул ногу через борт, потом вторую – оттолкнувшись, прыгнул.

Позади и спереди тоже прыгали.

– Ложись! – прозвучало уверенное, и он немедленно растянулся рядом с человеком в маске, как и он, выдвинув автомат вперед себя.

Они залегли на краю дороги в жесткой траве, позыркивая друг на друга и вверх, где под настырный механический стрекот выплывало огромное красное солнце.

Солнце юга заливало все собой.

Стрекот слабел, таял, пока не исчез.

Утреннее тепло стелилось по степи.

Илья легко и радостно вскарабкался со всеми в грузовик и пускай ехал по-прежнему на коленях, но высунувшись по бронезиловую грудь, точно бы вырос. Избежали окружения, избежали боя. Неужели так все и будет – ни одного выстрела? Видно, в этом особые чары войны – не сам бой, а постоянная его угроза. Автомат он сообразил снять с плеча и придерживал рядом со стволом пулемета.

Черный остов выгоревшего грузовика, кругом по траве барахло, наверно, из рюкзаков. Боец справа с чувством рывкнул, Илья не слышал, но на всякий случай кивнул. Террикон, величественный, как усыпальница дракона. Распаханное серое поле, ноздреватое, как хлеб. Мазанки, похожие на большие куски каменной соли. Старушка, издалека похожая на беззаботную, даже веселенькую тряпичную куклу.

Машина пошла медленнее. Блокпост. Трехцветный флаг воткнут между сложенных стопкой шин. Мальчишеские фигуры, озорные окрики, машущие загибающие руки...

И был город, и площадка возле какого-то армейского здания – широкие бело-голубые плакаты из недавнего прошлого требовали «Захист Вітчизни». Все прибывшие плотно кучковались, как бы робея, стараясь не стоять поодиночке.

Зато по центру площадки разминались чеченцы, каждый – видный, подарочный. С хрустом играли плечами, опирались на автоматы, как на костыли, посмеивались, черно-, рыже- и седобородые. Они перед кем-то рисовались. Обернувшись, Илья увидел заброшенный недострой, бетонные блоки с оконной пустотой – хорошенькое место для снайпера. А чеченцам будто бы и нравилось – дразнить темноту квадратных провалов...

Когда началось, все время читал новости... Подумывал ехать в Крым. Одессу не давал Полине смотреть, и сам отворачивался. Он и Донбасс не мог смотреть. Из жалости. И не мог не смотреть. И так хотелось прорваться через линзу телевизора. Через границу.

– Ты даже в армии не служил.

– Стрелять я умею. Я в тире всегда круто бью.

Прошлым летом были с ней в Одессе недельку, поливали лимоном барабульку в кафе на Ланжероне, и ничто, как говорится, не предвещало.

На войну подбил Серега, приятель со студенчества. Свел с движением добровольцев. Тоже собирался. В последний момент не смог. А Пушкин бы поехал, Иван, обязательно, несомненно, по любасу бы, но этот друг в земле. Уже скелет, наверно.

Илья, никого не предупредив, однажды майским утром собрал рюкзак, улетел в Ростов.

Полине сказал, что в Вологду, по делам издательства. Поверила: у него случались командировки.

И вот он здесь.

– Купол, – статный лысый мужчина, задержав, взвешивал рукопожатие.

– Вампир. Туман. Элвис Пресли, – звучало негромкое. – Ангел. Пятерочка. Самурай.

– Веселые клички, – паренек-новичок, дергая узким плечом, подтягивал автомат.

– Клички у собак, – хмуро-привычно поправил Купол.

Точно: голова как купол, круглая и нагая.

– А ты кто будешь?

– Не знаю...

– Незнайка, что ли?

– Позывной каждому нужен, – участливо объяснил старшой бородач, с которым пересекали границу. – Я Батон, можно Батя. Давай соображай: какой твой позывной?

– Ой, мне без разницы, – Илья растерянно заулыбался. – Любой подойдет... Не, ну серьезно, любой...

– Нормальный позывной, – разрешил лысый. – Пусть так и будет.

– Как?

– Теперь ты Любой.

– Почти любовь, – определил старшой.

Он лежал на матрасе в большом подвале после риса с тушенкой. Электрический свет из коридора тек в открытую дверь. Слева всхрапывал какой-то богатырь. Справа переговаривались. Один шептал настойчиво, немного шепеляво, будто шуршал целлофаном (Илья сразу дал ему позывной Целлофан), другой отвечал в голос, но приглушенно, смутно, как в бутылку:

– Пионер... У него в Краматорске правосек друга зарезал. Ну, он к нам.

– Зря он жестит. А все же надежный. Мало таких... Молодежь не идет...

– Есть, но мало.

– Только те, кто в Союзе жили... Они понимают, шо почем. Вот меня возьми. Я гроз* четвертого разряда. Сечешь? Так-то. Отец гроз и дед гроз. У нас забой да забой. А у молодежи шо? Забей да забей...

– Давно войны народ не нюхал!

– И ты заметь, все эти годы – мир и покой, а люди звереют! Раньше про собак говорили: сука, кобель. А теперь как? Мальчик, девочка... А сами звери!..

Илья усмехнулся сквозь побеждавшую дрему. Перед закрытыми глазами сверкал звездопад.

Ему снилось что-то детское. Он бесконечно тонул в мягком свете, качаясь в гамаке, тонул и качался, и дальше тонул. Повернувшись на бок, сквозь слипшиеся веки увидел бронжилет, автомат, берцы, сначала размыто-сказочные, но стремительно обретавшие неотвратимую жесткость.

В тех же грузовиках прикатили к площади, полной народа, и выстроились с краю. На площади люди кричали хором, по складам, просительно, жарко, запрокидываясь и высоко размахивая флагами. Они кричали: «Россия!»

Женщины побежали к грузовикам, наперегонки, с цветами. Возле Ильи у бокового борта стояли все в масках и хватали стебли перчатками.

* Горнорабочий очистного забоя.

Илье достался махонький и невинный, с закрытым розовым бутонем мак, похожий на мышонка. Его протягивала не первой молодости тетка с красиво-горемычным, как бы вспухшим лицом, большим влажным ртом и большой грудью, взбудораженно гулявшей под синим платьем. Распущенные волосы ее были светлыми, но пока она тянула цветок, Илья увидел взлипшую подмышку с темными водорослями и подумал, что голова крашенная.

Побросали цветы на дно, по команде подняли вверх автоматы, перевели на одиночные и начали стрелять – залп, два, три... Это он умел.

Женщины отбежали обратно в толпу, которая перестала кричать и бессвязно бормотала. Салют по мертвым. Илья, дергаясь щекой на грохот, давил на гашетку и опять вспомнил друга, найденного в Филевском парке у тополя в первом пуху в петле из провода.

«Вот и пострелял», – подумал, нагибаясь за цветком, и обжег пальцы о дымившуюся гильзу.

На рассвете отправили в аэропорт.

Батон шутовским жестом протянул к дверям автомат, они услужливо разъехались, и Илья вошел вместе со всей группой.

Те, кто проник раньше, казались пассажирами, ждущими ранний рейс. Слонялись, отражаясь во внутренних стеклянных конструкциях и промытых витринах, за которыми было еще темно, вчитывались в электрические икринки табло, сидели на рюкзаках, правда, все были вооружены, а некоторые курили назло табличкам на украинском и английском.

Пустые стойки... Ни милиционера, ни уборщицы...

Длинный тип в черной пиратской косынке подошел к стене с высоким серо-стальным барельефом (приветный старик в очках) и продекламировал нараспев:

– Композитор Сергей Сергеевич Прокофьев.

Батон иронично икнул куда-то в клочья бороды.

– Му-му-мум-му-му-му! – вдруг запел длинный. – Му-му-му-му-у-у! – И торжествующе возгласил: – Любовь к трем апельсинам!

– Не слыхал о таком извращении, – Батон отечески осалил его по плечу. – Короче, обстановочка, – он понизил голос, притягивая к себе группу. – Там, в том терминале... – перчатка показала в отточено-полированную даль, – спецназ кировоградский. Они нам на фиг не нужны. Пускай в Киев улетают на своем летаке... А они и не против. Все будет хорошо.

– Да мы даже не сомневаемся! – громко сказал Илья, и его поддержало несколько хохотков.

Время текло вяло и сонно, но когда солнце засветило вовсю, началась движуха. Купол, зашуршав какими-то картами, подозвал Батона, и тот стремглав повел отряд за собой.

Пробежав несколько пролетов вверх, Илья вынырнул из люка под слепящее пекло.

И тут они были не первыми – на широкой крыше расположилось человек двадцать автоматчиков.

– Загораем, пацаны, – Батон поймал в кулак бороду, будто сейчас сорвет, как ненужную в этих краях шерстяную вещь.

Метров за сто на такой же башне копошились вражеские фигурки, передвигали железки...

– Знаете, чем мы отличаемся? – засипел, садясь на корточки, седовласый мужик в тельнике. – Мы идейные, а они по приказу.

– Среди укропов идейных хватает, – опроверг Батон. – Под Волновахой одного взяли, плачет, сопли утирает, а все долдонит: «Я прав»...

Длинный в косынке (Илья забыл его позывной) раскачивался на джинсовой ноге и пел в телефон:

– Мамуль, я дома. Где-где? В Ялте! Это я симку сменил, старый сломался, мамуль! На днях заеду! А? Мамуль, ты их не таскай! Приеду, вместе на рынок ходим! А? Чего ты, мамуль?

– Эй, упадешь! – окликнул его осетин, мохнатый шар (позывной Гром), напряженно занявший место возле станка с гранатометом.

Тот приложил острый палец к губам и так же на одной ноге сделал несколько скачков от края.

– Мать в Мисхоре, – объяснил жалобно, – думает, троллейбус вожу. А может, и не верит. Мамку никогда не обманешь.

– Извини, – вспомнил Илья важное, – дашь позвонить? Я коротко!

Полина подошла с первого гудка.

– Привет, – сказал он, и неожиданно для себя выдавил: – Я на Д.

Почему-то так произнеслось.

– Где?

– На Д., – сказал он тверже, и замолчал. – Мне нельзя здесь много разговаривать.

– Что ты молчишь?

– Смотри про нас в новостях, – и разъединился.

Подошвы скрипели гравием, обильно покрывавшим крышу. Голову пекло, по лицу струился пот, следовавший дальше, по шее, по ключицам. Дебильное солнце! Если разуться, наверняка этот гравий будет жечь, как угольки.

– Твоя! – длинный протянул трубку.

– Сбрось, – Илья замахал руками, – не подходи...

– Минометы, снайперки, ПЗРК... – Батон изучал вражескую стору, приложив к глазам здоровенный, как две сложенные гирьки, бинокль. – Ниче, мы повыше ихнего сидим!

– А выше нас никого? – надтреснуто спросил человек в защитной гимнастерке (позывной Кобра, а Илья дал бы Вобла), заветренный видок доходяги и свежая георгиевская лента бантом на рукаве.

– Сверху только Бог, – отмерил Батон рассудительным тоном бармена.

– Это понятно... Я же не про то... – Кобра засмутился. – А сверху-то нас не того?.. Сверху-то, а?..

– Разве ворона прилетит... Так если пометит – это к славе! – Батон мягко пошел к нему, переложив автомат из правой в левую, приравливаясь хлопнуть по плечу. – Аэропорт новенький. Столько бабок вбухали... Кому надо такое добро ломать?

– Внимание! Друзья! А мы ведь толком не познакомились! Предлагаю на этом вынужденном пляжу... пляже... – Длинный, сияя, обводил всех острым пальцем. – Вот ты! Откуда?

– С Макеевки, – буркнул Кобра, но вскинул глаза: лицо на миг ожило, пополнило.

– Кем работаешь?

– Сталеваром.

Батон опять приложился к биноклю, направляя его куда-то вверх, в безоблачную температурную синь.

– Что же привело вас на наш холостяцкий пляж? – Длинный играл своим указательным в микрофон.

– Как шо? – Кобра вновь проглотил щеки. – Затрахаля. Всю жизнь мозги трахают вместе с языком. Хоть дети отдохнут.

– Слыхал анекдот? – неизвестно кого спросил осетин. – Встретились в пустыне лев, козел, лис и спорят: кто главнее. Нет, погоди, не козел, перепутал. Лев, лис... И кто? Погоди!

– А что здесь забыл москвич? – Неугомонный палец целил в Илью.

– Он не москвич, он Любой, – зевотно сообщил седовласый мужик в тельнике, все сидевший на корточках.

– Точно! Любой! – Палец дрыгнулся. – Прикольное погнало!

– Да, я любой, – сказал Илья раздельно. – На моем месте мог быть любой... Любой русский человек...

Длинный выхватил телефон из кармана:

– Алло! Мамуля, не звони, я за рулем! Осторожно, двери закрываются! Я сам перезвоню!

А Батон как выпал из трепа, так и молчал, не отрываясь от бинокля и вода им по небу, словно в поисках малейшего облачка.

И вот что-то серое показалось в синеве.

– О! – возликовал осетин. – Слушай сюда! Лев, осел и лис! Осел такой...

Вертолет наполнил небо рокотом. За вертолетом шел серебристый штурмовик. Зарычали, забранились, и сразу стало не до слов.

Вспышка. Подкинуло, оглушило, повалило, осыпало острым гравием, все заволокло черным дымом, рокотало небо, новая вспышка, таранный удар потряс основания башни...

Он ринулся в люк и покатился вниз за остальными. Там все горело, и орало, и дергались тела... И кто-то палил зачем-то в остатки стекол, которые осыпались, и выбегал, и падал, потому что лупили отовсюду – и снайперы, и минометчики, а самолет и вертолет, и еще один вертолет заходили на новые круги...

Он никого не узнавал и плохо понимал:

– Пушкой...

– НУРСами...

– Летит, летит, летит обратно!

– Десант сажает... ПЗРК сюда!

– Нету... Не взяли!

– Миномет давай!..

– Нет взрывателей...

– Любой! Ты чего не отвечаешь? – Батон, безумный, в кроваво-дымящейся одежде, с опаленной бородой, тарачился на него. – Марш на крышу! Раненых забирать! Любой! Я тебя прикончу!

– Что? – очнулся Илья.

– Ты что? Как тебя зовут? Любой!

– Я – свой! Свой я!

– Ты – Любой!

Но до крыши им не дал добраться новый удар...

Потом, доползая по осколкам в конец зала, он помогал чеченцам крушить стойки, отчаянно и стремительно, не зная для чего, потом запалили костер («Маскировка дымом!») – закричал кто-то, и это объяснение надеждой застучало в висках). Обжигаясь, тащили горящие куски пластика к проемам и кидали наружу. Потом бежали к грузовику.

Его ударило в ногу, выше колена, он упал, и стало смеркаться, и было спокойно, только услышал как бы сквозь нараставшую воду:

- Режь штанину.
- Не до этого... Тащи.
- В яйца метил.

Очнулся, трясло. Рядом, с забинтованной головой, лежал щекастый повар, розовый пузырь качался на губах. Глянул мутным глазом, подмигнул. Теснота от тел.

Илья не знал, что несется в грузовике, доверху груженном ранеными, а через минуту накроют огнем.

И тогда он окончательно забудет, как его зовут.

Евгений ЭРАСТОВ

Родился в 1963 году в Горьком. Окончил Горьковский медицинский институт и Литинститут (семинар Юрия Кузнецова).

Доктор медицинских наук. Автор шести поэтических и четырёх прозаических книг, многочисленных публикаций в «толстых» журналах, зарубежной периодике. Победитель международных поэтических конкурсов «Рождественская звезда» (2011), «Цветаевская осень» (2011), имени Сильвы Капутикян (2013).

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

ОШИБКА

Михаил Дурнищев не принадлежал к гедонистам. Никогда удовольствия жизни не привлекали его, никогда не видел он в них смысла существования. Он всегда был натурой мыслительной и деятельной, и, наверное, даже в большей степени деятельной, нежели мыслительной. Меньше всего на свете верил Михаил Никанорович в судьбу, в то, что расположение звезд на небе может как-то влиять на ход нашей жизни, хотя сами звезды одно время его сильно интересовали.

Ну как он мог забыть тот день, когда Генрих Карлович установил на чердаке в Покровском нелепый телескоп, из длинного тубуса которого постоянно вылетала умопомрачительная гигантская линза! Это было особое, неповторимое время. Наверное, жаль, что оно так быстро закончилось.

Уже тогда метафорическое видение мира было ему более чем чуждо. Действительно, почему ковш назвали Большой Медведицей? Какова закономерность в распределении звезд? И есть ли она вообще?

Домашний учитель Генрих Карлович, бесконечно любимый и уважаемый в детстве, оказался вовсе не ученым, а всего лишь сентиментальным немецким тюфяком. «Звезды, mein lieber Michael, это особая субстанция, – меланхолично повторял наставник. – Особая субстанция. Как любовь».

Бедный немецкий старик так и не научил нашего героя любить абстрактное и неосязаемое. И как часто бывает, одряхлевший идеалист умер очень некрасиво (впрочем, смерть вряд ли бывает красивой, даже и на миру) от банального брюшного тифа. Как-то очень уж быстро и странно, чуть ли не за два дня. Доктор Кравченко, самодовольный, пахнувший коньяком и нашатырными каплями хохол, пробубнил, что, дескать, скорей всего, руки плохо вымыл старичок перед едой. И это Генрих Карлович! С его-то немецкой пунктуальностью, с его-то осторожностью во всем!

Горничная Авдотья пустила байку: «Немца отравили!» Кто, зачем? Кому мог помешать этот нелепый старик с томиком Шиллера под мышкой?

Генрих Карлович в одночасье представился вместе со всем своим галантным восемнадцатым веком, со всем напудренным сентиментальным позитивизмом, с его пинцетиками и микроскопиками, пробирочками и спиртовочками, предметными и покровными стеклами. Стыдно сказать, но lieber Michael ничего не знал о своем наставнике, кроме того что тот сын пастора и учился некоторое время в Гейдельбергском университете, на каком-то там факультете философии или филологии. Не суть важно, однако. Была у него и несчастная любовь – какая-то Марта из галантерейной лавки, то ли жена, то ли дочь лавочника, натура, разумеется, тонкая и страдающая, по-немецки пахнущая розовым мылом.

И кружевной воротничок прилагался.

Закон парных случаев, безусловно, существует. Второй значимой фигурой в его жизни тоже был немец. Саша Бауэр, товарищ по кадетскому корпусу. Бауэр всегда был впереди, хоть немного, но впереди, и догнать его было невозможно. Это как в апории Зенона про Ахиллеса и черепаху. Как бы далеко ни забежал вперед Ахиллес, догнать черепаху он никогда не сможет. Черепаха недостижима. И непостижима. И всегда Бауэра ставили всем в пример, даже такому яркому явлению, как Дурнищев.

Лишь однажды lieber Michael выступил в качестве солиста. Это произошло неожиданно. На экзамен по истории Отечества явились генералы, и один из них, высокий, коренастый, несколько одутловатый, с тяжелыми золотыми эполетами, показался особенно знакомым. Возле военных суетились начальник корпуса и шуршащие белыми юбками дамы. Михель в это время рассказывал про реформы Петра и строительство Петербурга.

И вдруг он осознал, кто перед ним. Эти золотые эполеты, властный взор, блестящие глаза, приподнятые кончики усов!

Lieber Michael ощутил звездный час. Голос его задрожал, в словах появился новорожденный, не свойственный ему ранее пафос.

– Хорошо отвечаешь, – неожиданно прервал мальчика Николай Павлович, как раз в тот момент, когда голосок Михеля истончился настолько, что готов уже был оборваться от восторга. – Как твоя фамилия?

– Дурнищев, Ваше Величество! – закричал Михель что было сил.

– Судя по ответу, ты не Дурнищев, а Умнищев, – улыбнулся государь.

Генералы и шуршащие дамы искусственно засмеялись, оценив монаршее остроумие.

С этого дня о Михеле заговорил весь корпус. Но ничто не вечно, особенно слава. Недаром ее с древнейших времен сравнивали с дымом. Прошло два-три месяца, и история с историей, точнее, с экзаменом по истории, если и не забылась, то была вытеснена из памяти более новыми и свежими впечатлениями.

Александр Христофорович Бауэр окончил корпус первым, исключительно с отличными оценками. Что касается Михеля, то по верховой езде и фехтованию он никак не тянул на «отлично».

Михаил Никанорович стал блестящим офицером-артиллеристом и быстро продвигался по службе. Многие любили его за смелость и прямоту суждений, человеческое и гражданское мужество. Но чем больших вершин достигал lieber Michael, тем меньше удовлетворения было у него.

В Севастополе, на шестом бастионе, командовал он одной из артиллерийских батарей. Солдаты прозвали его Михаилом-архангелом. Михель не боялся ни пуль, ни ядер, и (странное дело!) они каким-то чудом избегали его, уклонялись в сторону. Еще покойный Генрих Карлович в свое время заметил, что *lieber Michael* был совершенно лишен чувства страха и опасения за свою жизнь.

И порог болевого ощущения был у него очень высоким. Однажды шальная пуля срикошетила от платана и царапнула его по голени. Михель сильно удивился, когда увидел сапог, наполненный собственной кровью. Боли он почти не чувствовал, только непонятное хлюпанье в сапоге ощущалось.

Но стратегом был неблестящим. Во всяком случае, был убежден, что Севастополь никогда не будет сдан врагу. Не будет сдан – и все. И когда после прорыва союзников на Малаховом кургане штабная крыса генерал Горчаков приказал оставить город и отойти на Северную сторону, Михель плакал как ребенок. А ведь в ту пору ему было уже тридцать лет.

– Полноте ребячиться, Михал Никанорыч, – внушал штабс-капитан Дугин, когда они переходили главную бухту по мосту. – Ну куда нам драться против четырех держав! С нашими-то пушками и винтовками. Прав Горчаков, надо отходить. Так мы и людей сохраним, и город не потеряем. Бьюсь об заклад, Севастополь они нам сразу возвратят после мирного договора.

– Извольте помолчать, штабс-капитан, – ответил Михель. – И никому такого больше не говорите-с. Разве не учили вас, что сражаться должно до последней капли крови?

Глаза Дурнищева лихорадочно сверкали, но Дугин чувствовал, что тут дело было вовсе не в патриотизме.

Михель часто не понимал других людей, и другие люди платили ему сторицей. Как ни старался он влезть в шкуру Горчакова, изнутри понять и почувствовать этого странного (на его взгляд) человека, ничего у него не выходило. Как можно было сдать Корниловский бастион французам? Как можно было бросить Севастополь, город боевой славы, только из-за временного успеха неприятеля на Малаховом кургане? Ведь сам факт сдачи Севастополя – шок для любого здравомыслящего русского человека, а для русского офицера – тем более!

А может быть, Горчаков был вовсе не трусом, а глубоким стратегом и мудрым лисом, не желавшим просто так губить людей, когда исход войны был предрешен? В мудрость своего тезки Михелю, однако, не верилось. Этот штабной генерал никогда не был способен на самостоятельный поступок. Он двадцать два года лебезил перед грубияном и деспотом Паскевичем, не решаясь возразить ему ни в чем.

...То ли дело адмирал Нахимов! Если бы не его смертельное ранение, Севастополь никто бы не оставил! Горчаков и заикнуться при нем не мог о том, что город может быть сдан.

После заключения позорного мира *lieber Michael* долго был не в своей тарелке. Унизили не только Россию, унизили и самого Михеля. Для чего все они так упорно сражались? Уж не для того ли, чтобы полностью лишиться черноморского флота? Чтобы навсегда забыть о Балканах – мечте русских государственников с давних времен?

А как же щит на воротах Царьграда? Как же Повесть временных лет?

После войны у него появилась мысль уйти в отставку и заняться хозяйством. Огромное Покровское требовало времени и сил. Стар-

шая сестра Анастасия, богомольная старая дева, монашенка в миру и благотворительница, раздавала потихоньку родительское состояние окрестным церквям и монастырям. Но Михель так и не поехал в родовое гнездо, так и не привел усадьбу в порядок.

Новый государь показался Михал Никанорычу не слишком деятельным и полностью ведомым по жизни. Даже его главная реформа, крестьянская, казалась несамостоятельной, вымученной, навешанной извне, подсказанной каким-то французом-либералом.

И тут в его жизни опять появился Бауэр. Первый ученик уже давно был военным агентом в Стамбуле.

– *Michel aimé*, – проговорил он на месте их неожиданной встречи на углу Невского и Литейного, – я похлопочу о тебе.

Бауэр с детства страдал болезнью почек, и теперь Михель чуть ли не с нежностью вглядывался в его отечное лицо. Саша картинно вытирал слезы, а под конец перешел с французского на родной немецкий.

– Теперь ты будешь первым, *lieber Michael*, – сказал он, сморкаясь в кружевной дамский платок. – Ты заслужил этого! А у меня впереди... могила!

Бауэр не был болтуном. Крестьянская широкая немецкая кость. Нестрашно Бауэр и переводится как крестьянин. Труженик, педант, клеветник порядка и дисциплины. Правда, как все немцы, несколько сентиментален. Два-три рекомендательных письма, полдюжины необходимых визитов, и *lieber Michael* уже едет в Одессу, а оттуда, пароходом, в Стамбул.

Обязанности помощника военного агента не слишком обременяли Михеля. Он любовался видами турецкой столицы с Галатской башни, посещал многочисленные чайные и кофейни. Но Александр Христофорыч вовсе не собирался покидать Царьград. Хроническая почечная болезнь перешла в длительную ремиссию, а длительная ремиссия – во врачебную ошибку. Доктор Оффенбах заявил, что почки тут совсем ни при чем, это некая конституциональная отечность, *habitus oedemalis*, и ничего более... Так что служите, любезнейший Александр Христофорыч, до конца живота своего за веру, царя и отечество!

А *lieber Michael* опять стал вторым. Как только он понял, что *Bauer permanentus et regnabunt in Constantinopolim*, то, конечно, сразу же загрустил. Такой уж был у него характер. Как в народе говорят: «Русский – не прусский». Как будто это было сказано про него и про Бауэра.

А потом Сашу отозвали из Стамбула. Говорили, что могущественный Нессельроде, духовный наставник Бауэра, вдруг изменил к нему свое отеческое отношение. Военным агентом стал человек, желающий от своего помощника той величины личной преданности, которой у самостоятельного и самодостаточного Михеля быть не могло. Поведение нашего посланника не было правильным и выверенным, что и привело в дальнейшем к длительному военному противоборству.

Волею судеб Михель опять вернулся к ратному подвигу, но уже в качестве штабного офицера – и возраст, и общественное положение уже не предполагали службу на фронте.

Как и многие патриоты русские, совершенно справедливо считал Михель, что развитие России невозможно без прирастания к ней новых земель. Действительно, чем была бы Россия без Сибири? Могла ли она быть угрозой для шведов без Финляндии? А без Польши, русского аванпоста в Центральной Европе, кем была бы Россия?

И так же, как и многие в ту пору, совершенно справедливо считал наш герой, что бросить в беде своих младших братьев, сербов и болгар,

русские никак не могут. Такова уж миссия старшего брата – помогать маленьким. Государь, однако же, понял это позднее своего народа. Оторвался от молодой Долгорукой, сел на коня. Михель лично видел, как государь переправлялся через Дунай. Он сильно напоминал своего отца, особенно в минуты волнения и беспокойства. «Дурнищев, Ваше Величество!» Как давно это было! Как он просыпался ночами, вспоминая похвалу государя! А к сыну его даже близко подходить не хотелось. Зачем? Александр почти ничего не знал о Михеле. Может быть, и помнил, что есть такой помощник у турецкого военного агента Бауэра. А если и читал когда-нибудь его имя в наградных списках, то сразу же забывал, мгновенно забывал после росчерка монаршего пера.

Всё произошло так, как всегда происходит и как никто не предполагал и не мог предположить. Турки оказались подготовлены к войне не так уж и плохо. Во всяком случае, гораздо лучше, чем казалось нашим генералам. Когда же они были полностью разгромлены и путь на Стамбул был открыт, русских солдат остановили закулисные интриги английских дипломатов.

Этот удар был, наверное, посильнее крымского.

И опять вездесущий Бауэр возник как Минерва из головы Юпитера, теперь уже в качестве венского посланника. Михель был встречен на вокзале вальсами Штрауса и европейским оранжерейным теплом. После петербургской зимы это впечатляло и радовало. Правда, все приветствия были предназначены Бауэру. Дорогому немцу прочили блестящую карьеру, и государь рассматривал его кандидатуру чуть ли не на пост министра иностранных дел. Успехи на служебном поприще не сказались на характере Александра Христофоровича. Он оставался таким же простым в общении, вежливым и доброжелательным. Особенно мил и чуток был в отношении друзей.

На четвертый год пребывания в Вене, после убийства государя, случилось очень важное событие. Новому царю стало известно, что Бауэр – большой знаток Османской империи, можно сказать, незаменимый специалист по турецким тонкостям. Еще бы! Столько лет провел в Стамбуле. В тот момент случилось в отношении с турками какое-то недоразумение, столь незначительное, что суть его осталась неизвестна даже милому Михелю. Новый самодержец, однако, хотел это недоразумение ликвидировать как можно скорее. Царь не хотел не только войны. Любая шероховатость в общении с турками его не устраивала. Умные люди высказали мнение, что только Бауэр сможет эту шероховатость ликвидировать раз и навсегда. Таким образом, согласно сложившимся обстоятельствам, австрийским посланником стал Михаил Никанорович. Михеля уже поздравляли, но он смущенно не принимал поздравления: «Приказа еще нет, Александр Христофорович на месте, не знаю, как государь решит».

Конечно, *lieber Michael* не мог не участвовать в торжественной трапезе по поводу турецкой миссии Бауэра. Проводы были красивые. Кому же из посольских чиновников пришлось в голову отправиться из ресторана в лучший венский бордель, так и осталось загадкой. Бауэр туда не поехал категорически, а вот *lieber Michael*, почувствовавший себя на новом витке жизни, ринулся за эйфоричной молодежью, очаровательными Николаем и Константином. Тридцатилетние петербургские юноши приземлились рядом с ним на атласный диван общего зала дома терпимости. Выпито было слишком много даже для бывалого Михеля. Как мы уже писали, *lieber Michael* не принадлежал к числу гедонистов.

И в этот бордель привела его не страсть к удовольствиям, а мутная волна жизни.

По залу порхали яркие девушки, почти все почему-то чешки. Они протягивали длинные руки, называли шипящие имена, едва различимые на фоне бездарного брэнчания по роялю худого, похожего на щепку, морщинистого австрияка-тапера. «Злата, Иржина, Елишка, Петра, Лючия, Катаржина».

Интуиция, как всегда, обманула милого Михеля. Златоволосая и длинноногая чешка оказалась вовсе не Златой, а Иржиной. Вот что значит идти на поводу у звука! Так ошибиться мог только Генрих Карлович, но никак не штабной подполковник и первый помощник полномочного посла.

Вопреки придуманной злопыхателями байки lieber Michael умер вовсе не во время любовного акта, а до него, в смежной комнате. Иржина ждала в постели гораздо дольше, чем следовало. И как она показала в полиции, никаких странных звуков не слышала. Михель даже не упал, а опустился на диванный валик.

Хозяйка борделя, пожилая пани Воржишекова, орала в полицейском отделении, размахивая жирными красными руками:

– Můj Bože, co je problém! Pokud pan nemocný, proč se dívky jít?

– Uklidněte se, paní. Nechceme vinu holky, – отвечал голубоглазый полицейский поручик. Он по какой-то случайности тоже оказался чехом.

Пани Воржишекова долго кричала о том, что исправно платит налоги, а девушек посещает даже жандармский полковник пан Гандерберг.

Александр Христофорович к тому времени уже спал у себя дома. Слух о смерти Михеля распространился мгновенно. Рыдающий как ребенок Бауэр уже ранним утром сидел возле двери мертвецкой и, увидев выходящего оттуда военного доктора, подошел к нему вплотную и, взяв испуганного австрийца за лацканы мундира, пробормотал:

– Милый друг... тут какая-то ошибка! Первым должен быть я!

ПОГОВОРИ С ЛАРИСОЙ

1

Зимой вечера длятся нескончаемо долго, так долго, что подчас переходят не только в ночь, но и в вечность. Улица наша хоть и недалеко от центра города, но всё-таки какая-то захолустная. Раз в полчаса, может быть, проедет по ней машина, а вот общественного транспорта на ней отродясь не бывало. По обе стороны улицы располагаются двухэтажные дома – дворянские и купеческие особняки, с обвалившейся штукатуркой, некоторые – с причудливыми рельефными гербами на фасаде.

В принципе, мы и не дружили с Ларисой. Дружили наши бабушки. В годы войны работали они медсестрами в эвакуогоспитале, размещавшемся в здании средней школы – той самой школы, в которой мне суждено было потом десять лет учиться.

Сохранилась пожелтевшая черно-белая потрескавшаяся любительская фотография с оборванными краями середины шестидесятых – Лариса со своей бабушкой. Трехлетний ребенок в белой вязаной шапочке, длинной шубе, обвязанной, как поясом, старомодной бабьей шалью. А бабушка какая-то странная, этакая синкретическая бабушка – одета не то чтобы бедно, но прямо-таки по-нищенски, и платок завязан по-деревенски, и пальтецо фасона конца сороковых, а черты лица совсем не народные. Как будто какая-то актриса знаменитая, Фаина Раневская, например, бабушку на сцене изображает.

Эта бабушка в дальнейшем мне часто вспоминалась – как некая загадка, психологический феномен, как нечто такое, к чему нужно обязательно вернуться, к чьей природе надо подобрать нестандартный ключик.

А сама Лариса была обыкновенным ребенком с маленькой фанерной прямоугольной лопаткой, обитой жестяным ободком внизу – дабы лопатка не ломалась, не трескалась о мартовские сугробы, покрытые грязной ледяной коркой. Ведь у нас в России всегда только так и бывает – то жуткий мороз, то оттепель, то снег, то пурга, то вообще смерч какой-нибудь. То лужи по колено, то сугробы выше крыши. Мы сами должны быть как этот жестяной ободок, прибитый к фанерке кривыми неказистыми гвоздиками, настойчивый и упорный ободок, который постоянно бьет и бьет в одно место. Главное, чтобы фанерка не сломалась, не треснула. Не нужны нам треснутые фанерки.

– Ты почему с Ларисой дружить не хочешь? – поучала меня бабушка. – Такая славная, добрая, интеллигентная девочка! Мне кажется, ты просто лентяй. Обыкновенный лентяй. Никак не хочешь сделать шаг ей навстречу. Прошу тебя, поговори с Ларисой!

А я хотел с ней говорить и дружить с ней хотел, просто не понимал исключительности этой дружбы – для меня Лариса была такая же девочка, как и все. А вот бабушка что-то про нее знала, видела каким-то тайным, присущим только ей внутренним зрением то, что я не видел,

и, возможно, была права. Во всяком случае, мне всегда хотелось верить в ее правоту.

Бабушка была для меня самым большим авторитетом. Наверное, потому, что я никогда не видел ее в состоянии замешательства, испуга, потрясения, неуверенности в себе. Она всегда была исключительно спокойна и выдержанна. Казалось, бабушка знала ответы на все вопросы жизни и по поводу любого явления имела свое, незаемное, не вычитанное в книжке, мнение. И никогда она своего мнения не меняла – во всяком случае, все последние семнадцать лет своей жизни, которые совпали с моим существованием. Ну, если быть совсем уж честным, то первые пять полудремотных молочных детских лет вполне можно вынести за аккуратные круглые скобки, поскольку младенческая память оставила от них только исключительно чувственные впечатления.

Жизненная позиция у бабушки была более чем активная. Она настойчиво вмешивалась в отношения людей, причем делала это исключительно из-за присущего ей человеколюбия. С торжественным и гордым величием справедливой и разумной, благодетельной и милостивой самодержицы она разрешала семейные споры и неурядицы.

– Это какой-то кошмар, как вы с Ларисой общаетесь, – говорила она мне, пятилетнему ребенку. – Полчаса стоите, переминаясь с ноги на ногу, возле сугробов и молча копаете в них лопатками какие-то лисьи норы. И чего интересного в этом копании? Ее можно понять – девочка застенчивая, скромная, сама стесняется первая вопросы задавать. А ты должен спросить, какие она игры любит, умеет ли читать, до сколько считать научилась, в какую школу пойдет учиться. А еще мне интересно, как часто приходит к ним папа. Ты ведь знаешь, что этот негодяй завел себе другую женщину!

Я, честно сказать, не слишком хорошо представлял себе, почему Ларисин папа негодяй и как можно завести женщину. Одно время я даже считал, что это какая-то игрушечная женщина, заводная игрушка, которую Ларисин папа завел металлическим ключиком, торчащим в ее спине, и никак не может остановить. А она, эта несчастная железная женщина, набитая болтами, штырями и шестеренками, вроде заводной рябой курочки на плоских красных ножках, так вот и ходит, подрагивая, по поцарапанному круглому кухонному столу.

Вообще я часто расстраивал свою бабушку, несмотря на то что никогда не был «трудным» ребенком в том банальном педагогическом смысле, о котором говорят учителя, воспитатели и сотрудники милиции. Учился всегда хорошо, отличался если не примерным, то вполне адекватным поведением. Мне всегда казалось, что люди относятся ко мне хуже, чем я к ним. Скорее всего, это было субъективное ощущение, не имеющее под собой реальной почвы. Так вот и с бабушкой. Не хотел расстраивать, но расстраивал. Чем-то я раздражал ее, наверное. Чем? Сам не знаю. Скорей всего, не отвечал ее ожиданиям.

2

Если б не мои воспоминания о детстве, которыми я поделился совершенно неожиданно на встрече с читателями, отвечая на один из вопросов, Лариса никогда бы не узнала меня, а я – ее.

Душный конференц-зал районной библиотеки, на стенах – аляповатые картины местного художника, возле стола – передвижная выставка с моими книгами и журнальными публикациями. На встречу с писателем

пришло больше двадцати человек – невероятное событие для нашего города. Даже если все эти люди – штатные работники библиотек.

– Вы помните мою бабушку? – с удивлением спросила Лариса, и я сразу понял, что воспоминания о бабушке представляют для нее нечто такое, от чего остались только античные развалины – благородные, но до того застывшие и окаменевшие, что давно уже превратились в некий символ, почти не имеющий никакой связи с настоящим.

У бабушки была более чем суровая судьба. Сосланная в Казахстан как ЧСИР (член семьи изменника Родины) и работавшая там в сельском клубе, Аглая Тихоновна прошла огонь, воду и медные трубы. Однако эта часть ее жизни не была чем-то нетипичным для русского человека. Скорей наоборот. Жизнь на поселении была трудна и безрадостна, сурова и аскетична, но она не была невыносимой.

Настоящая беда Аглаи Тихоновны заключалась вовсе не в сталинском режиме, через который прошли все или почти все, а в генетической программе, унаследованной ею от своих родителей. Так вот, когда была она совсем еще не такой уж и старой по современным понятиям, а точнее, на шестьдесят втором году жизни, началась у нее неизлечимая и изматывающая болезнь – рассеянный склероз.

Сначала Аглая Тихоновна поймала себя на том, что не может вдеть нитку в игольное ушко, потом и ложка с вилок стали выпадать из рук, а через три года она почти перестала двигаться и говорила так, что никто уже не узнавал ее голос. На поселении Ларисина бабушка сильно пристрастилась к курению, и эта вредная и пагубная привычка стала непосредственной причиной ее мученической смерти, то есть погубили в самом прямом, а не собирательном, тем более не метафорическом смысле слова – хотя, впрочем, и без этого несчастного случая смерть Аглаи Тихоновны была уже не за горами.

Замученная и полностью замордованная русской жизнью дочка по несколько раз в день засовывала ей в рот сигарету и зажигала ее при помощи вечно валяющейся на овальном журнальном столике перламутровой зажигалки. А на этот раз забыла вынуть изо рта матери окурки и пошла на рынок. А когда вернулась, то увидела на груди Аглаи Тихоновны черное, обуглившееся пятно.

Глеющий окурки прожег впалую и морщинистую грудь пожилой женщины до самого костного мозга, и после ожога у нее развились остеомиелит с гнойным плевритом.

До сих пор не понимаю, зачем Лариса рассказывала мне все эти натуралистические подробности, почему ей так хотелось поделиться своими горестями с совершенно незнакомым человеком. Ведь она меня совсем не помнила! Неужели на нее произвело такое впечатление, что я вспомнил ее давно умершую бабушку?

А может быть, она так отнеслась ко мне из чувства уважения, понимания того, что я не просто писатель-реалист, а как раз тот человек, который как-то особенно оценит все эти подробности, использует их в своем творчестве. Как-то странно говорила она о бывших мужьях. Похоже, что эта сфера жизни ее совершенно не интересовала. Мама Ларисы, по всей видимости, принадлежала к другому женскому типу, более традиционному, воспитанному в полной семье. Лариса и замуж пошла, чтобы мама успокоилась, не устраивала истерик, и, конечно, чтобы не сидеть на ее тонкой субтильной шее. Про маму она вообще очень много говорила. Мама, мамы, о маме... Если речь заходила о каком-нибудь человеке или жизненном явлении, она обязательно сообщала, как к этому человеку или явлению относилась

мама. Суть заключалась вовсе не в том, что мама была права. Права она или нет, Ларису не сильно волновало. Мнение мамы воспринималось как данность, которую лучше обойти, так же, как лучше объехать стороной пост ГАИ, даже если ты не нарушаешь никаких правил.

Первый муж Ларисы оказался пошлым обывателем. Вечера проводил на диване возле телевизора с бутылкой пива в руках. Напрасно Лариса пыталась приобщить его к чтению, приносила из библиотеки книги и толстые журналы.

Вообще она очень любила читать. Читала везде и всегда – на работе, после работы, в общественном транспорте. Но в ее отношении к книге содержалась некая загадка. Весь парадокс заключался в том, что чтение для нее было, как говорят в народе, не в коня корм. Обилие прочитанных книг не сделало ее тоньше, образованнее, мудрее, не открыло ей никаких тайн в отношениях между людьми. По-видимому, она относилась к личностям совершенно непродуктивным, замкнутым, герметичным.

Другая, анатомическая сторона этой непродуктивности – инфантильная матка, которую обнаружили у Ларисы вкрадчивые и велеречивые гинекологи фирмы «Забота». Вместе с маленькой, детской маточкой обнаружена была и единственная почка. Всеми этими медицинскими подробностями тоже поделилась со мной моя бывшая соседка и подруга раннего детства.

Впрочем, я всегда знал за собой эту присущую мне черту, скорее унаследованную, нежели приобретенную, – располагать к себе людей, особенно таких вот, как она, стареющих одиноких женщин. Лариса, возможно, чувствовала, что я не принадлежу к породе хищников, поэтому ее ежедневная боязнь быть проглоченной одномоментно, по-щучьи, вместе с кишками и фекалиями, при виде меня куда-то улетучивалась. Ей не приходилось, общаясь со мной, как древесному жучку, приобретать и сохранять цвет коры, дабы не быть проглоченной красногрудым дятлом.

Любитель пива и телевизора не воспринял инфантильную матку Ларисы как некое горе. Он вообще жил исключительно сегодняшним днем и не думал о потомстве. Но его родители, особенно мать, оценили ситуацию по-другому. Убедившись в том, что вылечить Ларису невозможно, волевая и настойчивая свекровь поставила себе цель – во что бы то ни стало разрушить этот брак.

Разрушать, однако, было нечего. Но тут еще один несчастный случай произошел, о котором Лариса каждый день вспоминает.

Мама попала под машину. Судорожно перебежала федеральную трассу за сто метров до пешеходного перехода, увидев на другой стороне ее приближающийся к остановке рейсовый автобус. Из-за огромного КамАЗа, который слегка притормозил, пропуская ее, внезапно вылетела на бешеной скорости обгоняющая КамАЗ черная «Мазда 3» с тонированными стеклами. Водитель «Мазды» не ожидал, что так близко от КамАЗа может пробежать пешеход.

Что погубило маму? Скорей всего, русская жизнь, сам нечеловеческий, безумный, жестокий характер этой жизни. Она спешила из сада к автобусной остановке. Автобусы ходили очень редко, раз в сорок минут. Пожилая женщина понимала, что если не успеет перебежать дорогу, то ей придется три четверти часа торчать на пыльной трассе.

Но Лариса была убеждена в том, что маму погубила она, а точнее, ее разрыв с мужем. Произошло это ДТП на следующий день после того, как Алексей подал на развод, и Лариса успела рассказать об этом маме.

Конечно, не нужно было ей в таком состоянии ехать в сад, но время было жуткое, нечеловеческое, капитализм только проклевывался уродливым цыпленком из протухшего яйца, великая страна распалась, и маленький участок в шесть соток неожиданно из места отдыха от трудовых будней и городского шума превратился в существенное подспорье, позволяющее выжить физически.

С этого дня Лариса и принялась жевать эту метафизическую жвачку, корила себя за то, что рассказала маме о разводе. Водитель «Мазды», вальяжный кавказец, на суде вел себя вызывающе. Он не только не сожалел о происшедшем, но считал себя потерпевшим, в коридоре заявил, что ему должны заплатить триста тысяч за урон, нанесенный его бизнесу – из-за ДТП и трехчасового ожидания доблестных гаишников сорвалась выгодная сделка. В зале суда он также брутально и стенично орал о сорвавшейся сделке, только о деньгах говорить все-таки постеснялся.

Районный суд оправдал его полностью. Лариса подала кассационную жалобу в областной суд, дело было пересмотрено, но решение первой судебной инстанции признали верным.

«Тут всякие идиоты под колеса бросаются, а мне отвечать», – повторял обиженный водитель.

Трудно сказать, насколько был виноват этот человек. К тому же на его стороне были данные судебно-медицинской экспертизы – в крови мамы было обнаружено значительное количество алкоголя. Немногочисленные Ларисины подруги в один голос орали, что кавказец купил судебно-медицинский акт. И хотелось бы эту тему развить Ларисе, дескать, мафия бессмертна. Кто с этим спорить будет – конечно, бессмертна, особенно в России.

Но бывают исключения из правила, и, похоже, таким исключением было и это злосчастное ДТП... В дачном домике неделю спустя обнаружила Лариса початую бутылку водки и недоеденный салат. Вряд ли эти огурцы с помидорами из доморощенных, покрытых грязной и дырявой пленкой теплиц нарезал вальяжный и мафиозный кавказец, и за водкой тоже не он бегал. Продавщица Зина из дорожного ларька поведала Ларисе, что мама частенько брала чекушки, задолго до истории с разводом, и это немного ее успокоило – дескать, не первый раз в жизни она напилась.

Следующее замужество Ларисы было еще более прозаичным. Второй супруг, тоже Алексей, уже имел двух детей от разных сожительниц, однако умудрялся не платить алименты. К дальнейшему деторождению он не стремился, а халявный и психологически комфортный секс без резинок был ему как раз по душе. По сути дела, ничего ему от Ларисы не было нужно, кроме некоторых бытовых удобств. Наученная горьким опытом судов с дележом имущества, в результате которых она осталась ни с чем, Лариса уже не спешила регистрировать свои отношения, и брак с Алексием Вторым (так называла Лариса мужа в честь здравствовавшего тогда святейшего патриарха) был исключительно гражданским. Это сожительство давало ей выгоду – живя у мужа, Лариса сдавала мамину квартиру. Арендная плата за двушку в центре города была ровно в четыре раза больше зарплаты библиотекаря.

Алексий Второй совершенно не претендовал на Ларисины деньги. Вообще он держался как-то подчеркнуто автономно. То, что он не помогал своим брошенным детям, для Ларисы было только плюсом. Как большинство бездетных женщин, чужих детей она воспринимала как никому не нужные крикливые и сопливые довески, требующие постоянной заботы и внимания.

Когда Алексей Второй нашел себе очередную женщину (я уж не буду говорить «завел», поскольку ассоциация с заводной игрушкой в этом тексте уже фигурировала), Лариса расстроилась только из-за того, что лишилась существенных денег, составлявших восемьдесят процентов ее доходов. Она уговорила Алексея не выселять ее в течение трех месяцев, поскольку для того, чтобы найти квартирантку в маленькую комнату, ей необходимо было какое-то время.

Появившаяся в квартире Алексея новая партнерша сначала никак не могла смириться с самим фактом существования Ларисы, но, познакомившись с ней поближе, отошла от своих женских стереотипов. И даже подружилась с интеллигентной библиотекаршей. Ей нравилось, что Лариса исполняет обязанности домработницы, но она никак не могла понять, что несчастная женщина делает это только для того, чтобы еще какое-то время иметь возможность сдавать целую квартиру, а не комнату.

К счастью, у мамы была двушка, иначе Лариса в девяностые годы просто умерла бы с голоду. В маленькой комнате она сразу же поселила студентку медакадемии. Ваучер, подаренный ей причмокивающими реформаторами, вовсе не был обменен на бутылку. Лариса была не дурочкой и не тем ментальным паттерном, который наши прогрессивно мыслящие и во всех отношениях продвинутые либералы еще с советских времен именуют словом «совок». Просто она не умела (или не хотела?) воровать. Ваучер она выгодно вложила в акции набравшего тогда силу Газпрома. Если б этих самых ваучеров была хотя бы сотня, она смогла бы получить неплохие деньги, но Лариса была одна, и ваучер у нее, соответственно, был только один. В принципе, у нас с ней была одна общая родовая черта. Каждый из нас был одинок, причем одинок не только в бытовом, но и в экзистенциальном смысле, каждый из нас добивался всего в жизни сам, а не благодаря дедушкам и бабушкам, мужьям и женам. Нам никто не дарил ни квартиры, ни дачи, ни машины, ни даже жалкие садовые шесть соток. Но, пожалуй, это была единственная черта, которая нас как-то сближала. Да и то черта эта была чисто внешняя.

Уже тогда, стоя рядом с Ларисой возле мартовского сугроба и ковыряясь в нем фанерной лопаткой, я ощущал экзистенциальную природу этого одиночества не меньше, чем теперь. Мне даже кажется, что дети ощущают одиночество куда тоньше и пронзительнее, чем взрослые.

В тот вечер, после своего выступления в библиотеке, я долго говорил с Ларисой, гуляя в соседнем от библиотеки пыльном скверике.

Точнее, говорил больше я, а Лариса слушала. Через сорок лет я осуществлял мечту моей бабушки – общался с Ларисой, причем выполнял в этом общении, как и следует мужчине, активную роль. Возможно, я сказал ей тогда много того, что она просто не поняла.

Но бабушка была бы мной довольна. Почему я так верил ей? Почему я считал ее исключительно умным, пронизательным человеком? Что такое могла увидеть бабушка в трехлетнем ребенке? Или всё это делалось исключительно ради Аглаи Тихоновны и дружбы с ней? Дескать, раз бабушки так крепко дружат, то и внуки должны дружить.

Действительно, у бабушки с Аглаей Тихоновной дружба была настоящей, закаленная в годы войны изнурительной работой в госпитале. Их вообще многое объединяло, в том числе и отношение к режиму.

– Жду не дождусь, когда этот Сталин умрет, – сказала однажды бабушка своей подруге, сидя на кухне, не зная, что десятилетняя дочка пришла из школы. – Может быть, жизнь как-то наладится.

– Мама! Как ты могла такое сказать про товарища Сталина? – недоуменно спросила девочка, после чего ей сразу же стали измерять температуру, нашли сильный жар и даже дали таблетку аспирина, запретив кому бы то ни было повторять эти слова.

После этого случая наличие Аглаи Тихоновны на кухне всегда сочеталось с плотно закрытыми дверями, что не прошло мимо моей мамы, очень внимательной к деталям. Кстати, именно от нее унаследовал я это необходимое для прозаика качество.

Я говорил с Ларисой, обращаясь к бабушке. Сама Лариса была мне так же неинтересна, как и сорок лет назад возле сугроба.

Бабушка унесла в могилу некую тайну. Она почему-то ничего не оставила после себя моей матери (я уж не говорю – мне, поскольку я всего лишь внук, наследник второй очереди), прописала в квартире своего сына от первого брака.

Да бог с ней, с квартирой. Я никогда не был меркантильным, хотя эта квартира могла бы стать для меня палочкой-выручалочкой, особенно в период всеобщей голодовки. Я не мог понять поступка бабушки. И сейчас не понимаю, почему она так поступила с нами.

Я говорил Ларисе о том, что вовсе не считаю себя писателем, поскольку не умею зарабатывать деньги писательским трудом. Мне казалось, что библиотекаряша поймет меня, что она, столько часов в день находясь среди книг, подсознательно имеет некое уважение к тем, кто эти книги создает. К сожалению, я ошибался.

– А мне кажется, – сказала она, – очень важно, что вы преподаватель, а не только прозаик. Ну, какой толк от того, что ваши книги прочет дватри человека... А тут вы людей учите. Это значительнее.

Странно, но мне было совершенно не обидно слышать такое из уст этой стареющей одинокой женщины, и ничего я не испытывал к ней, кроме жалости, а если быть очень уж честным, то и жалости почти не испытывал.

– Я рассказал бы вам и больше, Лариса, если бы точно знал, что все эти слова дойдут до моей бабушки, – сказал я ей напоследок.

Лариса внимательно, с каким-то недоумением посмотрела на меня. Боже мой, какая трезвость! Какая неизлечимая русская трезвость! И это у представителя чуть ли не самой нищей профессии!

Хоть была бы какой банкиршей или предпринимательницей средней руки, а то ведь... библиотекаряша, деятельница культуры.

Да бог с ней. Пусть будет здорова и счастлива.

Завтра я приду на могилу бабушки и скажу, что через сорок лет выполнил ее просьбу – поговорил с Ларисой.

Еще я скажу, что никогда не думал, что жизнь окажется такой абсурдной и что вовсе не нужно слепо выполнять чьи-то просьбы, даже если тебя просит родная бабушка.

А то, что эта Лариса с маленькой фанерной лопаткой возле обледеневшего мартовского сугроба окажется всего лишь очередным мыльным пузырем, миражом в пустыне – можно было предвидеть.

И почему-то не испытываю я большой радости от того, что мне суждено помнить все эти детали, носить в себе их до самой своей аннигиляции, до самого своего превращения в полное, бессловесное, умопомрачительное Ничто.

НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Нельзя сказать, что Марина тяготилась одиночеством, однако чем старше она становилась, чем неотвратимей надвигалась уродливая старость, тем нелепей казалось ей ее настоящее положение. Она уже смирилась с тем, что у нее никогда не будет ни детей, ни внуков, что никогда стены ее дома не огласятся пронзительными детскими криками. Но мечта о том, что в жизни ее появится некая опора и поддержка в лице умного, образованного и, конечно же, состоятельного мужчины, не только жила в ней, но и с каждым годом становилась всё осязаемее.

Часто думала Марина о причинах своего одиночества. Она понимала, что каждое явление имеет причину, что беспричинных явлений нет и быть не может. Причина была, скорей всего, в ее характере, некоторой замкнутости, излишней серьезности, заикленности на одном и том же виде деятельности, который состоял для Марины в рисовании.

Это основное дело ее жизни, не принесшее ей ни гроша, во многом напоминало мираж в пустыне. Всю жизнь до своего пятидесятилетия Марина двигалась к этой мифической цели, но на самом деле не только не приближалась к ней, но уходила всё дальше и дальше в пустыню. Неумолимый хамсин обжигал ее стареющее тело, и на расстоянии сотен километров не было ни человека, ни верблюда, ни пальмы, ни животельной влаги.

Несколько лет назад Марина проснулась от ужасной мысли. Мысль, однако, была не столько ужасная, сколько необычная и совершенно новая для нее. Она подумала о том, почему не нашлось ни одного человека, который бы честно сказал, что ей не нужно заниматься живописью, что это дело приведет ее к жизненному краху? Почему она сама этого никогда не чувствовала?

Ее первые акварели привели в восторг странного Валерия Аркадьевича, учителя черчения и рисования, чем-то напоминающего паука. Он созвонился со своим приятелем, профессиональным художником Дынником, который высоко оценил эти детские зарисовки и позвал Марину к себе в изостудию.

Илья Борисович Дынник был настоящим трудоголиком. На жизнь зарабатывал исключительно уроками во Дворце пионеров. Картины свои не продавал по моральным соображениям, поскольку презирал торговлю как дело грязное и недостойное художника. В мастерской с печным отоплением практически жил безвылазно, хотя имел большую квартиру в центре города. Питался исключительно кефиром и рожками (были в советские времена такие маленькие пресные булочки, напоминавшие по форме коровьи рога). Ходил в рваных рубашках, пропахших скипидаром. Этот необычный, талантливый человек произвел на нее колоссальное впечатление. Его ключевые положения, облеченные

в красивые крылатые слова, выработали тот вектор развития, по которому и продвигалась Марина вплоть до своих пятидесяти лет.

Главное его положение звучало так: «Быть, а не казаться». Согласно этому положению, главным было не то, как люди оценивают тебя и твое творчество, а какой ты есть объективно, то есть вне мнений конкретных людей. «Ничего на публику, ничего на потребу, – говорил Дынник, мешая краски. – Всё только ради души человеческой, всё только ради вечности!» Марина и другие девушки, обожавшие Дынника (мальчиков в изостудии было гораздо меньше и они не были так внушаемы), перестали пользоваться косметикой, ходили в длинных юбках, перепачканных краской и темных платках, говорили только о перспективе и светотени, холстах и подрамниках. О Марине писали в газетах, ее картины охотно брали на выставки. Ее всегда только хвалили.

Именно любовь к живописи затмила для нее любовь к природе, к людям, к воздуху, теплу и свету. Мир вне воплощения в краске был убог и неинтересен. Это была необработанная руда, которую везли рабочие в вагонетках незнамо куда. Мир не мог существовать без Кранаха и Дюрера, Брейгеля и Рафаэля.

С Мариной произошло то, к чему она стремилась. Она стала профессиональным художником во всех смыслах этого слова. Она пошла куда дальше обожаемого в детстве Дынника, поскольку никогда не вела никаких уроков и ничем в жизни не занималась, кроме рисования. Она не отказывалась продавать свои картины, но только тогда, когда ее просили об этом. Сама же она и пальцем не шевельнула ради того, чтобы как-то расширить свою жизнь и взять в руки что-то кроме карандаша, пастели и кисти.

А между тем квартира ветшала. Из кранов капало, ванна протекала, унитаз не смывал уже несколько лет. В оконных рамах образовались щели. В кухонной плите работали только две конфорки. Пока была жива мама, Марина, чтобы реже слушать ее постоянное ворчливое брюзжанье, как-то сводила концы с концами, вызывала мастеров, ходила в магазины, готовила еду. А теперь, когда над душой никто не стоял, полностью забросила бытовые дела.

Единственная вещь, не имеющая прямого отношения к живописи, которую берегла Марина, был компьютер. Именно по компьютеру она смотрела картины других художников и слушала классическую музыку.

Однажды, по совету знакомой художницы (подруг у Марины никогда не было) она разместила свои картины на каком-то сайте. Откликнулось несколько человек, среди которых был Саша. Сначала ее насторожили его глупые высказывания типа «Классно!», «Супер!!!», но постепенно оказалось, что Саша в живописи человек не посторонний, архитектор по образованию, работает учителем рисования в школе у себя на родине, в райцентре Княгинино. Саша почти сразу заговорил о том, что переписку не любит и хотел бы пообщаться по телефону.

Его голос напомнил ей что-то знакомое, и она узнала в нем интонации преподавателя литературы из художественного училища, человека умного и неравнодушного, и это узнавание сыграло ключевую роль в их общении. Вскоре они встретились на набережной, у памятника Чкалову.

У Саши оказалась небольшая иномарка вишневого цвета, сиротливо прижавшаяся к заснеженной обочине. На вид он был достаточно пожилым человеком – седой, грузноватый, но глаза живые, подвижные, бегающие.

– Я тут три года, с тех пор как жена умерла, на сайтах знакомств сидел, – сказал Саша, когда они уже миновали Сенную площадь. – Не понравилось. Там одни шлюхи да желающие прокатиться по жизни за чужой счет. А на этом форуме всё-таки художники. Люди творческие. Вы знаете, меня все в детстве прямо-таки заставляли стать художником! Я ведь тоже наше художественное заканчивал. А потом подался в строительный. Решил пользу приносить людям – дома проектировать. Я считаю так – художником надо становиться, если ты пишешь как Левитан. Или хотя бы как Маковский. А кому нужны средние художники?

– Это вы в мой огород камешки кидаете? – насторожилась Марина.

– Как раз нет. Вы – женщина. Женщине баловство простительно. А мужчине нужны реальные дела. Вот я у себя на участке второй дом построил. Хотите, ко мне смотаемся?

– Прямо сейчас?

– А почему бы и нет?

Марина не боялась своего собеседника. Он вовсе не казался ей потенциальным насильником. Когда они еще переписывались, у них оказались общие знакомые и среди преподавателей училища, и в Союзе художников. Это были культурные, интеллигентные люди, разного профессионального уровня, но тем не менее все порядочные, во всяком случае, не криминальные.

– Завтра воскресенье. Переночевать у меня сможете – дом большой. А к понедельнику вас домой мой племянник довезет, на работу успеете.

– Мне на работу не надо, – отвечала Марина. – Я дома работаю.

– Заказы? – спросил Саша. – Понятно.

– Да ничего вам не понятно! – не сдержалась Марина. – Какой вы, однако, скучный. И мыслите как-то стереотипно. Какие заказы могут быть у настоящего художника? Только Божьи.

– Птицы небесные не сеют, не жнут, но Господь наш питает их, – не совсем точно процитировал Александр. – Но так только в Писании говорится. Не сочтите за бестактность, но... вы мне нравитесь. Поэтому я вас к себе в гости и пригласил. Но я человек прямой и не люблю, когда сам чего-то не понимаю. Я не собираюсь лезть вам в душу, но мне важно знать, каким вы делом занимаетесь, на что живете.

– Иногда наши агенты мне помогают продать картины, – ответила Марина. – Других доходов у меня нет. Знакомые рекомендовали комнату сдавать студентке. Есть же хорошие, домашние девушки, которые не курят, не пьют... просто живут в области или в других городах, а учатся у нас. Вроде бы и лишние деньги не помешают. Но я человек творческий. Мне и с мамой тяжело было вместе жить. А тут – чужой человек в соседней комнате. Нет, не мое это.

– А вот я считаю, что мужчина много работать должен. И не только на одной стезе. Рисовать, конечно, интересно. Но целый день рисовать...

– А как Иванов рисовал своего Христа? Сколько лет?

– Ну, это был человек особенный. И семьи у него, если не ошибаюсь, никогда не было. А я женился в двадцать лет, после армии. И жена у меня была местная, княгининская. Одноклассница. Выучилась в Лыскове на бухгалтера. Работала на молокозаводе. А я – как многие. Институт, проектное бюро. Потом началась демократия, полетело всё к чертовой матери. Строить перестали, началась распродажа. Подался в бизнес, мягкой игрушкой торговал. Отморозки склад подожгли, нижнюю челюсть сломали. Мне Светка тогда правильно сказала: «Броська ты этот бизнес, Санек. Бизнес – это для Америки. Неслучайно

и переводится это нерусское слово как "дело". А какое это дело – ватных слонов и мишек поливать бензином да поджигать? Да челюсти ломать конкурентам?» Бросил я всю эту спекуляцию. Про архитектуру пришлось забыть при ельцинтах. Подался в школу. Правда, местным воришкам иногда помогаю коттеджи строить. И планы их реализовывать. Главный архитектор района как-никак мой однокурсник. Ну, это так, частные дела.

В Кстове скопилось очень много машин – там светофоры через каждые сто метров расположены. А потом стало темнеть. За стеклом мелькали однообразные заснеженные поля и редкие перелески. Когда свернули с Казанского шоссе направо, оказались в полной темноте. Марина даже испугалась немного. Но как только Саша стал рассуждать об Андерсе Цорне, успокоилась. Она и сама очень любила этого художника.

Как они подъехали к поселку, Марина не заметила. Тьма была невероятная. Дом Саши произвел на нее большое впечатление – чистый, просторный. Везде лампы дневного света. На фоне княгининской темноты они как-то особенно привлекли внимание. Интересно, зачем ему столько комнат?

– Дочка иногда приезжает со своим семейством. У нее две девочки. Муж в налоговой инспекции. Живут в Лыскове. А сын у меня – в городе, в автосервисе подвизается. Можете в баню сходить, она на участке. Печи электрические, свет волоконный, кондиционеры. Только уметь надо пользоваться.

– Нет, я в баню не пойду, – сказала Марина. – У меня давление низкое. И жару я не люблю... А вы мне город покажете?

– Город? Да какой это город! Деревня. Что тут смотреть! Одна улица фактически.

– Вам тут не скучно жить?

– А когда мне скучать, с таким-то хозяйством? Думаете, это так просто – два дома содержать? Стирать, готовить? А огород? У меня еще козы были – продал. Не успеваю справляться. Мне хозяйка нужна.

Чем больше она находилась в этом доме, чем отчетливее понимала, что напрасно поехала в такую даль. Какое-то недоразумение! Нет, врет он, что ему не скучно! Иначе бы на сайтах знакомств не сидел. Но почему она здесь и чем она лучше этого обывателя? И чем обыватель, знающий Цорна, лучше обывателя, не знающего Цорна? Нет, знающий Цорна гораздо хуже. Цорн не сделал его лучше, не научил любить прекрасное. Сидит в своей бане, возится с проводкой. Зачем, зачем? Ясно, зачем. Внуки приедут, дочка, этот самый муж, который в налоговой инспекции. Дети будут кричать, по огороду бегать. А вот она одна в своей квартире. Даже мамы нет. На кладбище мама. И никаких детей никогда не будет. И внуков. Будут только картины, которые берут или не берут на выставки. Но есть ведь труд! Высший труд! Нет, как это... Высший суд! Ты сам свой высший суд! Именно так! Всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник?.. И кто-то там колеблет твой треножник.

Марина давно уже не слушала Сашу. У нее была такая особенность – не могла слушать человека долго, всегда отвлекалась, думала о чем-то своем.

Поздно вечером они всё-таки прогулялись по городу. Ничего, кроме трех фонарей и чудовищных сугробов, Марина не заметила. Она подумала о том, что в большом городе такие огромные сугробы совсем не

ужасают. Здесь же, на фоне вечной тьмы, они формируют в душе нечто необъяснимое – не тоску, не тревогу, даже не безвыходность. Какое-то полное оупение... Или как это? Скорбное бесчувствие. Она знала, что есть на Земле и другие страны, есть море, солнце, знала, что многие люди могут поехать на море, отдохнуть там неделю, месяц... но всё равно это была какая-то иная жизнь.

– Подъезжаете? – вдруг спросил Саша. Оказалось, что пока Марина размышляла, он уже несколько минут говорил по мобильнику. – Я не дома, но скоро подойду... Ксюша приехала, с девчонками, – сказал он уже Марине, улыбаясь. – Не волнуйтесь, места всем хватит.

Ксения оказалась миловидной, общительной женщиной лет тридцати. Она совершенно не удивилась, увидев Марину. За ужином Саша с дочерью говорили исключительно о незнакомых Марине людях. Девочки-дошкольницы веселились, кричали, бегали по дому. Подчеркнуто доброжелательное отношение молодой женщины к знакомой отца тем не менее не радовало Марину. Она всячески привлекала внимание Марины к своим дочкам, искренне считая, что эти хохочущие девчонки-погодки очень ей интересны. В действительности же девочки только раздражали Марину, но не фактом своего существования, а всего лишь громкими звуками, которые они издавали. Привыкшая к тишине, изредка прерываемой классической музыкой, художница не понимала, как можно жить с такими детьми, они казались ей какими-то шумными, ненужными довесками. Так уж получается, что у большинства людей эти довески появляются на свет и требуют столько внимания, столько ухода за собой! С этим надо мириться.

Ксения постелила ей в одной из просторных комнат, долго объясняла, как пользоваться масляным крутящимся обогревателем. В доме было и так душновато, Марина несколько раз повторяла, что обогреватель ей не нужен, но Ксения как будто не слышала:

– Это сейчас тепло. Завтра обещали похолодание до десяти градусов. Зима.

Марина не спала всю ночь. В голову лезли отвратительные, ненормальные мысли. Только под утро уснула напряженным, неглубоким сном измученного человека.

Ей снилось, что ее насилуют в туалете художественного училища. Насилуют женщины огромными черными straponами. На сломанном стуле, возле треснувшей раковины, возле надписи «Пахомова – лесбиянка» (именно так, через букву «е» было написано это слово в настоящем, не приснившемся туалете в давние времена) сидела мама и медленно говорила, удовлетворенно улыбаясь: «Я же говорила, что тебя обязательно когда-нибудь изнасилуют!» – «Но ведь это женщины, но ведь это straponами!» – возражала Марина. «Неважно, кто и как! – торжественно отвечала мама, раскачиваясь на сломанном стуле и подняв вверх узловатый палец. – Хоть и straponами, но изнасиловали! Так что я была права!»

Когда проснулась, сразу поняла, что уже довольно поздно. Медленно стала одеваться. С непривычной пищи у Марины начался понос. Долго оттирала унитаз ершиком – не хотелось, чтобы Саша и Ксения видели испачканный фекалиями дорогостоящий унитаз причудливой формы.

– А мои уже пошли на горках кататься, – приветливо сказал Саша, выходя в коридор. – Тут у нас всегда возле администрации горки заливают. Хорошее дело, скажу я вам. Особенно для ребятни. Свежий воздух, движение. Это вам не в компьютер пялиться. Сейчас завтракать будем.

– Спасибо, я не хочу, – ответила Марина. – Я вообще как-то... плохо себя чувствую. Домой хочу. Тут у вас, наверное, ходят автобусы?

– Да что вы! Какие автобусы! У меня совсем другой план, и я вам говорил о нем. Мой племянник, Леонид, в городе живет. А выходные обычно здесь проводит, у матери. У него «Сузуки». Часов в шесть вечера он обычно уезжает. Я его попрошу, он вас доставит прямо до дома. Как такси.

– А сейчас сколько времени?

– Да где-то половина десятого. Куда вам спешить? Или я вам так надоел?

Марина молчала. До шести вечера было еще очень долго.

– Давайте, кушайте. Ксения тут с собой навезла всяких пирожков домашних. Каша есть гречневая, котлеты куриные. Огурцы-помидоры собственного приготовления. Грибки маринованные. А потом я вам гараж покажу. Вам чай, кофе?

Наверное, ничего более скучного, чем Сашин гараж, Марина в жизни не видела. Там был идеальный порядок. В углу лежали упакованные в чистый целлофан, пахнущие новой резиной колеса. Всюду стояли канистры и бутылки с какими-то важными жидкостями.

– А это знаете что? – сказал Саша, указывая на прозрачную бутылку с белесым содержимым. – Это гель для уничтожения ржавчины. Вы даже представить себе не можете, что такое коррозия! Как незаметно она уничтожает металл! И если с коррозией не бороться, то всё! Сначала легкая желтизна, потом коричневый налет, а затем и мелкие дырочки! И тогда конец твоей машине. А со ржавчиной, Марина, надо уметь бороться. Наносить гель тонким-тонким слоем и специальной кисточкой. Потом обязательно тщательно обработать шестьсот сорок шестым растворителем...

– Каким растворителем? – переспросила Марина, как будто это ей действительно было интересно.

– Шестьсот сорок шестым! Непременно им! У него широчайшая область применения. Вы же как художник это знаете.

– Я обычно растворяю краски скипидаром.

– А этот растворитель подходит для чего угодно! И для грунтовки, и для эмали, и для шпатлевки. Почти во всех работах с потолком или стенами пригождается!

Марина долго уже разглядывала большую кувалду, лежащую на аккуратном металлическом столике, рядом с другими инструментами. Взять бы эту кувалду да хорошенько стукнуть его по башке, чтобы перестал болтать про свои растворители! Идиот, кретин недоделанный! Пригласил к себе женщину! Хоть бы цветочек подарил какой или налил бы чего выпить, коньяка хотя бы... А она-то, дура, еще радовалась вначале, что такой не изнасилует. Да лучше бы изнасилуе, чем такое слушать!

Он еще долго говорил про какие-то охлаждающие жидкости, шипованную резину, воздушные и масляные фильтры. Наконец, вернулись в дом. Погода была отвратительная – темно, пасмурно, мелкая поземка крутилась возле ног, несла снег с придорожных сугробов.

Ксения, однако, была в восторге от утренней прогулки с детьми.

– Как всегда, в снегу вывалилась! – радостно крикнула она отцу. – Колготки на батареях сушу. А вы где были?

– Да вот гараж Марине показывал, – гордо сказал Саша. – Раздевайтесь, скоро обедать будем.

После обеда Саша позвонил племяннику. Неожиданная радость появилась внезапно и по теории вероятности, поскольку до этого были только неприятности. В связи с какими-то личными обстоятельствами племянник выезжал в город не в шесть, а в три часа. То есть всего через сорок минут! Марина оживилась, стала прощаться с Сашей.

– Вы уж не обижайтесь, что вовлек вас в такую авантюру. Не все же дома сидеть! Когда бы вы еще нашу деревню повидали?

В большой, комфортной машине молчаливого Леонида ей стало совсем хорошо. На заднем сиденье было просторно. После бессонной ночи Марина задремала и полностью проснулась, когда уже ехали по городу. Леонид, конечно же, ограничился тем, что высадил ее возле автобусной остановки. Но Марина не обиделась.

Когда Саша звонил ей по телефону, она не отвечала. Но он еще неделю безрезультатно засыпал ее вопросами на сайте: «Как дела?», «Какие планы на выходные?», пока, наконец, не растворился навсегда в компьютерной виртуальности.

Читатель, наверное, ждет чего-то печального или даже трагического. А вот и нет! Не будет вам ни самоубийства, ни мировой тоски.

Даже наоборот. Марине вскоре настоящая удача привалила, правда, не слишком уж большая – известная в городе спекулянтка от живописи сумела продать Маринину картину какому-то безумному американцу за три тысячи долларов. То есть Марине она эти три тысячи собственноручно вручила, а уж сколько себе забрала, спрашивать не полагалось.

Марина расслабилась и полгода жила спокойно. Выплатила все долги за квартиру, газ и электричество, пила чай в пакетиках, ела любимое печенье «Майская ночь» и рисовала.

Свою страничку на сайте она вскоре ликвидировала и совсем забыла про Сашу и это недоразумение.

Татьяна ДАГОВИЧ

Родилась в 1980 году в Днепропетровске. Получила филологическое образование (Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара) и философское (Вестфальский университет им. Вильгельма в Мюнстере, Германия).

Автор книг «Хочущие куклы» (СПб., 2012) и «Ячейка 402» (СПб., 2011). Публиковалась в журналах «Новая Юность», «Зарубежные Задворки», «Нева» и в альманахе «Толстый». Преподаёт французский, русский, украинский языки. Живёт в Германии.

ЗА ГОРОД

(Из романа «Закрытый город»)

Наверное, было шесть лет. Мама сказала: «Инесса, будем ехать». Сказала одеваться. И, наверное, сказала куда, но я пропустила мимо ушей, это были не мои дела – по которым нужно было ехать в центр города (говорили просто – в город) или куда-то на другой конец города, к пыльным кабинетам с бумагами, или за какими-то вещами в магазины, долго стоять в очередях, или к маминим подругам. Не любила запах маминих духов. Их выпускают до сих пор, французские, дорогие, даже не представляю, где мама их тогда доставала, но она пользовалась ими всегда после слов «будем ехать», а я не любила ехать и не любила острый цветочный запах. Волосы она зачесала назад, свернула узлом – даже меня пугало её открытое лицо, из-за красоты строгое, потому что все остальные не могут дотянуться до красоты.

Я оделась, настроенная на своё. Отец был ещё в командировке, а саму меня не оставляли. Мы вышли на двор, на прогретый солнцем асфальт – уже осень, но было тепло, как летом, я срывала по пути на остановку пыльно-зелёные листья в палисадниках, рассовывала по карманам, я не знаю, не замечала ли она или только делала вид, что не замечала, чтобы не ругать. Мне хотелось бы ехать на трамвае, но она, цокая каблучками, вела меня к автобусной остановке. На ней была широкая юбка, и я время от времени случайно цеплялась за подол и путалась в нём.

Автобус подъехал почти пустой, жёлтый, открыл свою пасть. Меня часто укачивало в автобусах, и я, не успев войти, вся сжалась, но она не обратила внимания. Я понимала, что это не её дело, и ничего ей не говорила. На этот раз обошлось – я сидела возле «гармошки», сжимающейся и растягивающейся на поворотах, и так увлеклась разглядыванием, что забыла о беспокойном животе. Гармошка забавно пищала, как настоящая гармонь. Потом я смотрела в окно, на серые проходные за-

водов и растущие в небо узкие цилиндры труб. Из некоторых шёл дым, светлый или тёмный, или вырывался огонь, и мне представлялось, что это великаны и дым и огонь – их развевающиеся волосы, причём самая большая труба – это отец, меньшая, с большим огненным волосом – мать, ещё меньшие – дети и племянники. Мне они были симпатичны, потому что их летучие дымно-огненные волосы говорили о стремлении, о том, что они куда-то мчатся, хотя и выглядят неподвижными. Мне нравилось всё, что стремится. Но потом автобус вынырнул из заводской зоны, и замелькали домики – маленькие, беленькие, с зелёными ставнями, а потом вдруг выросла церковь, с золотыми куполами. Я бросила мимолётный взгляд на маму, но она смотрела куда-то вдаль. Она бы ничего не сказала, но я не хотела, чтобы она видела, что я рассматриваю церковь, потому что советскому ребёнку не следует смотреть на церковь – я не знала почему, но знала, что нельзя.

За церковью были одинаковые серые дома, мы приехали в нелюбимый мною центр города, но это был не конец пути, мы перешли на другую остановку и стали ждать. Я решила, что мы едем на кладбище, с этой стороны мы обычно ехали в сторону кладбища, где у нас было несколько человек, которых я часто путала, и ещё бабушка с дедушкой. (Второго дедушку и вторую бабушку я видела редко – они жили на Севере, приезжали с подарками и смотрели мимо; терпеливо отвечали, когда я мешала их разговорам с отцом.) Я обрадовалась, потому что поездки на кладбище я любила: любила людей на бледных фотографиях и землю внутри гранитного квадрата – то, чем стали их тела. Мне нравилось высаживать цветы и вырывать сорные травы на этой земле, носить в ведёрке воду, протирать задумчивые лица на камне. Но меня с собой брали редко.

Мы с мамой долго ждали на остановке среди других людей – некоторые оставались неподвижными, другие прохаживались. Пожилые мужчины в серых рубашках, старушки в кофтах и в цветных платках, они не знают жары, и у них тот же запах, что у старушек под нашим домом, на скамейке. Мне стало скучно, и я начала спрашивать, когда придет наш автобус, я спрашивала и спрашивала, а мама совсем не сердилась, отвечала: «Скоро, скоро, скоро», но, видимо, сама в своё «скоро» не верила, потому что, коротко посомневавшись (я всегда видела, когда она сомневается, – она прикусывала в такие моменты нижнюю губу с правой стороны), она купила мне мороженое в стаканчике. Мороженое охладило скуку, я даже стала немного мёрзнуть и заметила, что уже начало смеркаться. Я удивилась, попыталась вспомнить, к кому или куда мы едем. Летом мы никогда не выезжали в темноту, по крайней мере не со мной. Зимой случалось, зимой темнеет рано, но зимой в шубе безопасно, как в доме, а в лёгком платье в сумерках мне стало беспокойно от незащитности – и мама, учуяв мои мысли, обхватила меня руками и прижала к себе – к ногам, к животу, почти завернув в юбку. Мы долго стояли так, а потом она достала из сумки выглаженный носовой платок – чтобы я вытерла руки и лицо от потёкшего мороженого, остаток которого пришлось спешно запихнуть в рот – люди на остановке забеспокоились, заворошились – из-за угла выворачивал автобус, но не такой, на каком мы ехали до того, а белый «Икарус». Мама протолкнула меня вперёд и сама проскользнула следом. Я оказалась на сиденье у окна, а она стала рядом, закрывая меня от подвижной бормочущей толпы. Кто-то где-то говорил про «уступить место», я подскочила, но она тут же положила руку на моё плечо:

«Сиди». Сказала тихо-тихо. Про уступить место наверняка говорили не мне, меня никто не видел за ней. Добавила: «Нам долго ехать, можешь поспать пока». Я хотела спросить, куда мы приедем, но голос утонул в автобусном гомоне и шуме двигателя. Мы поехали. Начало укачивать, но кто-то открыл окошко наверху, прохладный воздух заструился прямо мне в лицо, и я, захватив его ртом, вернула чёткость изображения исцарапанному сиденью передо мной. В окнах домов зажегся свет и двигались силуэты. Я на самом деле задремала, хотя раньше никогда не умела спать сидя – ни в автобусах, ни в машинах. Я просыпалась на каждой остановке, и на каждой выходило много людей, но мы оставались. Когда автобус подъехал к остановке, на которой нам следовало выходить, в пропахшем бензином салоне, кроме нас, не было почти никого. Мы спустились в темноту.

Я испугалась, но она была со мной, и можно было не бояться. Мы шли по утопанной дороге без асфальта, она ступала широко в своей юбке, я старалась не отставать. Через её руку мне передавалась её уверенность.

Постепенно темнота рассеивалась, но не холодным фонарным светом, а пугающим светом огня. Костры. Остатки сна слетели. Вокруг костров ходили люди. Я крепче сжала её руку, сама не знаю, испугалась или обрадовалась от этой тайны, и она вдруг опустила лицо ко мне и улыбнулась. С ней бывало так иногда, очень редко – она становилась будто бы тоже ребёнком и улыбалась по-детски: «Побежали!» И мы бежали к кострам.

Я сначала растерялась среди объёмного смеха, выкриков, движения тёмных силуэтов. Мы были на пологом склоне холма, уходящем далеко вниз, в долину, где текла речушка. Мама присела прямо на землю возле одного из костров, расправила вокруг себя юбку. Я села рядом. Она здоровалась со знакомыми, переговаривалась, но не отпускала мою руку. Запах костра будоражил приятно, однако неопределённость тревожила. Ездить на природу, на реку, на шашлык – кто же этого не любит, но всегда ездили с папой, всегда днём. И с папой было ясно, что делать: собирать мелкий хворост, чтобы огонь хорошо разгорелся и мясо хорошо прожарилось, а здесь, ночью не видно веточек. В маминых прерывистых фразах (она говорила не так, как со мной дома, а более высоким голосом, приветливым и очень молодым) промелькнуло что-то касающееся меня, «не с кем было оставить», а может, показалось, я не слишком прислушивалась. Мне стало понятно, что это какой-то праздник. Без накрытых столов, но люди вокруг ходили взволнованные, резко-весёлые. Других детей, похоже, не было – я не смотрела, но разве я не заметила бы человека на высоте моих глаз. Многие в руках носили с собой чашки или кружки и прихлёбывали. Я думала, что это вино, как это бывает на взрослых праздниках. У мамы тоже была чашка. Она снова наклонила улыбающееся лицо ко мне и одной мне сказала через шум:

– Хочешь попробовать?

Я отрицательно покачала головой, я уже пробовала когда-то вино из оставленной рюмки – алое, оно так красиво просвечивало сквозь резной хрусталь, но оказалось горьким. В чашке, которую мне протягивали, вращалось что-то мутное, как суп. Я испугалась, раньше мне никогда такого не предлагали, но мама засмеялась:

– Не бойся, это просто ячменный... ты же перловку любишь? Это такое же, ты попробуй!

Отсветы огня играли на её лице. Я осторожно поднесла к губам. Напиток был тёплым и пах мятными конфетами.

– Это чай, – сказала я полувопросительно, она кивнула, говоря уже в сторону, с кем-то другим и прихлёбывая свой чай. Я глядела в огонь и слушала доносящуюся из дола монотонно-тоскливую песню. Теперь я ни за что не ушла бы отсюда – где происходит что-то другое, особенное, не совпадающее с будничной жизнью и похожее на Новый год.

Я не заметила, как опустела чашка из-под напитка, который мне сначала не понравился, она тронула меня за плечо, прошептала: «Ты только никуда не отходи, да? Будь здесь». Ей всё-таки мешало, что она взяла меня с собой, иногда я ей мешала и в других местах, куда ей надо было «по делам», но здесь мне не было скучно. Я подняла глаза, увидела вдруг, что мама совсем раздетая – как в душевой в бассейне, а я как раз сижу на крае её юбки. Щёки её были красными: «Подождёшь, хорошо? Я скоро вернусь!»

Я кивнула и, отвернувшись от огня, пощурившись, пока глаза привыкли к темноте, увидела других голых женщин. Они были не такими молодыми и стройными, как мама, они выглядели совсем иначе – прямоугольной формы, с большими складками на животе и ногах, они были похожи на высеченные из камня первобытные фигуры, которые я видела в музее. Тётки говорили, вроде как поддевали друг друга, смеялись, встряхивая крашеными кудряшками на голове. Я думала, что они напоминают воспитательниц из садика. Я никогда не задумывалась о том, что у воспитательницы под платьем могут быть такие складки и вообще что у них есть кожа под платьем, поэтому то, что раздетые воспитательницы выглядят так, удивило меня больше, чем всеобщая нагота. Она и не должна была меня удивлять – так же было в душевой, все люди одного пола.

Полные-складчатые уходили, и все остальные уходили. Я потеряла маму из виду, осталась одна у костра, и потрескивание горящих веток стало громче, чем нестройные людские выкрики. Мне показалось, что там, вдаль, люди носили в руках огонь, горящие палки, и стало страшно. Шуршали растения вокруг. Тогда я сняла кофточку, платице, сложила стопочкой, как перед дневным сном в садике. Сверху положила трусики и маечку. Рядом поставила сандалии. Осмотрела себя – ноги, складочку внизу, пуп, родинку на плече, руки. Когда шли от автобуса, мне было не то чтобы прохладно, но свеженько. У костра было очень тепло, а после напитка мне стало жарко, и теперь ночной воздух приятно шекотал, но не охлаждал. Пошла на шум.

Звёзды зазвенели, словно упали на меня, как только я сделала шаг от огня. Если бы не трава под ногами, мне казалось бы, что я иду через звёздные заросли, в которых вспыхивают, и тут же обрываются звонкие голоса, строчки песен. Я дошла до людей, до раздетых. Мелькали бежевым и серым люди: молодые, вытянутые и старые расплывшиеся, и сморщенные, которых совсем странно было видеть голыми, словно они вышли из своих могил, разворошив посаженные мной цветы. Все они бежали, бежали вниз, но потом сворачивали, хохотали, на минуту схватывались случайными хороводами, кружились, падали на землю, валялись на земле, скатывались вниз по холму, кричали. По тому, как развеваются их волосы, было видно, что им радостно. Они были похожи на заводские трубы со струящимся огнём. Я шла медленно, я высматривала среди них свою маму. Но чем ближе я подходила к ним, тем ближе становилась мне их радость. Она, как

чуждая волна, накатывалась на меня, а я тихо сопротивлялась ей, не знаю почему, словно мне хотелось оставаться в звёздном одиночестве. Я шла медленно, среди раскручивающихся дисками галактик, и казалась себя очень большой – голой и большой в сравнении с другими людьми и со звёздами.

Я вздрогнула, когда меня схватили за запястье – но это была она, мама. Она снова наклонила своё красивое лицо ко мне, я удивилась, почему она взяла меня за запястье, а не за руку. Она смотрела весело, но не безумно и не ругала меня за то, что я не слушалась и не осталась у огня, а только странно так, словно мы играли в игру, прошептала: «Бежим?!» – как когда мы шли от автобуса.

И в ту же секунду трава заскользила под ногами, мы помчались, сильно ударя пятками траву и чёрную влажную землю, и это было так, словно рёбра мои с хрустом раскрывались, из них вылетало мчащееся сердце, вперёд меня, утягивая меня за собой. А галактики вокруг сливались в светящиеся полосы, но что мне было до них. Я вся была в земле, я вбивала ступни в землю, я слышала эти удары, чередующиеся с собственным быстрым дыханием, и знала всё о земле и о ней, впившейся в моё запястье.

Взметнулись ледяные брызги – мы с размаху влетели в речушку. Крики стали громче, мамина рука потерялась. Я помедлила, ожидая её прикосновения, но её не было, и я сама вышла из воды, снимая с себя нити тины. Где-то вдаль прозвучал её смех, она, наверно, бежала дальше. Маленькая зелёная лягушка, квакнув, прыгнула от меня в воду, и тут же поднялся целый концерт кваканья. Забыв о людях, я смотрела на лягушек и смеялась. Радость моя стала тихой. Я сидела на берегу и, не боясь бородавок, протягивала руку, чтобы погладить зелёную царевну, – но она с плеском упрыгивала от моей ладони. Она боится, что её могут поцеловать и жениться на ней. Громкие удары моих пяток о землю. Так я блуждала среди других – то бежала, как некоторые, то ложилась и каталась по земле, то танцевала, то пела, то спокойно шла, старательно утаптывая под собой землю. Иногда я начинала рассматривать голых женщин – поначалу мне попадались только женщины, но потом заметила, что мужчин не меньше, но их вид и не смутил, и не заинтересовал меня. Когда все, взявшись за руки, бежали в хороводе, я тоже бежала – наравне. Потом круг распался.

Чуть в стороне я увидела пару, голых мужчину и женщину. Соединённые ртами, будто пили друг друга, спутавшиеся волосами, они распластались на голой земле – там ничего не росло ещё, но что-то было посажено. Я видела, что они ещё иначе соединены телами, внизу. Они двигались. То раскидывали руки, то свивали их друг вокруг друга, счастливые, переворачивались, и я видела то спину мужчины, то спину женщины. Кожа их была матовой, гладкой, ноги стройны, руки красивые. Ни отвращения, ни любопытства, ни удивления я не испытала. Я знала, что они делают, для чего и почему. Некоторое время любовалась ими, спокойно прислушивалась к их частому дыханию, не стеснясь. Пройдя, я опустила взгляд на свой белый живот с ямкой пупка.

(Годы спустя мне, поздноватю, как всем советским детям, и не без смущения, спрятанного за серьёзностью, мама объясняла что к чему, как получают и откуда берутся дети. Для меня это было ново и безнадежно неприятно, никакой связи с лежащими на голой земле – картиной, которую я помнила смутно.)

Шла долго, пока не услышала тонкий смех. Опустилась на землю и увидела маленького-маленького ребёнка, младенца, голого, со складочками на ножках. Он тащил одну ножку в рот и хихикал. Пощекотала ему животик, он хихикнул довольнo. Когда я снова подняла глаза, заметила, что все куда-то уходят. Они шли к прямоугольному бетонному зданию, белевшему в стороне. Стены без окон, в городе много таких недостроенных зданий. Смех удалялся, глух, и я думала, что испугалась, потому что с ними уходила моя мама, но потом я поняла, что я на самом деле не испугалась, что я бы могла идти с ними, но мне это не нужно... Я хотела взять на руки младенца, прижать к себе, но непонятно откуда взявшаяся высокая рыжая женщина беззвучно подняла его и, глянув на меня строго, будто я собиралась обидеть маленького, унесла. Я с размаху, как в воду, рухнула на спину, взглядом упёрлась в небо и засмеялась самой себе. Весь мир крутился вокруг меня, огромной. По небу одна за другой летели падающие звёзды. Так он, младенец, видел только что.

Потом опять появились голоса, они были порывистее, но тише, фразы обрывались, людей становилось меньше, словно они растворились в моей усталости, когда мне захотелось спать. Откуда-то взялась мама, в юбке, застёгивающая блузку теми же движениями, какими застёгивалась в обычное утро, и я размахивала своим платьем, пока она не сказала: «Ты собираешься одеваться?»

Смутно помню я зелёную машину, что-то вроде «Жигулей» или «Москвича», скользкое дерматиновое сиденье, потеющее под моей щекой, обрывок маминых неуверенных слов: «её вообще укачивает...», ночную лестницу нашего парадного.

А на следующий день приехал папа, пока я выбралась из постели, он уже выходил из ванной комнаты – выбритый, весёлый, и я с разбегу взлетела на него (он поймал) и ткнулась в его гладкую после бритвы, пахнущую одеколоном щёку. Его очки упёрлись мне в нос, он рассмеялся. Мама подошла, глянула так, что стало ясно: ей эти нежности не нравятся, сказала: «Давай, давай, одевайся, время!»

Время было быстро завтракать, собираться на парад, надувать шары. Почему на парад? Значит, это было папино возвращение из следующей командировки. На параде я сидела у отца на плечах, чтобы видеть проплывающие по дороги алые машины, девушек с цветами, юношей с барабанами, новые машины... Мама улыбалась, небо синело, несмотря на ноябрь, и мы, наверное, выглядели как образцовая советская семья с плаката.

Я ничего не рассказала отцу, ни в первое, ни во второе возвращение его из командировки, хотя она мне не говорила скрывать. Я как бы забыла – но это с одной стороны, а с другой – помнила, и за праздничным обедом у тёти Елизаветы помнила, и потом. Много дней. Много лет.

Несколько лет подряд, когда она говорила мне: «Одевайся», у меня сладкий комочек появлялся в горле, и я быстро-быстро сглатывала – туда? Но всякий раз оказывалось: к тёте Елизавете и её дурным сыновьям, в горисполком, в универмаг... Облачко французских духов. На кладбище – без духов.

Потом мы переехали – отцу дали новую квартиру, и ожидание, и без того давно ставшее неопределённым, почти беспредметным, растаяло окончательно. Сама ситуация больше не повторялась – теперь я

оставалась дома сама, мама решала свои дела без меня, запах её духов стал терпимее, а я могла в её отсутствие безнаказанно шарить по полкам, находить и разглядывать запретные взрослые вещи.

Наше новое жильё было на девятом этаже, в одном из первых законченных домов нового недостроенного района. Глядя из окна с непривычной высоты, я представляла, что вокруг прошла война: изрытая земля, ни травы, ни деревьев, пропасти котлованов с растущими сваями. Кое-где белели бытовки строителей, в небо уходили подъёмные краны. Мы привыкли к постоянному грохоту молотов, забивающих сваи.

Мне нравилось это новое.

Но мама стала немного другой после переезда.

Как-то, стоя у окна, она сказала тихо: «Теперь я всё понимаю в жизни». Отец отозвался со стремянки – он ещё что-то подклеивал:

– В этой квартире мы хотя бы можем втроём разойтись в коридоре.

Я сразу схватила: мама недовольна нашим переездом, и отца это нервирует – сообразила и забыла. Моё детское сознание было похоже на поверхность прудика – тонкие веточки падают на неё, плывут некоторое время и уходят на глубину. Иногда веточки всплывают снова – так я вспоминала (несколько раз за годы) ту ночную поездку – куда, зачем мы ездили? Однажды, уже подростком, я спросила маму: «Ну ты помнишь, мы куда-то ехали одним автобусом, потом я ела мороженое, потом ехали вторым, а потом – там горели костры, и были люди, много людей». Она смотрела так, как смотрят, когда искренне хотят ответить, – но только пожимала плечами. Она не помнила? Как можно запомнить каждую поездку на автобусе, каждое мороженое. Но, казалось, она и моего вопроса не запомнила, погружённая в хозяйственные дела, она нарезала лук, она размораживала мясо и не хотела, чтобы её отвлекали.

Котлованы зарастали домами, в домах заводились люди, включали свет, открывали газ в новых плитах, выходили на улицу, сажали тощие деревья, те тянули сок из земли, расправляли под землёй корни, выпускали новые ветви, отращивали стволы, в тени деревьев качались коляски, в них набирали вес младенцы, становились школьниками, разбрасывали мусор, писали хамские слова на недавно новых домах и писали в подъездах, уже не новых – моя ойкумена стала жилой, древней, словно тысячелетняя история тяготела над ней, и когда рухнуло советское государство, она тоже приобрела вид страшноватый, обрушенный, который я, не сознавая того, любила, потому что имя ему было – свобода.

Свобода. В пятнадцать лет мне надоело ходить в школу. Там я встречалась с друзьями, но с друзьями можно встретиться и в другое время в другом месте, к тому же мне не хотелось видеть их каждый день. Я вставала утром, подводила глаза – они становились больше и прозрачнее, выходила из дому – будто в школу, но сворачивала к остановке, садилась в автобус и уезжала в центр города. При этом я продолжала хорошо учиться: я знала, когда можно и когда нельзя прогулять, я доставала в поликлинике липовые справки и продолжала делать домашние задания по физике и химии, но главное – я научилась смотреть невинно, такая хорошая девочка. Весной мне нравилось бродить по городу без цели – иногда покупать в ларьке тушь для ресниц или сок, выкуривать в одиночестве сигарету, читая объявления на столбе, проталкиваться в тесноте спонтанных рынков, наблюдать с середины моста медленное течение реки, слушая свист машин за спиной, кидать дворовым соба-

кам спрятанные в бархатной сумке куриные кости и заглядывать в желтизну их глаз. Город любил меня – меня догоняли молодые и не очень люди, хотели знакомиться, я, улыбаясь, давала им фальшивые номера телефонов, вызывая в телефонной сети переполох неверных звонков. Иногда, наоборот, жарко целовалась с кем-то на лавочке и теряла потом имя и координаты – мне казалось, я целовалась с городом.

Порой я садилась в троллейбус и ехала туда, где мы жили раньше, или туда, где никогда не бывала, бродила между хрущёвок, прислушиваясь к переключкам полных женщин в халатах и отчаянной игре в домино на скамейке.

После бесплодной попытки разговора с мамой я убедилась, что в моих детских воспоминаниях какая-то путаница, что неудивительно – в этих ниточках, обрывках, лоскутках, кукольных волосах легко перепутать место и время, бодрствование и сон. Поэтому нельзя сказать, будто я специально искала. Просто однажды, одиноко прогуливая школу, я вышла на конечной остановке какого-то автобуса – номер не запомнила. Оказалась на незаасфальтированной дороге, светло-коричневой, пыльной, в засохших рисунках протекторов. Я пошла по дороге, мимо хилых садиков и косых заборов умирающего частного сектора, и вышла на свободный луг, склоном уходящий вниз, в балку, на дне которой текла речушка. «Речка-Вонючка», – подумала я сразу, введя её в ряд рахитичных тёзок-сестёр, разбросанных по городу и городам. Я узнала место – несмотря на ушедшие годы, стиравшие мою память школьными ластиками, вытянувшие меня вверх, вырастившие в голове разум и изменившие луг и реку.

Тогда была тёмная ночь, теперь ясный весенний день. Как и тогда, пахло гарью, но теперь не светлым дымом костров, а жжёным пластиком, жжёной резиной. У дороги огромным холмом был навален мусор, от холма мусор расходился лучами, ложился на траву, а трава росла сквозь него и обвивала его, и жила дальше. Я села на землю, выбрав местечко почище, не боясь ни за юбку, ни за капроновые колготки. Несколько деревьев качалось на том берегу речушки. Достала бутерброды, заготовленные для школы. Мусор не отбивал аппетита – я, щурясь, смотрела на небо, по которому скользила прозрачно-белая облачная рябь, в лучах солнца становившаяся перламутровой, или вниз, на блеск реки, перегородив которую, ржавел скелет старой «Волги».

Утолив голод, я попробовала бежать вниз, повторить забытое, но свободного бега не получилось, я не могла отпустить себя, потому что приходилось осторожноничать с мусором. Я не боялась ни пораниться, ни запачкаться, но сознание того, что можно вляпаться, было сильнее меня, даже если я бежала быстро, я не могла бежать беспредельно. Не расстроилась, там, где остановилась, легла на траву. Долго лежала, впитывая солнце, как ящерка. Лучи пели на одной ноте, облака шелестели, моя кожа теплела под одеждой. Краем глаза я увидела серый бетонный угол. Приподняла голову – большое здание, какой-то недострой советских времён. Смутно вспомнив, что и оно было в детском сне, я вскочила. Поспешила к нему, но ничего особого не нашла – серые плиты, из которых торчала ржавая арматура. Внутри было просторно, но ничего интересного – ещё один такой же бетонный прямоугольник, поменьше.

Разочарованная, вернулась, снова легла на траву, но больше не было безмятежности, а вскоре мой покой прервал взгляд: почувствовала

на себе, сжалась, села. Увидела только чёрный силуэт, поднимающийся снизу, от реки. Мне стало страшно. Впервые за время свободы я поняла, как уязвима. Из телевизионных программ я знала, что меня могут изнасиловать или убить, или и то и другое. Но страшнее мне стало оттого, что моё тело здесь, среди мусора, никто не найдёт. На этом холме, в выброшенном разваленном шкафу искать не будут, я исчезну. Ноги сводило судорогой от готовности к бегу. Фигура приближалась, солнце в небе чернело от проснувшейся смертной тоски, я уходила быстро, не оглядываясь. Скорее всего, это был какой-то местный житель, наверняка он и не думал причинять мне вреда, самое большее – мог подшутить, или, наоборот, испугался бы, увидев меня лежащей на земле. Он крикнул мне вдогонку что-то, миролюбивое, даже вроде ироничное. Но я не смотрела назад, я спешила к остановке и, почти уверенная, что автобуса не будет, собиралась идти дальше, бежать дальше вдоль дороги, по маршруту автобуса, домой, пешком, бегом, как на уроке физкультуры во время кросса.

На остановке стояла старушка в цветном платке, с ведром, накрытым кухонным полотенцем, сквозь которое кляксами просвечивали ягоды. Увидев её, я смогла выдохнуть и остановиться. Она не пошевелилась, смотря туда, откуда когда-нибудь должен был появиться автобус. Она была меньше и слабее меня, но рядом с ней было спокойно. Теперь я решилась оглянуться.

Сутулый небритый дядька в синем спортивном костюме сворачивал за угол. Увидев, что я на него смотрю, подмигнул. Он нёс старую местами разорванную кошелёчку, он жил здесь. Я скривилась от презрения к своей трусости. Автобуса пришлось ждать долго.

* * *

Я просыпаюсь, моё лицо в подушке. Я задыхаюсь, нужно что-то сделать, но я ничего не могу – я снова валюсь в сон, из которого не выбраться. Эти сны сняты словами и красками, потом забываются начисто – не вспомнить ни слова, ни краски, остаётся только страх.

...Однажды, всласть нагулявшись в городе, я вернулась домой, а её не было дома. Странно, раньше она всегда была дома. Отец вернулся и спросил, где она, я читала в своей комнате, сказала, что не знаю. Я проснулась ночью, но свет горел. Отец был на кухне. Он ждал. И тогда мне стало страшно. Я подошла к нему, я кричала, что он должен звонить в милицию, он кивал, не глядя на меня, он протирал очки. Больше я её не видела. И никто не видел. Может, это лучше – я не видела того, что случилось с ней. Но сейчас, проснувшись, я думаю: «Я хочу к маме», – как ребёнок, и плачу, как ребёнок. Я хочу, чтобы у неё была могила, на которую я могла бы прийти. Порой мне казалось, что отец что-то знал, и я кричала на него, кричала, чтобы он всё мне рассказал. Я кричала, он уходил от меня в другую комнату, я шла за ним и кричала там. Я кричала, что мы не должны были переезжать. Порой мне казалось, что я знаю что-то, чего не знает он. Иногда я думала, что она исчезла вместо меня, что город сожрал её, выпустив меня из своих свалок и кладбищ, полян и многоэтажных дебрей.

Я открываю глаза, потолок такой белый, почти светится. Я понимаю, где я, и думаю: что я здесь делаю, но мысль ускользает, банальная, ненужная, сколько можно повторять одно и то же.

Я не помню, что мне снилось, то есть о чём я думала во сне. Людям снятся сны, а я во сне думаю, думаю, наверное, потому, что днём не успеваю думать. Слова и краски, они исчезают вместе с воздухом для дыхания.

– Тс-с-с! Дыши, дыши, рыбка! – это Франк Маркус. Нависает надо мной, как скала, которая в любой может обрушиться и раздавить. Мне кажется, что его тело закрывает от меня последний воздух. Набралась сил, я говорю:

– Открой, пожалуйста, окно.

– Что тебе приснилось?

– Не помню.

Я на самом деле мало что помню. Я помню, что его зовут Франк Маркус и что он мой муж. Чаще я называю его первым именем.

Сергей ШАУЛОВ

Сергей Шаулов по образованию архитектор. Круг его интересов – философия и религиоведение, история цивилизации и этология. Литературной деятельностью занимается с юношества: пишет стихи, прозу, эссе. В 2012 году в издательстве В.П. Антонова в Москве была опубликована первая книга – сборник философских притч «Книга Видений».

С 2008 года живет и работает в Канаде.

СЛЕПЫЕ

Он стоял у выхода из метро и что-то бормотал. Пробегающие мимо бывшие пассажиры не слышали его в грохоте и думали, что он просит денег, но, не видя шляпы, не останавливались. Будним утром народу было как всегда много – сплошной поток спин, плеч и голов, где таким же скорым шагом поспешал вон из подземного жерла одетый с иголки юноша, держащий под мышкой чёрную кожаную папку.

Он поравнялся с бормотуном у выхода, и до него долетело:

– Люди добрые, пожалуйста, проводите до Камаринской, люди добрые, пожалуйста, проводите до Камаринской, люди добрые, пожа...

Молодой человек полуобернулся, и его тут же толкнули в левый бок. Он отскочил и оказался лицом к лицу со слепым. Тот мгновенно уловил движение рядом с собой и заговорил настойчивее.

У него были потухшие глаза под полуспушенными веками, небритый подбородок, высокий лоб с зачёсанными назад волосами с редкой проседью. Он протянул свободную руку (другая опиралась на трость), и щеголь с документами почти инстинктивно подал ему свою; цепкая ладонь ухватила его холёную кисть.

– Вам куда?

– До Камаринской, до Вознесенской церкви, мил человек. Проводи, пожалуйста, будь добр.

Юноша толкнул стеклянную дверь, и они вынырнули под солнечный свет.

– А где это?

– Надо по проспекту по Петербургскому, а там будет сход налево.

Голос был глухой, с хрипотцой, голова повёрнута в три четверти, взглядом обгоняя провожатого на шаг, словно он боялся, что речь его пролетит мимо сверхзвукового собеседника и выбрасывал фразы вперёд, с опережением.

Они вышли на проспект, но в какую сторону сворачивать?

– Иди против машин, – подсказал слепой.

– Тут двустороннее движение.

– Иди по этой стороне. Тебя как зовут?

– Павел.

– А я Николай. Коля. Мы туда ли идём, Пашенька?

– Куда показали, налево по проспекту. Это какой поворот будет?

– Не знаю, Пашенька. Я только третий раз сюда приезжаю. Сказали мне, – продолжал он уже совсем своим тоном, – в Вознесенскую пойди. Вот по средам я сюда теперь и езжу. А ты не местный, что ли?

– Местный. Но Камаринской не знаю.

– Это ничего. Тут рядышком, Пашенька. Нам бы до службы успеть. Вишь, никто не подходил. Все бегут; а сам я не доберусь, не вижу ничего.

Он помолчал.

– Долго что-то идём мы, Пашенька. Это какой поворот?

– Это Ясенева.

– Не то, – он вздохнул. – А ту ли сторону мы приняли с тобой, а?

– Всё как вы сказали, – попытался успокоить его юноша. Он чувствовал, что неожиданное приключение затягивается, к десяти он должен успеть в посольство, благо отправился из дома загодя, но теперь не будет ни секунды про запас. Где же эта чёртова Камаринская? Может, слепой ошибся и надо было направо свернуть?

– Вы проспект пересекали?

– Нет-нет! – запротестовал тот. – Тут близёхонько уже, ты не волнуешься, Пашенька.

«Как это он догадался, что я нервничаю?»

Так они брели мимо огромных рекламных щитов на заборе, мимо дворов, утопающих в летней зелени под высоким июльским солнцем.

– А по пятницам я на Крестной, – опять заговорил слепой как ни в чём не бывало. – Главное, нам до службы успеть. Можно было бы и дворами пробраться, да не знаю как. А ты не знаешь ли?

– Я на Камаринской не был; даже не замечал ни разу, что такая есть.

– Есть-есть! Как не быть! – усмехнулся впервые его ведомый, показывая мелкие желтоватые зубы.

– Сам я с Лисицына. Знаешь, где оно, Лисицыно?

– Деревня?

– Нет, Пашенька. Городок такой небольшой. Пригород. Бывшая деревня, видать... Я там всю жизнь прожил и сейчас живу... Пенсия маленькая, вот добрые люди и подсказали, где подают. В Лисицыно-то ни хрена не дадут, сами все как собаки голодные. Здесь богато, здесь народ в церкви ходит. Это какая улица будет? – прервался он, выстучав тростью край тротуара.

– Ражая, – прочитал Павел. «Ну и названия! Никогда не обращал внимания». – Знаете такую?

– Нет, Пашенька, ничего я здесь не знаю.

Юноша опять забеспокоился. Может, слепой здесь впервые и наврал, что бывал в церкви; ему кто-то рассказал, как ехать, вот и всё. Хотя зачем ему обманывать?

– Тут заборы всё слева, да?

– Да.

– Значит, правильно идём, – повеселел тот. – Ты не переживай, скоро уже доберёмся, а ты по своим делам успеешь. Бог поможет, что не оставил сироту. Я ведь сирота, Пашенька. С хлеба на воду... А воздух хороший тут!

Они как раз проходили мимо ветвей старой липы.

– Помню, в детстве вот так на солнышке играешь. Долго, заиграешься... А деревья у нас во дворе. И потихоньку в тенёк прятаться начинаешь. Там и песочек прохладный, и полежать можно... А я всё в камушки играл. Собирал камушки и рисунки разные из них делал.

– Как мозаику?

– Не... Ну солнышко там кругом, с лучиками. Деревце. Так... Как воображал его... Машинку там...

Павел бросил на него быстрый взгляд. На вид собеседнику было далеко за сорок. Он улыбался, глядя теперь прямо перед собой. Они шли спокойно, словно отец с сыном на прогулке. Только родитель был одет в пыльную кацавейку и потёртые штаны, а на сыне блистал английский чёрный костюм-тройка. Слепой пригрелся; шёл он, опираясь на руку Павла, уже вполне уверенный в правильности маршрута, трость его постукивала размеренно. Прохожие огибали их за несколько шагов.

– Сидишь себе так же, заиграешься... Травой тёплой пахнет. А ты камушки перебираешь. И тут мамкин голос!

Он задрал голову, подставляя лицо солнцу. На сухих губах его блуждали улыбка.

– Громко так зовёт, далёко слышно, протяжно так. Ко-олька! Ко-олька! Я камушки собираю в карман и иду на голос. А она знает и продолжает звать: «Колька!»

Так мы с ней жили. Недавно померла она, зимою. Вот мне и есть перестало хватать. Хоть я ведь немного и ем-то... А добрые люди подсказали, спасибо...

Он осёкся, потому что трость просигналила конец тротуара.

– Какая улица?

– Камаринская!

– Слава богу! – он с облегчением рассмеялся.

Они повернули и побрели мимо двора. Улочка была тенистая, здесь обдавало прохладой, и Павел представил, как в таком же тихом дворике лет сорок назад мальчик Коленька сидел под деревом и собирал из камушков рисунки.

– А ты в Бога-то веруешь? – обеспокоился вдруг его спутник.

– Верю.

– Хорошо. Бог помогает, – важно ответил слепой, словно заученной фразой, слышанную от кого-то, с интонацией такой поповской. – Виднётся она?

– Кто?

– Церква-то.

– Нет, пока дворами идём.

– Ничего. Скоро уже, ты не смущайся, Пашенька. Всюду теперь успеешь. Бог помогает.

Юноша только крепче сжал свою папку, вглядываясь в конец зелёной аллеи, пытаясь разглядеть церковь, но вдалеке всё было залито солнечным золотом, это сияние переливалось волнами тёплого воздуха и подрагивало у склонённых аркадою ветвей.

– Ты в церву-от зайди, Пашенька. Не пренебрегай, – увещательно обратился к нему слепой. – Хоть на пять минуточек. А я за тебя свечку поставлю. За здравие раба Божия Павла.

– Зайду.

– Не пренебрегай, – вздохнул Николай. – Что, видна уже?

– Нет.

– Ах, нам бы до конца службы успеть, как народ выходить станет! А точно Камаринская это?

– Точно. Здесь никуда не надо сворачивать?

– Не! Прямо, Пашенька, прямо ступай!

Во дворе не было ни души; работающие уже разъехались, а для бабушек и мам с детьми, видимо, рановато. На деревянной скамейке с облупившейся краской, никем не тревожимая, лежала большая серо-полосатая кошка. Авто совсем не было; они шли одни, из всех звуков – только инвалидная трость, постукивающая по асфальту.

Вдруг деревья расступились, и улочка вылилась в небольшую площадь, во главе которой высилась скромная на вид белая церковка. На паперти уже стояло несколько нищих. Площадь была пуста.

– Она! Она! – радостно закивал Николай, словно уже увидел цель их путешествия.

– Маленькая, – заметил его поводырь.

– Невелика. Но подают хорошо. Люди здесь богатые.

Павел подумал, как по-другому звучит это слово в устах просящего подаяния.

Вот они уже приблизились к самым ступеням.

– Обязательно зайти, Паша, – понизив голос, сказал слепой. – А я помолюсь за тебя здесь. Вот и пришли. Дай бог тебе здоровья.

Он как-то ловко взобрался наверх и занял место между двумя попрошайками, успев даже кивнуть им. Павел прошагал в отверстую дверь, заметив, как Николай улыбнулся, доставая из кармана и разворачивая скомканный полиэтиленовый пакет.

Внутри царил полумрак, запах ладана, прохлада и приглушённое пение в глубине за иконостасом. Прихожан было в рабочий день немного, но не сплошь старушки; Павел углядел пару неплохо одетых мужчин, группу женщин с детьми и студенток в миленьких платочках. Он остановился наугад перед какой-то иконой. Постоял, посмотрел, не видя, на таинственно поблёскивающее в разноцветных огоньках лампадок золото, выжидая какое-то время ради приличия. Потом обогнул колонну. Никто не оглядывался, все лица были устремлены на алтарь. Павел направился к выходу, торопливо выгребая из кошелька всю мелочь.

На ступенях он резко шагнул к Николаю и ссыпал ему все деньги в мятый полиэтиленовый пакет, который тот держал теперь двумя руками. Слепой отдал важный поклон, высвободил правую руку и медленно перекрестился.

Павел сбежал по лестнице и помчался по площади до ближайших деревьев. Теперь назад! Он кинул взгляд на свой ручной циферблат с мальтийским крестом – ни одной свободной минуты – и почему-то оглянулся на церковь.

Паперть была в тени, из-за алтаря над маковкой вставало солнце. Оно слепило юношу, здание маячило тёмным пятном с длинной тенью, в которой он теперь разглядел пару голубей.

Отступая в зелень, Паша не отрывал взора от сияющей площади с тёмной массой церкви, поднимающейся от неё к блистающему небу. Глаза его заслезились, он сморгнул и опустил голову. Чёрные лакированные туфли смотрелись дико в свежей траве.

Он вдруг услышал, как вокруг зудят какие-то насекомые и неподалёку дует в тоненькую дудку неизвестная птица. И представил себя: будто инопланетянин в своём гладком с антрацитовым блеском костюме, белой рубашке и тёмно-синем галстуке с тонкой косой бирюзовой

полосой, только что телепортированный со своей космической базы где-то в беспросветных недрах холодного бездушного океана, сжимающийся под мышкой плоский ледяной прямоугольник – то ли пульт управления, то ли навигатор – он оказался посреди этой странной, чужой ему сцены, в зарослях нелепых недвижимых существ, среди которых прятались не менее несуразные, неправильные на его геометрический лад, подвижные существа. Он развернулся и бросился вон из этого мира.

Вскоре, запыхавшись, он уже подходил к стройному ряду посольской ограды. Мясистый полицейский в будке выставил землистое невыспавшееся лицо. Павел достал пропуск.

Щёлкнул автоматический замок в железной двери, и раздался ровный зуммер. Павел толкнул дверь. Территория посольства была пустынна, а само оно напоминало низкий бетонный зиккурат, поставленный на свою приземистую вершину. Полосы тонированных стёкол были слепы, но Павел знал, что за ними уже полно служащих. Он ступил на безлюдную серую дорожку под перекрёстный прострел скрытых камер.

«Вот и мой спейс-шаттл», – подумал он, и в груди у него ёкнуло.

Степан ШМЕЛЕВ

Родился в 1982 году в Нижнем Новгороде. Окончил Нижегородский государственный педагогический университет. Играл на барабанах в различных музыкальных коллективах города. В 2008 году защитил кандидатскую диссертацию.

Получил второе высшее образование в Нижегородском госуниверситете им. Н.И. Лобачевского.

В настоящее время директор средней школы. Живет в Нижнем Новгороде.

ЗАВТРАК О ЛУНЕ

1

Мне в детстве говорила мама, что у нас идет снег, когда на Луне дует сильный ветер. Настолько сильный, что лунная пыль, сдуваемая ветром, долетает до Земли, преодолевая огромные расстояния, и здесь превращается в чудесные белоснежные вкусные хлопья-снежинки. Вкусные, но не сладкие!

Отец всегда поддерживал маму и говорил, что Луна станет полностью прозрачной и превратится в очаровательный леденец, когда вся пыль перенесется на Землю. Ее поверхность будет такой скользкой, что все космонавты, которые решатся выйти на идеально гладкую поверхность, не смогут устоять на ногах. Поэтому, прежде чем обучать их космическому делу, сначала, в самом раннем детстве, их будут учить фигурному катанию. Когда же будущий космонавт освоит простые коньки и сможет кататься свободно, не падая, ему выдадут турбоконьки с супермини-двигателями по бокам лезвий, сделанных из мегананосплавов, необычайно легкие и острые! Такие острые, что до них нельзя будет коснуться рукой – порежешься!

Еще папа говорил, что космонавтом может стать не каждый, не каждый, кто хорошо катается на коньках, а только тот, кто очень терпелив и не боится делать уколы! Отец говорит, что у меня все шансы стать космонавтом, но я не очень хочу! Точнее, конечно, хочу, но больше всего я мечтаю стать директором сахарного завода где-нибудь на Кубе! Там всегда солнце, тепло, много сахарного тростника и кругом море! Так мне говорил папа.

Зачем мне снег, если у меня будет сахара ну просто завались?! А если мне захочется просто поесть снега, я буду приезжать на Новый год к родителям или заказывать с вершин Гималаев!

Хотя если внимательно изучить фотографии и фильмы, то можно сделать выводы, что все космонавты очень молодые люди, а директора заводов уже в приличном возрасте, поэтому стать космонавтом у меня получится быстрее, чем превратиться в директора завода, тем более

что я уже неплохо катаюсь на коньках! Может быть, не очень быстро, но с уверенностью могу сказать, что на предыдущей тренировке не упал ни разу.

2

Мы завтракаем, сидим с отцом за столом друг напротив друга. Мама еще не проснулась. Наверно, ей тоже снится завтрак, но ее завтрак очень сильно отличается от нашего. Я точно знаю, у нее на завтрак огромные, метровые эклеры со сгущенкой, земляничное варенье, торт безе, вафли, зефир и орехи в шоколаде. Я это знаю, потому что нам с ней снятся очень похожие сны, лично мне этой ночью приснилось что-то подобное!

– Пап, ты вчера опять говорил про Луну, – начал разговор я.

– Да. Было дело, – отец отложил газету и посмотрел на меня поверх очков в толстой белоснежной оправе. Оправа чуточку прозрачная и напоминает мне мармелад.

– Она, значит, такая, прям как леденец, под пылью, да?

– Совершенно верно.

– Как сладкий леденец или просто как ледышка, безвкусная, но приятная?

– Очень сладкая, но и очень холодная, долго ее есть не получится, можно будет заболеть. А потом, вдруг начнет дуть сильный холодный ветер, придется закрыть скафандр, а то можно так лицо обморозить – губы потрескаются, или просто простынешь, будешь кашлять. Придется вернуться в ракету и пить кипяченое молоко с пенками, пока не поправишься.

Пенки я ненавижу еще больше, чем само молоко. Хотя из молока делают мороженое, по-моему, это его единственный плюс. Почему коровы сразу не дают мороженое? Природа вообще странная штука, я слышал, бывают хладнокровные существа! Вот если бы корова была хладнокровной, может быть, у нее сразу получалось давать мороженое... или просто охлажденное молоко, а не парное?

– Пап?

– А? – отец улыбался, глядя на меня, как я равнодушно размазываю пресную овсянку ложкой по тарелке.

– Кто такие хладнокровные?

– Это безжалостные и жестокие люди, тебе лучше с ними не встречаться, – предупредил меня мой отец и еще раз улыбнулся.

– Нет, ты меня не так понял, я спрашиваю про животных. Ведь есть такие животные?

– Пресмыкающиеся и рептилии.

– Змей? – я пытался подобраться к правде настолько близко, насколько это возможно, и не ошибиться, стараясь быть таким умным, как мой папа.

– Да, и не только. Кто еще, как ты думаешь?

– Ящерицы.

– Правильно. Еще?

– Не знаю.

– Крокодил! – папа сделал большие глаза и загадочно замолчал, ожидая от меня еще какого-нибудь вопроса, но мне эта беседа порядком надоела. Я молчал, а он решил продолжить. – Кто ближайшие родственники крокодилов?

– Такие родственники, как мы с тобой? – лениво переспросил я, про себя уже жалея, что я начал эту беседу.

– Да, но не совсем.

– Ну, если как мы с тобой, тогда у каждого взрослого крокодила есть крокодилица и маленькие крокодилята или хотя бы один крокодиленок! Как у вас с мамой.

Отец засмеялся во весь голос, но тут же вспомнив, что мама еще не проснулась, попытался сдержаться, поперхнулся и раскашлялся, торопясь прикрыть рот бумажной салфеткой.

– Почему ты смеешься? – тихо спросил я. – Что такого смешного я сказал?

– Ты сказал, что у нас есть маленький крокодиленок, подразумевая себя, но ты не прав, у нас есть совершенно очаровательный сын. И в этом доме, я тебя уверяю, нет ни одного хладнокровного крокодила! – Отец смял салфетку в кулаке, бесшумно отодвинул стул, встал из-за стола и направился, шелестя тапочками по кафелю, к раковине, под которой стояло мусорное ведро. Вернувшись за стол, он продолжил. – Ближайшие родственники крокодилов – это птицы! Представляешь? Давным-давно, когда еще не было людей...

Отец никогда не мог вовремя закончить беседу, и это меня совершенно выводило из себя. Я начинал ерзать на стуле или жевать ворот своей футболки, свитера, куртки или что там было на меня надето. Он это всегда замечал, одергивал, просил прекратить, но упорно продолжал свой настырный рассказ или поучение. В эти минуты я уже его не слушал и думал совершенно о другом, а он вдавался в подробности и начинал в свой монолог привносить много новых и непонятных слов. Я его уже не переспрашивал и не перебивал, потому что понимал, что конца и края этому разговору не будет. Вот и сейчас он, увлеченно жестикулируя и играя своей профессорско-театральной мимикой, рассказывает мне про каких-то архозавров. Я слышал и даже сам читал про динозавров, но про архозавров я не слышал ни разу до сегодняшнего дня. Возможно, сейчас он мне врет, рассказывая то, чего нет и не было на самом деле, как часто случалось.

Мне врут, и это происходит постоянно. Раньше, когда мне было лет пять, врал так часто, что ни один мой сверстник представить даже не может.

Почему детей обманывают? Наверное, потому что они сопротивляются воле родителей и капризничают, кстати, мне кажется, что дети своих родителей обманывают по этой же самой причине!

Когда начинают обманывать детей? Наверное, лет с четырех-пяти, а может быть и чуть раньше. А родителей? Мне кажется, с самого рождения. Поэтому у нас есть фора, небольшая, но все же. Хотя мои папа с мамой тоже когда-то были такими же, как и я. Им тоже когда-то было восемь лет. Я видел фотки, причем черно-белые! Но если они были когда-то детьми, значит, они знают про таких, как я, знают совершенно все. Тогда возникает следующий вопрос: если они знают все, почему же они постоянно попадают на удочку? Ответ должен быть прост, и вариантов не так уж и много. Первый: они мне подыгрывают. Второй: их детство было слишком давно, и они забыли как это, как это быть таким, как я! Третий: их детство и мое детство – два совершенно разных детства!

До меня доносится голос отца, в его словах столько сахарной пудры, что при следующем вдохе у меня перехватывает дыхание и начинается першить в горле. Его сахарная пудра отдает раздражением:

– Сколько раз тебе говорить, не жуй ворот своей рубашки!

Я машинально разжал зубы, и обслюнявленный ворот сполз ниже и мерзко коснулся моей шеи. Легкий холодок тупой иглой поцарапал мне шею. Странно... Ведь во рту тепло, слюни теплые. У меня зубы точно не мерзнут, но если обслюнявленный ворот рубашки коснулся кожи, то веет острым холодком. Почему? Можно спросить отца, но мне на сегодня достаточно, хватит и этих историй про архозавров...

– Ты меня не слушаешь. Тебе не интересно, – теперь в голосе у папы зазвучали нотки сожаления. А сожаление всегда пресное, как моя каша.

– Интересно, – соврал я и уставился ему в глаза, ну, не совсем в глаза, а на переносицу.

В каком-то американском боевике секретный агент рассказывал своему напарнику, что если смотреть на переносицу, то собеседнику кажется, что ему смотрят внимательно в глаза. Агент, конечно же, говорил не про свой нос, а нос того человека, с кем приходится беседовать.

3

Первый глобальный обман я помню очень хорошо, во всех деталях. Это, по-моему, было, когда мне стукнуло пять, а может, четыре. Я не хотел делать укол, а мне сказали, что если я соглашусь на эту процедуру, а потом еще и съем все что положено на завтрак, я буду самым сильным мальчиком на этой планете.

Подвох заключался в том, что это придется делать постоянно, каждое утро. Каждое утро укол. Каждое утро противный пресный завтрак. Суть же обмана заключалась в том, что папа вкатил в мою комнату резиновый шар, не очень большой, но и не очень маленький. Отец пожаловался, что поднять шар у него так и не получилось и он очень рассчитывает на мою помощь. Папа жаловался, что у него разболелась спина от непосильных нагрузок и он еле-еле докатил его до моей комнаты. Высказывая свои жалобы, он смотрел мне прямо в глаза, а точнее, на мою переносицу, и всем своим видом показывал, что очень устал.

Это резиновое изделие было ему чуть выше колена, а мне доходило до середины груди. Изделие было похоже на розовый Chupa-Chups, только без пластиковой белой палочки и уродливой обертки с надписью.

Переступив порог моей комнаты, отец сел на шар и вытер пот со лба. Сейчас я думаю, что это был совершенно не пот, а просто мой папа побрызгал свое лицо из пульверизатора, из которого мама каждым воскресным утром опрыскивала цветы в нашей квартире.

Потообразование на своей коже отец, конечно, продумал, но не додумался до того, что шар, на который он сел, прогнется под его весом. А это будет в свою очередь свидетельствовать о том, что внутри этого огромного мяча есть большущая полость. А если есть полость, значит, этот предмет не такой уж тяжелый, как изображает папа.

Хотя эта замечательная мысль мне тогда не пришла в голову, и я купился на обман. Задумывался ли тогда об этом скользком моменте в своем шикарном плане мой отец? Думаю да, но несколько в другом ключе. Он сел на шар на тот случай, если я вдруг подбегу, у меня не получилось выхватить игрушку до того момента, как мне мама сделает укол. Потому что как только я увидел мяч, я сразу же ринулся к нему.

– Сначала укол и каша, а уж потом попробуем твои силы, – папа был непреклонен и смотрел мне прямо на переносицу, а может быть, даже и в глаза.

Я согласился.

Уколы – это совершенно не больно, но, конечно, не очень и приятно, а невкусный завтрак, к моему большому сожалению, просто необходим. Но я быстро усвоил, как невкусный завтрак можно сделать вкусным. Нужно пустить самую настоящую слезу, и если в своих страданиях быть настойчивым, то, возможно, мама сжалится, положит три изюминки поверх этой мешанины из овсяных хлопьев. Этим способом злоупотреблять нельзя, потому что тебя предки могут раскусить, и тогда больше никакого изюма в кашу!

После всех нудных утренних процедур я был допущен до шара, мгновенно и с легкостью подняв его над головой, демонстрируя родителям мгновенно приобретенную свою необычайную силу, а они незамедлительно продемонстрировали свое восхищение моими способностями.

– Пап? – я вновь решил на беседу.

– А?

– А ты помнишь, как ты мне несколько лет назад уговаривал сделать укол и прикатил в мою комнату такой розовый шар, наполненный воздухом? Ты был весь потный и не мог его поднять, просил меня о помощи, но сначала я должен был сделать укол и покушать.

– Неужто было такое? – Отец поставил медленно на стол чашку с кофе, посмотрел мне на переносицу и совершенно искренне сказал: – Что-то не припоминаю!

4

Несколько лет назад меня отдали в секцию фигурного катания. Я не помню точно, как это было, возможно, по причине того, что большой радости я не испытывал от свалившихся на меня тренировок три раза в неделю.

Зимой занятия проходили на огромном стадионе с очень неровным льдом, испещренным выбоинами и странными ледяными наростами, заставляющими спотыкаться и падать и набивать огромные синяки на коленях.

Кроме секции фигурного катания на этом же стадионе размещалась детская секция по хоккею и огороженный платный каток, на котором катались все кому не лень. Катались непринужденно и под веселую музыку, а я слышал отголоски этих мелодий и навязчивый голос тренера, отслеживающего каждое движение своих малолетних подопечных.

В моей ситуации самое обидное было то, что мне не досталось ни веселой музыки, что играла на другом конце стадиона, ни внимания тренера. Он занимался всеми остальными ребятами, а я катался на периферии его зрения, пытаюсь устоять на коньках. Возможно, он тренировал только будущих профессиональных фигуристов, которые стремились сделать карьеру спортсмена, а потом, когда придет время, занять его место. Будущие же космонавты-любители его мало волновали.

Конечно, он беспокоился обо мне, спрашивал, как сильно я ушибся, если видел, что на моем лице выступали слезы после неловкого падения, но большего от него я не дождался, а со временем он так же перестал интересоваться мной, как и я его. В начале тренировки мы с ним здроровались, а в конце добро прощались.

Если честно, то я никогда не хотел заниматься фигурным катанием, но так решили родители, и они, наверное, были по-своему правы. Потому что стать космонавтом так просто ни у кого не получится.

С другой стороны, было очень удобно, что на занятиях я был предоставлен сам себе. Как только я научился более или менее стоять на коньках, я начал гонять наперегонки со старыми, проржавевшими машинами, чистящими снег на стадионе. Иногда украдкой, наскоблив коньком немного ледяной крошки с катка, я представлял, что стою на поверхности Луны. Всю ледяную крошку, что мне удалось добыть, я собирал в варежки и запихивал в рот, стараясь найти сладковатый привкус, а ощущал только вкус бензина, автомобильных покрышек и грязной воды. От запаха бензина у меня начинала болеть голова, а как только головная боль перекидывала острый стеклянный мост от виска до виска где-то под сводом моего черепа, о спорте вообще не могло быть и речи. Конечности мои наливались ртутью, и ими было практически невозможно пошевелить. Воздух в атмосфере превращался в сладкую, вязкую манную кашу, она собиралась в карманах, липла к одежде и забивала нос и рот, заставляя перед каждым вдохом и выдохом делать невероятные усилия.

В такие мгновения я еще больше мечтал оказаться подальше от Земли, плывя свободно в невесомости открытого космоса, питаюсь только тем воздухом, что был в скафандре.

5

– Слушай, нам бы очень хотелось взять тебя в команду и поставить вратарем. Ты такой жирный, что не пропустишь ни одной шайбы! Тебе даже тренироваться не надо! Защиту надевать тоже ни к чему, можно прямо на голое тело майку с номером натянуть и продолжать игру, – орали, смеясь, хоккеисты, выпросив небольшой тайм-аут у своего тренера. А тот в свою очередь отворачивался в сторону и курил, стараясь совсем не замечать происходящего. Он, молча разглядывая свет прожекторов, наверно, в эти самые секунды делал мысленно гигантский шаг назад, в свое прошлое, в те времена, когда ему приходилось выходить на лед, сражаться за победу на площадке.

Его сухая фигура с неровной головой, поглощаемая электрическим светом, больше походила на уродливую, подсохшую черешню, что не свисает безвольно с веточки, а тянется вверх ягодой, нарушая все законы тяготения, но при этом не может оторваться от земли, льда и снега. Черешня экономит силы для подходящего момента, чтобы вырваться на свободу, но этот момент давно уже упущен, и теперь ей, как и всякой другой ягоде, суждено рухнуть на землю.

Все сомнительные комплименты хоккейной команды сыпались на меня солеными сухарями, заставляя меня лишь язвительно улыбаться в ответ, преодолевая собственное недоумение. Моя улыбка была, словно нож для масла, что пытается порезать мягкий багет на бутерброды. Обстановка складывалась просто: нож хлебом не испортишь, но и приличных бутербродов не выйдет.

Ситуация повторялась практически каждый раз, когда я появлялся на стадионе и, напялив коньки, неторопливо выкатывался на лед.

Не могу сказать, что я постоянно расстраивался из-за этих дерзких нападков. Всегда был один момент, когда я четко ощущал свое превосходство даже в хоккее, хотя ни разу не держал клюшку в руках, а шайбу наблюдал только с безопасного расстояния.

Ни один из двух вратарей тренирующейся команды не мог поддерживать навязчивые дразнилки своих товарищей, потому что, скорее все-

го, они были правы. Если меня поставить в ворота, то я пропущу гораздо меньше голов, чем они, даже если они будут одновременно держать оборону в одних воротах от штанги до штанги. Их молчаливая зависть веселила меня, а неловкие движения во время тренировки совершенно не походили на самоотверженную оборону ворот. «Танец во имя жизни» назвал я его! Каждый из двух голкиперов разрозненной команды больше уклонялся от неумолимых, тяжелых, практически незаметных шайб, нежели старался их поймать и тем самым отразить атаку.

Поэтому они никогда не подливали масла в огонь конфликта и старались держаться чуть поодаль, а я улыбался. Смотрел, как они под моей улыбкой тают и оседают, словно сливки в стакане, наполненном горячим шоколадом.

– Хоккеистов точно не берут в космос? – задал я вопрос.

– Сто процентов, – ответил быстро отец, возможно, даже не услышав конкретно, что я у него спросил.

Мне кажется, ему ужасно надоели эти разговоры.

– Тебе не нравится то, что я тебя спрашиваю про космос?

– Почему ты так решил? – мягко и с осторожностью проговорил он.

– Ты так быстро ответил, что, мне кажется, ты даже и не задумался над моим вопросом. Ответил так, будто хочешь, чтобы я от тебя просто отстал.

– Тебе просто показалось. А насчет хоккеистов я совершенно уверен, на все сто процентов, – он немного задумался, протер свое лицо ладонями, словно умываясь, а потом сказал: – Да, возможно, я раздражаюсь иногда и...

– Часто.

– Что, прости? – переспросил меня папа.

– Часто раздражаешься, просто не всегда это замечаешь.

– А ты всегда?

– Не знаю, всегда ли, но замечаю за тобой частенько, – сказал я и примирительно постарался улыбнуться.

Отец встал со стула, засунул руки в карман идеально выглаженных брюк и сделал несколько шагов по направлению к холодильнику. Потом остановился, посмотрел на меня и, словно стараясь из окружающего пространства впитать в себя невидимое терпение, громко втянул в себя воздух. Грудная клетка его неимоверно расширилась, а плечи его, как мне показалось, дотянулись до самых ушей.

– Сын.

– Да, – с готовностью вслушиваться в каждое слово папы я вскочил со стула.

– Пообещай мне, если ты за мной будешь что-то замечать нехорошее, ну, например излишнюю раздражительность без особого повода, ты об этом сразу скажешь. Пообещаешь?

– Обещаю, – не моргнув глазом соврал я и поднял в знак торжественной клятвы правую руку, хотя сам был левшой.

– Хорошо. А теперь давай приготовим завтрак маме. Она скоро встанет.

Мне очень хочется быть очень обычным ребенком, таким, как все. Когда я пойму, что ничем не отличаюсь от остальных детей своего возраста, наступит полное счастье. Возможно, мне тогда и на Луну улетать

не понадобится, а то получится, что я тем самым все испорчу. Кто из детей был на Луне? Никто.

Для кого-то быть обычным раз плюнуть, а для меня постоянная работа над собой. Вот, например, я сейчас больше похож на папу, нежели на самого себя. Мы вместе с ним готовим завтрак для мамы в четыре руки. Совершаем одинаковые движения, одинаково улыбаемся и напеваем одну и ту же мелодию из старого мультфильма.

Кулинария – как музыка, чем она проще, тем лучше запоминается, врезается в память и приходит сквозь время. Все простое остается с нами, все сложное постоянно изменяется, чтобы выжить, сохранить свою целостность. Да, наверное, редко такие мысли приходит восьмилетним мальчишкам! А мне в голову приходят, стучат и навязываются – это потому что я пытаюсь сохранить свою целостность, остаться на плаву и, может быть, когда-нибудь стать таким как все. Хотя взрослые постоянно говорят, что это для меня невозможно.

Странно... Если верить словам взрослых, то в космос улететь мне можно! Мне можно думать про это, мечтать и постоянно говорить с каждым встречным о своих сверхидеях, но про то, что я когда-нибудь буду как все, про это мне нельзя даже думать и уж тем более не стоит заикаться в обществе здоровых людей. Здесь я должен молчать, как мама, молчать и улыбаться, принимая такие же равнодушные сожаления от всех окружающих, тайком рассматривающих ее ноги, ампутированные неизвестным мне талантливым хирургом по самое колено.

Все, кто к нам приходит в гости, особенно первый раз, сначала смотрят на маму. Внимательно, но как-то подло стараясь скрыть свое младенческое любопытство, изучают, а потом свое сожаление переносят на меня, стараясь скрыть его от моей матери, а мне его всячески продемонстрировать.

Когда взрослый жалеет ребенка, он дает ему что-нибудь сладкое. Когда взрослые жалеют меня, они мне не дают ничего, кроме грустных взглядов, в которых только и читается: «Держись парень! Держись! Возможно, все будет хорошо! Возможно, ты останешься цел!»

Я буду всегда и для всех ИЗСД, то есть инсулинозависимым сахарным диабетиком. Буду всегда колоть инсулин, буду всегда с осторожностью есть одно и то же, чтобы просто оставаться живым или просто не доставлять хлопот своим родителям, просто потому, что я их очень люблю, несмотря на то что они меня постоянно обманывают. Рассказывают мне про Луну и фигуристов, про сахарные заводы и про мои сверхспособности – у меня ничего этого нет и никогда не будет. Единственное, что у меня есть своего, так это ручка-шприц, диета и они – мои родители, которых я обманываю, делая доверчивые большие глаза, слушая постоянно их ложь во благо.

Мне пришлось быстро повзрослеть. Быстро принять себя таким, какой я есть на самом деле, а они этого не смогли. Мне было удобнее смиряться и подчиниться самому себе, удобнее, привычнее и легче. Я у них был восемь лет из тридцати, а сам у себя все восемь. И там, где заканчиваюсь я, для меня заканчивается все остальное, а для них, для моих отца и матери... не знаю...

Мама медленно, практически бесшумно выкатилась из своей комнаты на инвалидном кресле, весело улыбаясь. Волосы ее были аккуратно

расчесаны, лицо сияло чистотой и пряной свежестью молодого утра. У нее были идеально мягкие руки, которые я так любил, любил держаться за них, любил, как они шуршат по страницам детских книг, когда она мне читает перед сном. На ее левом запястье блеснул тоненький серебряный браслетик с разными маленькими подвесками. Этот браслет ей подарил папа на мой первый день рождения. На каждой подвеске было выгравировано по одной букве моего имени.

– Кушать подано, – добродушно сказал отец и отодвинул лишнее кресло. Он всегда его ставил за стол, когда мама откатывалась, и всегда его убирал, когда мама приезжала на завтрак, обед или ужин.

У каждого у нас свои ритуалы, а на этот вроде бы мама не обижалась, хотя, может быть, просто не подавала виду, что это ее раздражает, потому что очень любила папу и ценила все то, что он делает для нее и для меня.

– Я думаю, нам с тобой снились опять одинаковые сны, – сказала мама сквозь улыбку, перемешивая горячую кашу в тарелке. – Как ты думаешь, я права?

– Думаю, да. Ты права, – согласился я и еле сдержал смех, вызванный удовольствием сладких и обильных сновидений.

– Вы уже покушали?

– Да, мы ели, ждали, когда ты проснешься, – сказал отец. – Вели себя тихо, не хотели тебя будить.

– А может быть, это я вела себя тихо, не хотела вам мешать? Вы опять увлекательно беседовали. Я все слышала, как вы разговаривали: про космос, спорт, животных, карьеру, сахарные заводы, было вроде еще что-то, не вспомню... Мне вас очень интересно слушать. А пока вы общались, я умылась, причесалась, а потом сидела около двери и слушала, слушала, как вы готовите завтрак, как вместе... все вместе... – в ее голосе зазвучала, простая доброта, насыщенная сентиментальностью и утренней, свежей горечью одуванчиков. Она восхищалась и расстраивалась одновременно, грустнела сквозь свою улыбку, но продолжала что-то неразборчиво говорить. Мне показалось, что она вот-вот готова расплакаться, а я готов снова соврать, чтобы просто отвлечь ее от грустных мыслей.

– Я никуда никогда не полечу! – практически выкрикнул я, подойдя к ней поближе и взяв ее за руку.

– Не поняла, – мама, словно вынырнула из-под тонкого, острого льда. – Куда не полетишь? Куда ты собирался?

– Ты же знаешь! Знаешь! Ты же нас слышала! – меня ее вопросы несколько задели, я сжал ее руку чуть сильнее, стараясь передать все свои мечты и желания через прикосновение.

– На Луну?

– Да. Я не лечу на Луну! Я не полечу на Луну никогда, и на Кубу тоже!

– Почему? – спросил уже папа, осторожно, не скрывая своей озадаченности.

– Просто я остаюсь с вами... навсегда...

Виктор СИМАКИН

Родился в 1945 году в Горьком. Работал слесарем на заводе, служил на Балтийском флоте. Окончил ГИТИС (режиссерский факультет), работал актером, режиссером в театрах России.

Лауреат Государственной премии РФ им. Станиславского за спектакль «Васса Железнова» (1986). Заслуженный деятель искусств России.

Живет в Кстове.

ТАНЯ ЗОЛОТОЙ ЗУБ

В семь часов утра меня разбудила сестра Валюха.

– Вставай скорее. Мать очередь заняла. В подвал хлеб привезли.

Голова от подушки не поднималась. Хотелось спать.

– Почему опять я... Сама взяла бы и сходила.

– У меня школа. Я сегодня в первую смену. Мать с пяти часов там.

Вставай, ругаться будет!

– Ещё минуточку... посплю.

Тогда сестра взяла веник и стукнула меня по пяткам. Потом сдёрнула одеяло.

– Вот навязалась!..

Я понял: поспать она мне больше не даст. Нехотя слез с печки, взял кружку зачерпнул из ведра воды. Умылся аккуратно над тазиком, стараясь не пролить воду на пол. Если случалось, что вода проливалась, сестра ругалась и говорила: «Вот налил, устроил болото, а мне подтирать!»

– Есть будешь? – спросила она.

– Нет. Не буду, – есть не хотелось. Хотелось спать.

– Всё равно хлеба не достанется. В прошлый раз с отцом ходил, столько часов отстояли, и не досталось.

– Достанется, – успокоила сестра, – сегодня достанется. Соседка прибежала и сказала: «На очереди дежурит Таня Золотой Зуб».

Это известие меня обрадовало.

– Ну, если Таня, тогда другое дело.

Я взял запечённую картофелину и побежал в «Подвал». «Подвалом» называли хлебный магазин. Он находился в подвале старого кирпичного дома. С хлебом были перебои. В одни руки отпускали батон и буханку ржаного. В магазин ходили по двое, по трое, иногда семьями. Когда привозили хлеб, у дверей магазина всегда начиналась давка. Можно было простоять полдня и остаться без хлеба, потому что все наглые и бессовестные лезли без очереди. Очередь ругала бессовестных, стыдила их, но они лезли.

Одна надежда была у всех на Таню Золотой Зуб.

До подвала я добежал по короткой дороге, через сквер, мимо «Рыбачки», так называли гипсовый памятник тёте с веслом. Весло у неё было отломано, и на спине углём было написано короткое нехорошее слово.

У подвала чернела очередь. Она начиналась от дверей магазина и уползала за дом к проходной завода. У дверей была давка. Стоял крик, визг, отчётливо доносились злые, матерные слова. Я понял: магазин открыли и хлеб в магазине есть. Ругань и толкотня у дверей, по обыкновению, перетекала в драку.

Дрались не зло, но с выдумкой. Мужики бились в кровь. Кулаки летели в лоб, в нос, в зубы. Однажды в ходе драки у тощего мужика выбили глаз. Глаз выскочил и покатился под ноги. Все в очереди ахнули от страха. Мужик посмотрел на очередь одним глазом, вместо другого была черная дыра, и сказал:

– Чего разохались?

Он нагнулся, поднял глаз и, завернув его в платок, пошёл к колонке. Там промыл его под струёй воды, вставил на место и снова полез в драку. Оказалось, глаз у него был не настоящий, а стеклянный. Я не знал, что такие глаза бывают.

Часто дрались и бабы. Но они дрались неинтересно. Лупили по голове сумками, зонтами, плевались, царапались, таскали друг дружку за волосы. Нет, у мужиков получалось интересней.

Из всех баб по-настоящему дралась только Таня Золотой Зуб. Она была так, что человек после её удара падал на землю и долго лежал. Потом его поднимали, он с удивлением смотрел вокруг и спрашивал: «Где это я?» Ему говорили где, но он всё равно не понимал.

Я пробежал вдоль очереди. Матери не нашёл. Она была в плюшевой жакетке. В таких жакетках были многие бабы, и отличить мать было трудно. Может, она у дверей? Я подошёл к дверям поближе. Там всюду шла драка, и конечно – крик, визг, вопли.

– Я тебе поцарапаюсь, сука! – кричал мужик в фуфайке, стараясь локтями отбиваться от баб.

– А ну всем сдать назад и освободить двери! Предупреждаю! Всем, кто без очереди, отойти по-хорошему! – это был суровый голос Тани. Голос справедливости и порядка.

Очередь одобрительно выдохнула.

Началось.

Таня вступила в дело. Порядок будет. И хлеб будет. Таня как таран врзалась в гущу давки и стала гасить драку. Это была женщина высокая и представительная. Она носила мужские сапоги, женской обуви на её ногу не было, как не было в бараке ни одного мужика, который был бы ей ровень.

– Повторяю для глухих и неумных! Двери освободить и всем встать в очередь!

Она потянула плотного мужика. Тот пихнул её локтём. Таня мгновенно приложила свой кулак к его голове. Мужик охнул, пригнул голову, и на лице его появилась задумчивость.

– Так его, Таня! Дай ему как следует! – одобрительно гудела очередь.

– Перекрести его, чтоб надолго запомнил твою молитву!

И Таня крестила.

– А ну, сдайте назад! Отошли и освободили двери! Ты что, контуженный?! Не слышишь? – Голос Тани звучал как музыка, и всем хотелось его слушать.

Вот толпа качнулась от дверей и стала напирать на Таню. Таня пошла в наступление. Раздвигая руками и плечами толпу у двери, в неизменном красном платке, она, как красный флаг на демонстрации Первого мая, возвышалась над всеми. Глаза её горели, золотой зуб блеснул. Было ясно: наглым и бессовестным пощады не будет. Как бульдозер сдвигает кучу земли, так Таня оттеснила от двери тех, кто норовил получить хлеба без очереди.

Они ругали её нехорошими словами, угрожали, просили войти в положение, но сила и решимость Тани Золотой Зуб брали верх. Она по одному выдирала бессовестных из толпы и отбрасывала от дверей.

– Так их, Таня! Поучи их маленько.

– Дай этому, мордастому, по брылам! – советовала очередь.

– Пусть запомнят! Очередь для всех одна.

Постепенно толпа у дверей заметно поредела. Очередь начала продвигаться. Только один, наверно, не местный, в сером пальто, настырно лез вперёд и нагло твердил:

– Я здесь стоял!

– Не стоял!! – дружно отвечала очередь.

– Врёт! Он только сейчас подошёл!

Таня взяла его за шкурку и стала отрывать от очереди. Мужик в пальто, упрямо цеплялся за входную дверь, за руки и плечи стоящих женщин и стариков. Но очередь, плотно сомкнувшись, стояла неприступно, как кирпичная стена, и втиснуться между очередниками не было никакой возможности.

Наконец Таня вырвала его из толпы и отбросила от двери. Мужик отлетел метра на три, едва не упав в грязь. В очереди раздался смех.

– Получил хлебушка!

– Что глаза-то бесстыжие вылупил!?

Очередь любила и гордилась Таней, часто давала советы:

– Так его! Взашей! Поучи его, Таня.

И Таня вежливо учила:

– Вы, товарищ-гражданин, приходите пораньше и занимайте очередь, как все.

Но «товарищ-гражданин» не услышал Таню и снова бросился к дверям. Таня опять легко сгребла его и отбросила от дверей ещё дальше. Перебирая руками, как рак клешнями, он свалился на землю, при этом едва не сбил с ног одиноко стоящую бабку.

– Ах ты, чёрт, окаянный! Чуть не убил, антихрист! – завопила бабка и несколько раз огрела его по голове пустой кошелёвкой.

Теперь в очереди над ним смеялись все, даже дети.

Мужик встал, ощерился, вытер руки о пальто и, страшно вращая глазами, пошёл на Таню.

– Ах ты, сука, драная! Руки распускаешь, курва! Я тебе сейчас враз фикса выбью!

И сжав кулаки, он набросился на Таню. Но не успел он замахнуться, как страшный удар опрокинул его на землю. Очередь одобрительно ахнула, и лица у всех просияли. Конечно, мужик был не местный. Конечно, он не знал про Таню. Не знал, что она работала на Кирпичном заводе, на «высадке», и возила тележки, гружённые кирпичом. Случалось, тележка сходила с рельс, четыре мужика не могли поднять и поставить ее на место. Таня могла! Она поднимала и ставила.

Ну а если бы мужик знал историю с Маклаком, то при виде Тани летел бы от магазина белым лебедем.

Все боялись железных кулаков Маклака – первого драчуна и забияки. Боялись не только кирпиченские, но и те, кто жил в Карповке. Никто не мог дать ему укорота. Однажды Маклак в присутствии людей и даже маленьких ребяташек позволил себе проявить насчёт Тани оскорбительную вольность. Он обозвал её нехорошими словами и пообещал вставить «бубну».

В это время Таня Золотой Зуб проходила мимо, и слова Маклака её сильно заделали.

– Закрой рот и не погань слух ребяташек и простых людей, – сказала ему вежливо Таня.

Но Маклак рта не закрыл, а со всей пьяной дурью наскочил на Таню. Тогда Таня Маклака огорчила. Огорчила сильно.

Полчаса Маклака отливали водой, били по щекам, возвращая ему память и двигательную способность. После того случая Маклак, конечно, драться не перестал, но к Тане Золотой Зуб при встрече проявлял вежливость и уважение.

...Этого мужик в пальто не знал, потому он тихо лежал на земле. Рядом одиноко валялась его фуражка. Немного погодя он пошевелился и пошкрябал руками и ногами по земле, желая встать. Но встать у него не получалось.

Таня поправила платок и неспешно подошла к новенькому. Взяв его за ворот, поставила на ноги. Он что-то бормотал окровавленным ртом, бессмысленно моргая глазами. Не отпуская руки с ворота, Таня негромко сказала:

– Я драная, но только не тобой. Ступай себе, сердечный, и не огорчай меня.

И мужик пошёл. Неуверенно, мелкими шагами, но пошёл. А очередь радовалась за Таню и за порядок, который образовался у дверей.

Вскоре я отыскал мать.

– Ты где шляешься! Очередь вот-вот подходит... Пуск остался!

– Я по жакетке искал, а ты в фуфайке, – стал оправдываться я.

Обычно мать ходила в магазин в жакетке.

– Жакетку он искал... – ворчала мать. Я сосчитал всех стоящих перед нами.

– Нет, нам ещё два пуска, – уточнил я.

– Два пуска... – сердито повторила мать. – Грамотные очень...

Она была очень сердита.

В магазин пускали «пусками». В каждом пуске по семь человек. И пока семёрка с хлебом не выходила из магазина, других Таня не запускала. За этим она следила строго.

Стоя в очереди можно было услышать много всяких новостей. Про волчий налог, который установил Никита. Про собачек Стрелку и Белку, и что не их надо было в космос запускать, а самого кукурузника Хрущёва. Говорили и про Сталина, которого Хрущ выбросил из Мавзолея.

– Видно, для себя место освободил, боров чёртов. – Хрущёва ругали все.

– Что с него взять-то, пастух, он и есть пастух! – твёрдо и рассудительно заключил дедок с аккуратно подстриженной бородой.

Я многое не понимал. Спрашивал у отца:

– Почему нужно было Никиту вместо собачек отправить на орбиту?

Отец хмурился:

– Ты где слышал про такое?

– В магазине, в очереди. Там ещё говорили, что Никита Сталина из Мавзолея выкинул!

Отец подбирался, оглядывался по сторонам.

– Бабы чепуху мелют, языки чешут, а ты повторяешь! Уроки все сделал? – когда отцу не хотелось говорить, он спрашивал про уроки.

...Очередь медленно продвигалась. Я заметил, чем ближе люди оказывались к заветной двери, тем злее и суровой становились их лица.

Вот из дверей магазина вышла сухонькая старушка. Она бережно прижимала к груди две буханки хлеба. За ней вышел голубоглазый пацан. Он держал два батона и поочерёдно откусывал то от одного, то от другого. Старушка, увидев это, взвизгнула:

– Ты что, стервец, вытворяешь! – и свободой рукой дала внучку крепкую затрещину.

Голубоглазый «стервец» заревел во весь рот, и было видно, как изо рта стали вываливаться откусанные куски батона.

– Пореви у меня, поганец, – цыкнула на него старушка. – Понаоткусывал, до дома не дотерпел!

Потом к Тане стали подходить разные люди, что-то говорили ей, но Таня сурово отвечала:

– Нет. Только в порядке очереди.

Вот к Тане подкатил калека в деревянном ящике на колёсиках. Это был Федя Танкист. Ног у него не было. Ноги сгорели в танке под Курском. Он двигался, отталкиваясь двумя деревянными колотушками. Я видел, как он частенько валялся пьяный у ларька. Рядом валялись его колотушки и перевёрнутый ящик с колёсиками. Мужики его уважали, жалели. Когда в пьяных спорах Федю задирали, он никому не давал спуску. Дрался Федя страшно. Обидчика он хватал руками за ноги, валил на землю и колотушками мог забить до смерти. Но мужики не допускали, вырывали беднягу из рук Феде. Потом Федю успокаивали, говорили:

– Уймись, дурень, забьёшь вконец. Под суд пойдёшь!

– А мне всё одно: хоть так, хоть этак! – отвечал Федя.

Потом он ругал кого-то страшным матом, бил кулаками по земле и безутешно, навзрыд плакал. Так плачут маленькие дети, когда у них кто-то несправедливо отнял любимую игрушку.

Мужики стояли, молча ждали, пока Федя остынет, потом сажали его в ящик, давали выпить водки. Федя закуривал, брал колотушки и, виновато глядя на всех снизу вверх, говорил:

– Извиняйте, граждане, за неприятный момент... – потом, оттолнувшись от земли, зло кричал: – Но-о-о!! Пошла, скотина безногая! Посмешили народ, и будя!

...Таня поздоровалась с Федей, наклонилась к нему, дала прикурить и закурила сама. Потом спустилась в подвал, вынесла хлеб и отдала его Феде. Он сунул хлеб за пазуху и, отталкиваясь колотушками, поехал в сторону проходной.

Подходили к Тане и другие покалеченные. Одноногий инвалид с подвязанной штаниной, на костылях. Ему тоже без очереди вынесли ржаную и батон.

Потом к Тане подошёл безрукий Коля Снеговик и стал показывать Тане култышки. У него по локоть не было рук. Говорили, он по пьяному делу зимой уснул в сугробе. Колю спасли, отвезли в больницу, и через месяц он вышел, но без обеих рук. С тех пор к нему прилипло прозвище Снеговик. Коля был немый, в грязном пиджаке на голое тело. Из носа торчали козы. Во включенных волосах виделись опилки...

– Что ты мне тычешь свои обрубки! Ты людям покажи!

Таня взяла его за культю и показала очереди:

– Пропустить этого?

– Нет! – дружно ответила очередь. – Ноги есть, пусть стоит!

– Всех пропускаем, сами без хлебушка останемся.

– Вы спросите у него, где он руки-то оставил? На войне, что ли?

– На какой войне!.. Отморозил по пьяному делу, в сугробе решил переночевать.

– Постоит, не переломится!

– Всех не перепускаешь! – отвечала очередь разными голосами.

– Да и не себе он хлеб-то берёт. За кружку пива кому-нибудь снарядился.

Было ясно, Колю Снеговика очередь не пропустит.

– Слышал, как очередь решила? – твёрдо сказала Таня. – Иди и стой, как все.

Какое-то время Коля стоял с поднятой культёй ждал, может, пропустят. Но его не пропустили. Он стоял, улыбался губами и виновато смотрел на очередь. Унылый вид Коли вызывал жалость. По грязным небритым щекам катились слёзы. Какой-то мужик в шинели подошёл и сунул ему в рот прикуренную папиросу.

– На, покури, браток.

Причмокивая папироской, как малыш соской, Коля постоял ещё немного и, опустив голову, пошёл от магазина, на ходу вытирая култышками грязные слёзы.

Хлеба нам тогда досталось.

Я шёл из магазина, прижав к груди батон и ржаную, и тихо, чтоб не заметила мать, плакал. Жалко был Колю.

Через неделю я снова побежал в хлебный подвал. Картина была знакомая: длинная очередь, у дверей давка, крик, матерные слова и, как обычно, драка.

Тани Золотой Зуб не было.

В очереди сказали, что ей кто-то во время очередной схватки у дверей шилом проткнул печень. Когда приехала скорая, Таня лежала на земле и не дышала. Она умерла.

В тот день мы вернулись домой без хлеба.

ПАССАЖИРЫ «ГОЛУБОГО ДУНАЯ»

Было воскресенье. Мой брат Сашка дал мне десять рублей и сказал:
– Беги в «Дунай», нальёшь пива, четыре кружки, и сдача твоя.

Сдача рубль двадцать – хорошие деньги, можно сходить в кино или купить мороженое. Была жара. Все наши пацаны пошли на Оку купаться. Я взял бидончик и побежал за пивом в «Дунай»

У «Голубого Дуная» чернела большая очередь.

«Стоять придётся долго», – подумал я. Но мысль о кино и о мороженом согревала, и я решительно спросил:

– Кто последний?

«Голубым Дунаем» назвалась пивная. Она находилась напротив трамвайной остановки «Двигатель революции». Раньше на этом месте стояла огромная цистерна. Из неё на разлив продавали керосин. У нас было два керогаза, и для их горения требовалось много керосина. Меня часто за ним посылали. Тащить бидон с керосином целую остановку было тяжело. Можно было доехать на трамвае, но кондуктор не разрешала, ругалась:

– Куда прёшься с керосином! Навоняешь тут мне! А у меня пассажиры! – и закрывала дверь.

На керосиновую бочку жаловались жители нескольких домов, что стояли поблизости.

– Вонь несусветная стоит неделями, – говорили они, – так воняет, дышать противно. А случись разлив керосина из цистерны? Заживо сгорим, как поросята!

Потом ходили, жаловались пожарным, грозили написать в газету. И цистерну убрали. После неё осталось только большое масляное пятно, похожее на плешь. Оно пахло керосином и не зарастало травой. А ещё через некоторое время на пятне построили ларёк с верандой, покрасили его синей краской, и почему-то стали называть его «Голубым Дунаем».

Сперва в «Дунае» продавали пиво, мороженое и конфеты, но потом осталось только пиво и папиросы «Беломор» да ещё кильки в томатном соусе.

Пиво, как и керосин, продавали на разлив. Его привозила «полуторка» в больших дубовых бочках. У кузова открывали задний борт, к нему приставлялись доски, и по ним скатывали бочки вниз. Из задней двери «Дуная» выходила буфетчица тётя Надя, толстая, с ярко накрашенными губами, с мелкими кудрями на голове, и громко объявляла:

– Пассажиры! Есть желающие пробить и закатить?

Раньше Надя работала в буфете вагона-ресторана и по привычке всех мужиков и других граждан называла «пассажирами».

– Ну, подходите... не съем! – Она дымила папиросой и охально улыбалась.

Желающих «пробить» и «закатить» за пиво вне очереди всегда хватало. Выбрав четырёх дюжих молодцев, Надя выдавала им рукавицы, и мужики начинали спускать бочки.

– Осторожно, не уроните! Ты снизу поддерживай! – командовала она. – Бочки на мне числятся. Мне их сдавать по акту!

Молодцы закатывали бочку в ларёк, выбивали из неё пробку и в отверстие вставляли качалку. Дальше за дело принималась Надя. Она гнала воздух в бочку, а из бочки жёлтой струёй лилось пиво. Ловко подставляя кружки под струю, наполняла их и ставила на отстой. Первые четыре кружки полагались тем, кто «пробивал» и «закатывал». Дальше пиво отпускалось строго по очереди.

Пивная очередь в основном состояла из мужиков и пожилых стариков. Были и женщины, иногда старушки. Но их было мало. Они, как и я, стояли с бидончиками «на вынос». За мной стоял дед с ржавой бородой и усами. Он курил козью ножку. Махорочный дым шел от него как от керогаза.

Пиво отпускалось через окошечко. Перед ним стоял столик, покрытый мокрой от пива клеёнкой. Над окошечком висел бело-зелёный плакат с надписью «Требуйте полного налива». Внизу была нарисованная кружка с пивом и мелкая надпись «До черточки 0,5». Полного долива требовали не все. Пассажирам не терпелось уткнуть лицо в кружку, быстро выпить и, стряхнув пену с лица, крикнуть: «Надюша! Повтори! Без долива!»

И Надюша повторяла. Ей нравилось, когда говорили «без долива». Но были и те, кто требовал долива. Их называли «законниками». Для них Надя отставляла кружку в отстой и, когда пена спадала, доливала до черточки 0,5, потом, бросив сердитый взгляд на «законника», вежливо говорила:

– Нате вам, кушайте на здоровье моё пиво.

Очередь продвигалась медленно. Брели по три, а то и по пять кружек. Взяв пиво пассажиры шли к столикам. Столики в «Дунае» были стоячие, их было мало. Как воробьи теснятся вокруг хлебной горбушки, так и «пассажиры» плотным кольцом стояли вокруг столика, заставленного кружками, бутылками, закуской. «Пассажиры» в основном были наши местные, кирпиченские.

В углу веранды я увидел Колю Маклака. Коля был постоянный «пассажир» «Дуная». Перед ним на мокрой газете стояли три кружки пива, плавленный сырок и банка из-под килек вместо пепельницы. Он один занимал весь столик. Колю Маклака знали все. Знали его кулаки и боевой характер матроса. Особенно когда он был выпимши. Пиво без водки Коля не пил. Вот и сейчас он стоял за столиком и выглядел серьёзно, будто готовился провести научный опыт. Из кармана широченных брюк Маклак вынул бутылку водки, снял с неё «косынку» и аккуратно разлил по кружкам. Он делал это не спеша, сосредоточенно, как наш химик на уроке, смешивая серную кислоту с окисью натрия. Очередь притихла, ждала: «Ужели выпьет?»

Взяв кружку огромной ручищей, на которой синели наколотые якоря и чайки, он негромко, кому-то на небе, прошептал:

– Вот она... жизнь, начинается!..

Очередь в нетерпеливом любопытстве замерла. Маклак насупился и без отрыва, залпом, выпил первую кружку и за ней сразу – вторую. После небольшой задумчивости, он со свистящим шумом выпустил из себя воздух. С таким шумом паровоз освобождается от лишнего пара,

прежде чем закрутить колёса и тронуться в путь. «Пассажиры» ахнули в восхищении.

Выдыхаемая Колей смесь была смертельной для мух. Они падали замертво на стол, на пол, некоторые попадали в кружки с пивом. Пассажиры, зная эту особенность за Колей, всякий раз при его очередном выдохе прикрывали ладонью свои кружки.

А Коля всё колдовал. Закинув руки как для полёта, он замирал и ждал. И все ждали. Смотрели на него: улетит он или нет? В эти минуты смолкали голоса и, кажется, «Дунай» наполнялся светом...

– Так-так-так, зашевелилась, пошла волна по жилам! – тихо прошептал Маклак: – Лечу-у-у! – И лицо его освещалось радостью.

– Эка прорва! – крикнул Ржавый дед, любуясь Колей. – И как он это всё внутрь умещает! Вот бог дал утробу!

«Полёт» Коли привёл очередь в нетерпеливое возбуждение. Всем хотелось «полёта». В «Дунае» как-то сразу всё забурило, зазвенело, заголосило. То и дело раздавалось:

– Надюша, три кружки и две повторить! Без долива!

– Наденька, и мне две!

– Ты кружки принёс? – отвечала Надя – И куда я тебе волью? Может, в ... – и добавляла нехорошее слово.

«Пассажиры» морщили лбы, улыбались: «Вот баба, вот стерва, вот даёт!»

А «стерва», высунувшись наполовину из окошка, объявляла:

– Пустые кружки несите до меня! Это сто раз надо говорить?

Желающих собирать и нести кружки не было. Стояли. Ждали.

– Или кран закрою и не буду отпускать. Стойте как столбы, без пива! А я вон пойду покурю!

Стоять без пива «пассажиры» не хотели. Шли, собирали кружки, несли их к окошечку Наде.

Надя любила своих «пассажиров» и знала: они сделают всё, лишь бы она не закрывала кран и поила. И Надя поила. Как мать кормит грудью голодного дитя, так и Надя поила жигулёвским своих «пассажиров», с доливом и без.

...Третью кружку Маклак выпил молча. Без «полёта». От последнего выдоха мухи не падали. Их не было. А те, что были ещё живыми, очумело ползали по столу, и было ясно, что они никогда не встанут на крыло.

Обтерев губы и грозно посмотрел на всех, Коля Маклак scomандовал себе:

– Всё! Шабаш. Кранцы по борту! Суши вёсла! – и, громко икнув, враскорячку вышел из «Дуная».

Жара всё набирала силу. Даже в тени, под крышей «Дуная», было душно и не хватало чистого воздуха для дыхания. Табачный дым сизым облаком окутывал «пассажиров». Пахло пивом, обедками рыбы, окурками на столе. К их запахам примешивался керосинный дух. Очередь медленно, но продвигалась.

Иногда Надя переставала качать и с криком: «Опять эти сикуны!» выбегала наружу. Было слышно, как она кого-то нещадно материт. Потом возвращалась, громко ругаясь:

– Вот сволочи! Зассали всё кругом. Не продохнуть! – Она вновь занимала место у бочки, продолжая качать и наливать. – Что за люди! Говори, не говори! Где жрут, там и срут.

Туалета не было. Нужду справляли прямо за бочками или на заднюю стену «Дуная». И как ни ругала, как ни материла Надя «сикунов», остановить «движение вод» она не могла.

Дедок с ржавой бородой в который раз запалил самокрутку и, затаившись, выпустил из себя сизую струю дыма.

– Ты, дед, отошёл бы... чадишь тут, как паровоз, своей махоркой, аж глаза щиплет! Вон, мальчонку всего обкурил! – выразил недовольство представительный «пассажир» с гладкой лысиной.

– Да у меня свой табачок-то, не то что эти ваши стручки!

Дед гремел кашлем, курил и нахваливал табачок, потом ловко достал кисет и, беззубо улыбаясь, предложил лысому попробовать:

– Угощайтесь, сам нарезал!

– Он глухой, – кто-то бросил из очереди, – не слышит. Говори громче!

Лысый махнул рукой и интереса к деду больше не проявлял.

А между тем жизнь в Дунае продолжалась.

Сильно шатаясь, на веранду вошёл Герасим. Он тоже был постоянным «пассажиром». Минуя очередь, Герасим прямо пошёл к окну. Надя сразу его осадила:

– Пошёл отсюда! Видишь, очередь! И не суй мне свои рубли! Иди домой. Проспись. Тогда и приходи!

Герасим тупо посмотрел на очередь, потом на зажатые в руке рубли и, что-то пробормотав, вышел из «Дуная». Он был сильно пьян. Всем было ясно: до дома он не дойдёт. У бочек его качнуло. Герасим упал и больше не вставал.

Вообще-то его звали дядя Витя. Герасимом прозвали за молчаливость. Трезвый дядя Витя молчал, как Герасим в «Муму». Но когда выпивал, то накопленные за время молчаливости слова вырывались из него потоком. Про жизнь Герасима знали все в округе. И жители посёлка, и собаки, и даже трамвайный столб. Он с пьяной настырностью рассказывал про себя каждому встречному, кто попадался. Начинал с детей. Их у Герасима было шестеро. Потом про завод, где работал слесарем-сборщиком, про начальство, которое его ценило и вручало грамоты. Пьяный Герасим был глупым, но безобидным. Он мог часами рассказывать про форсунки, коленвалы и как ценит его начальство, потом снова переходил на детей, какие они смышлённые и башковитые, а потом опять сначала. Ему было всё равно, слушают его или нет. Герасим мог стоять у столба и два часа рассказывать ему про форсунки. Народ проходил мимо, смеялся, шутил:

– Герасим опять столб в гости приглашает!

Когда он падал, за ним с тележкой приходили сыновья Вовка Огурец и Валерка Пуплёнок. Они грузили отца в тележку, на которой осенью перевозили картошку с участка, ругали его, обзывали пьяным козлом и везли домой. На другой день, протрезвев, пьяный «козёл» превращался в Герасима и замолкал на полмесяца, до получки.

А в «Дунае» всё больше поднимался градус и всё сильнее накатывал пьяный дух.

Начались превращения. Впереди меня стоял дядька в очках. В очереди он стоял тихо, газету читал, а когда выпил кружку пива, затем ещё две с «доливом», с ним началось превращение. Он вытаращил глаза, стал махать руками, спорить, сердиться на соседа по столику, обзывать его нехорошими словами, тыкать в лицо газетой, повторяя: «Ты это читал? Нет, скажи, читал!?»

– Ну не читал, и что? – отвечал сосед, желая отвязаться от назойливого читателя.

– Тогда ты дурак! Полный! И темнота необразованная! Знаешь, какие задачи обсуждали на внеочередном пленуме? А? Что постановил пленум?! Вот послушай!

Сосед не хотел слушать про пленум и отошёл от назойливого очкарика, бросив:

– Связываться с дураком – себе дороже!

Тогда читающий «пассажир» пошёл искать других слушателей. И нашёл. Один был коренастый, в клетчатой рубашке, другой – в майке, длинный и худой. Они пили пиво и закусывали воблой.

– Извините, а вы это читали? – начал он и через минуту стал клетчатому тыкать в лицо газетой.

– Мужик! Шёл бы ты на хрен вместе со своей газетой! – Клетчатый поставил кружку и вытер руки о штаны. – Проводить или сам дойдёшь?

Парень был настроен решительно. Очкарик сразу сник.

– Мерси пардон, провожать не надо, я пойду, – сказал он. И тихо, мелкими шагами, пошёл туда, куда его послали.

Столики в «Дунае» никогда не убирались. «Пассажиры» уходили, оставляя на столе кружки, объедки рыбы, газеты, залитые пивом, окурки. Поэтому новые «пассажиры», получив своё пиво, стремились выйти из «Дуная» на воздух и там располагались на бочках. Пустые бочки тоже шли в употребление: их использовали вместо столов.

Оставшиеся объедки убирали просто: бочку наклоняли, все сбрасывалось под ноги, потом затапывалось. И это повторялось раз за разом.

Потом возле бочек начиналась пьяная драка, крики, ругань, конечно, мордобой...

Надя сразу прекращала отпускать пиво и, выбежав на воздух, кричала:

– Сейчас же прекратите, мать вашу! Вон идите к мосту, там и деритесь. Хоть поубивайте друг дружку, а здесь не допущу! Здесь вам не чапок, а культурное заведение!

Если драка продолжалась, Надя объявляла:

– Граждане пассажиры, пока не кончится мордобой, пиво отпускать не буду! Стойте, как хотите!

Тогда из очереди выходило несколько крепких «пассажиров», и они доходчиво объясняли драчунам:

– Мужики, вы что взялись? Вы выпили, вам хорошо, а другие что – не люди? Хотите драться, вот идите к мосту, там и выясняйте... кто прав!

Мост через Ржавку был сделан из брёвен, и под ним можно было легко укрыться. Играя в войну, мы с пацанами там часто прятались. Но когда появился «Дунай», место наш игр превратилось в большой нужник, и туда ходили только пьяные отливать выпитое пиво.

При виде нескольких суровых трезвых «пассажиров» бойцы мирились и расходились. Иногда с песней.

Надя снова бралась за качок, и наполненные пивом кружки со звоном, как птицы, вылетали из окошка. Их хватали жадные руки и осторожно, чтобы не расплескать, выносили из «Дуная» на воздух.

А народ все шёл и шёл...

Вот в «Дунай» вошли два друга. Безрукий Костя Снеговик и Слепой Эдик. Они тоже были постоянными «пассажирами» «Дуная», вместе пили, вместе собирали милостыню. Слепого Эдика жалели больше. Он ослеп на войне с немцами. Горел в танке, но его спасли. Костю тоже жалели, но не так. Без рук он остался по пьяной дурости – был мороз, свалился в сугроб. Там и заночевал. Обе руки по локоть оттяпали. С тех пор за ним установилось прозвище Снеговик.

Костя вошел первым. Встал. Осмотрел очередь и, выставив култышки вперёд, завёл гнусаво:

– Братцы-товарищи, подайте, Христа ради, бедному инвалиду кто сколько может!

На животе у Кости висела засаленная сумка от противогаза. Потом он закрывал глаза и, сложив обрубки рук на груди, начинал петь:

– Позабыт-позаброшен с молодых юных лет...

Песня была жалостливая и длинная.

«Братцы-товарищи» жалели Костю, помогали, клали мелочь в сумку, стараясь не смотреть на грязные обрубки.

– Бог спасёт, бог спасёт, – благодарил Костя.

Слепой Эдик стоял рядом и не пел. Мужики и без этого угощали его пивом и папиросами.

Жалостливая Костина песня Надю никак не тронула. Она крикнула из окошка:

– Ты по кой хрен припёрся? Я тебе что сказала? Приходи к закрытию! А ты? Пришёл тут, нюни распустил: «Подайте Христа ради!» Сирота казанская... Иди вон на вокзал и христарадничай! Здесь заведение! Сюда люди отдыхать пришли, а ты со своими култышками!

Костя молчал и виновато улыбался.

– Наденька, прости Христа ради... Прости, не утерпел... Горит всё нутро...

– Горит у него... Больше нигде не горит?

Надя достала из-под прилавка пустую бутылку, налила в неё пива и добавила уже не так сурово:

– На, возьми!

Мужик, стоящий у окошечка, передал бутылку Косте.

– Ещё раз не ко времени придёшь, хрен я тебе чего налью!

Прижимая култышками бутылку и плаксиво извиняясь, Костя вышел из «Дуная». У бочки, запрокинув голову, он ловко засунул горлышко в рот и, причмокивая, одним махом перелил пиво в «горящее нутро».

– Мастер! – подивился дедок. – Не смотри что безрукий!

Потом Костя попросил закурить. Ему сунули ему в рот прикуренную папиросу. Он подошел к Эдику. Тот стоял, вертел головой и счастливо улыбался. Снеговик толкнул его култышкой. Эдик привычно уцепился за Костину сумку, и они пошли к трамвайной остановке.

Скоро подошла моя очередь. Тётя Надя налила пива и дала сдачу.

Я нёс ведёрко с пивом и вместе с ним много вопросов.

Я не знал что такое «жизнь» и как она течёт по жилам.

Почему тихий человек с газетой после пива стал злобным дураком? Не знал ничего и про пленум, и какие задачи он решает...

Я не знал.

Но одно я знал твёрдо: когда вырасту, «пассажиром» «Голубого Дуная» не буду никогда.

Вис ВИТАЛИС

Музыкант, поэт, писатель, режиссер. Основные музыкальные стили с 90-х прошлого столетия и по сегодняшний день – рэп и хип-хоп, блюз и электронная музыка, фанк и рок.

С 2003 по 2005 годы – редактор журнала «Хулиган». Автор трилогии «Женщина. Пособия для городского циника», вышедшей в издательствах АСТ и ЭКСМО.

...И ЮЗЕР GOD РАСФРЕНДИЛ МЕНЯ**Снеги (1912)**

Что за снеги в этом году лежат,
Сколько мальчиков смотрят на них впервые,
Улыбаясь, похожие на медвежат,
Уминают тропиночки снеговые.
Сколько маленьких девочек в первый раз
Прижимают к себе игрушечных кукол,
И отцы молодые не сводят глаз,
Опаленные новой и нежной мукой.
Этот мальчик в тыща кровавом году
Захлебнется пулей в сыром окопе,
Эта крошка истает в сыпном бреду,
Этот папа погибнет на Перекопе.
Минет сотня лет, всех, кто видел свет
Равнодушное время беззубо сгложет.
Но проложит новый радостный след
Кто-то, на медвежонка похожий тоже.
Пусть останется радость его свежа,
Пусть не рухнет он в этом смертельном беге.
... Что за снеги в этом году лежат
Что за белые эти господни снеги.

Баллада о стреле, летящей к цели

Меня несло по рельсам лезв и струнам проводов.
Я был один, и я был трезв
И ко всему готов.
Я был – звенящая стрела в позиции «Лети».

И цель моя меня ждала на том конце пути.
Какой-то странный перегон – в вагоне ни души.
Эй, проводник!..
Да где там он –
Ищи его, свищи.
Ну что ж, без чаю, я привык.
Прилег, прикрывши дверь.
И тут из тамбура, старик,
В купе ввалился Зверь.

За мной, понятно.
Ё-моё, нашел же место, бес!
Вот расплодило дьявольё родное МПС.
Он пах мочой и чесноком, он был огромно гол.
Ощерясь, высверкнул клыком
И мягко сел за стол.
И он сказал:

– Лети, стрела, когда имеешь цель.
Она давно тебя ждала и ждет тебя теперь.
Она не может перестать, она скорей умрет,
Ведь цели цель и цельность – ждать, когда ее пробьёт.
Лети-звени, стрела, лети и пой, но не забудь –
Пока ты только лишь мотив, отправившийся в путь.
И если ты не долетишь или уйдешь в кисель –
И свой полет не воплотишь, и обесплодишь цель.
Но я готов тебе помочь, и ты свое возьмешь.
И будет день. И будет ночь. И радуга. И дождь.
И от тебя не нужно мне ни крови, ни души.
Твоё – в тебе. Моё – вовне.
Ты пишешь?
Ты – пиши.
Но я возьму себе строфу одну из каждых трех,
Или всего одну строку из трех пропетых строк.
Короче, треть.
Во первых двух о чем захочешь, пой.
Любовь, свобода, жизнь и дух...
Но только треть – за мной.
А чем заполню свой посев, желаешь знать?
Изволь –
И страх, и похоть,
Смерть и гнев,
И ненависть, и боль.
Мои слова – твои уста. Твой мех – мое вино.
И каждый пусть решает сам, кому чего дано.

...Я ощетинился, как ёж – искра по волосам;
Меня так просто не возьмешь, из плотоядных сам:
– Ты приравнял мечту к блесне,
Она уже внутри.
Моё – во мне. Твоё – вовне,
Иди вот и бери.
Идея лёта не лишь цель, хотя велик искус...

А Зверь молчал. И Зверь смотрел.
И взгляд его был пуст.

Меня несло по лезвам рельс и нервам проводов.
В стекло мело, и он исчез,
И не было его.
А мы все едем сквозь тоннель,
И мне не все ль равно –
Пусть каждый выбирает цель,
Кому чего дано.
И кто сумеет мне помочь,
Где правда, а где ложь?
И будет день. И будет ночь.
И радуга.
И дождь.

Пехота Господа Бога

От смога черна дорога
В прекраснейшее далёко,
Шагает по ней не в ногу
Пехота Господа Бога.
Надеясь, что пули дуры,
От края до края мира
Ложится на амбразуры,
Шифруется в дезертиры

Пехота Господа Бога.

И наши ряды редуют,
И сзади встают другие,
И мы глядим, как седеют
Вчерашние молодые.
От края до края мира,
Сменяющимся потоком,
Уходит в разрывы дыма
Пехота Господа Бога.

Жующий тростник

Река текла много тысяч лет.
На взгорке сидел старик,
Смотрел на струящийся белый след,
Смотрел и жевал тростник.
Сладкую мякоть сухая рука
На сломе искала в нем.
Текли облака, текла река
В невидимый оком.
И время текло у ног старика,
Меняя привычный лик.

Он видел, как трупы несла река
И как полыхал тростник.
Надменные шли ладьи по реке,
Слагали песни о ней.
И смуглые всадники Удэге
Поили своих коней.
Рассвет бывал и бывал закат,
И мор, и глад, и чума,
И люди, как правило, гибли за злато,
И мир пожирала война.
Росли и рушились города,
Всё кануло без следа,
И рос тростник, и текла вода,
И было это всегда.
Что было – будет, что будет – есть.
Век будет там же, где миг.
Я просто ищу себе место сесть
И сладкий жевать тростник.

Консервы

А все-таки жаль, что давно мне не двадцать
И я не могу, словно легкая птица
Взлететь, все оставив, и там, на Донбассе
Средь выжженных солнцем степей приземлиться.
Среди терриконов горячих и темных,
Во взвеси свинцовой и угольной пыли,
Где истины стали просты да исконны:
Вот мы, вон они. Тут свои, там чужие.
Где все возвратилось к исходу, к истоку:
Тут – наша земля. Там – рогатые шлемы.
Где словно навелся невидимый фокус
И стали понятны разъятые схемы.
Консервы. Патроны. Закатное солнце.
Грядущего в мареве абрис неверный.
Столетия проходят, но все остается:
Железо. Патроны. Молитва. Консервы.

* * *

*...первой жертвой украинского Майдана 2013 года
стал памятник В. И. Ленину в Киеве*

В красную глыбу руки
Молотами стучат.
Как же вы сыте, суки
Мертвого Ильича.
Даже забытого прочно,
Списанного в архив –
Так с ним воюете, точно
И посейчас он жив.

В масках, ночью, с дрекольем,
 Скопом на одного,
 Как же вы ссыте, тролли,
 Как вы боитесь его.
 Но либо все морок, либо
 Лишь до поры молчит
 Эта красная глыба,
 Этот живой гранит.

* * *

Метался, бился, злым был и грубым,
 Сжимал в гордыне сухие губы,
 Искал свободы, творил прелюбы,
 И юзер God расфрендил меня.

Держался, пытался хранить надежду,
 Быть лучше, честнее, быстрее, чем прежде,
 Делил последний кусок и одежду,
 И юзер Devil расфрендил меня.

Хотел перестать быть серым и сирым,
 Найти ответы в слоях эфира,
 Взмыть в горние выси над старым миром,
 И юзер Human расфрендил меня.

Во тьме оскалюсь улыбкой бледной,
 Стою, вращая ногами в землю,
 Не жду ничего, никому не внемлю,
 Не помня и не вина.

К Матфею

Кто душу положит за други своя.
 Кто други положит за душу своя.
 Вот власть,
 Вот напасть,
 Вот рука брадобрея,
 Там бляенья плебса,
 Тут книга Матфея.

А что эти души? А кто эти други?
 О чем эти буковки в столбик упругий?
 А кто брадобрей?
 А что Гипербореи?
 К чему эти эллины
 И иудеи?

Кривиться, крутиться, картаво гордиться,
 Как ртутные шарики в небо катиться,

Вот Бог,
Вот порог,
Раз уж так не сидится,
Лети, логос мой, оголтелая птица.

Мы душу положим за други своя.
Мы други положим за душу своя.
Нам хочется власти,
Нам хочется счастья,
Ведь мы эти эллины
Да иудеи.

Нерж

Хлебные вилки, теплые грелки,
Общепитовские тарелки,
Ложка с загадочной надписью «нерж»,
Галоши, гамаши, бидончики с крышками,
Вещи, запомненные мальчишкой,
Вещи, которые были допрежь:
Бархаты, стульев гнутые спинки,
Саржи, поплины, гипюры, сарпинки,
Вишни пластмассовых бус,
Конусы сока в углу гастронома,
Красные яблоки сада у дома –
Я забываю ваш вкус,
Полдень рабочий на радио в кухне,
Все еще живы и наш мир не рухнет,
Воздух прозрачен и свеж,
Волк догоняет мультяшного зайца,
Все неизменно и все изменяется,
Где-то сжимают мальчишечьи пальцы
Ложку с загадочной надписью «нерж».

Маячок

(Детская колыбельная песенка)

Хорошо быть паучком,
Вдаль идти за светлячком,
Что в ночном тумане светит
Негасимым маячком.

Хорошо быть светлячком,
Негасимым маячком,
Огоньком мерцать на небе
Не жалея ни о чем.

Хорошо быть маячком
В небе призрачном ночном,
Путь указывать в тумане
Всем, кто заблудился в нем.

Елизавета ЕМЕЛЬЯНОВА-СЕНЧИНА

Родилась в городе Кызыле Тувинской АССР. Окончила Литературный институт (семинар Льва Ошанина), училась в театральном училище им. Щукина, на Высших режиссерских курсах при Госкино. В начале 1990-х годов преподавала русскую литературу в Кёльнском университете, писала инсценировки для немецких театров.

Автор книг стихов «Привычка к счастливой мысли» (1992), «Зеркальные шары» (2009) и «Тупая овца» (2014). Печаталась в журнале «Лава», еженедельнике «Литературная Россия». Стихи переведены на немецкий и французский языки. Живет в Москве.

ЗА БОГОМ НА ПЛОЩАДЬ ГАЛОПОМ НЕСТИСЬ...

* * *

Александру Анохину

поиграй мне, мальчик, на свирели!
как рука поэта горяча!
вьюги нескончаемые трели,
зло дымится тонкая свеча

леса край ложбинкою туманной,
солнце будит утром детский плач,
тряпкой небеса висят обманно,
дуб качает, ветви рвутся вскачь

в домовине золотого бора
слышен смех, топчут каблучки,
умолкают шутки, разговоры
и звучат нетленные стихи.

Кровавый сочельник

бой курантов
москва
понедельник
ангел огненный
над головой
в дверь
стучится
кровавый

сочельник
за тобой
за тобой
за тобой

за тобой
из-под полы
небес
рай земной
льёт огонь
голубой
ангел в ризу
златую небес
потянул
мир земной
за тобой

за тобой

Похороны Родины

Из цикла «Русское крещендо»

седую голову
в ладонях
сжимаю
бедную мою.
опять Святую Русь
хоронят.
хоронят
все,
что я
люблю.

палач
коленопреклоненный,
печально крестит
мир
окрест.
и смотрит
на нее
влюбленно
и
из осины
правит
крест.

* * *

Бережно
по бережку
спозаранку
в рань...

Ношу свою
бережно
из груди
достань!
Синюю
пугливую
прочь
не выпускай!
Бережно
по бережку
на заре
ступай...
Не споткнись!
Не вырони!
Фыррр!
И прочь!
Ты опять
потерянно
ожидаеть
ночь.

Старшеклассница

консервным ножом
оголенного нерва
вскрываю айпад

я буду во всех
технологиях первой!
ни шагу назад!

здесь смогом смятений
завешен мой хостинг
здесь смысл вкюрю!

мне так оголенно
и крошечно в мире!
спасите! горю!

извечные темы
дурацкие мемы
мне школа – тюрьма!

где нотные станы
помножив на ремы,
класс сходит с ума.

здесь инфу полощут
за богом на площадь
галопом нестись!

здесь беспроводная,
мобильнобольная
тупая возня.

где всё по неволе,
где с визгом и болью
держите меня!

* * *

Тепло от сруба.
Дом бревенчатый.
Весна. И день.
И церковь белая
чиста,
как брошенная женщина.

Алексей ТАИРОВ

Родился в 1983 году в Горьком. Учился в Нижегородском педагогическом университете, после службы в армии переехал в поселок Решетиха Нижегородской области, где живет и работает по сей день.

Книга хайку «По следам водомерок», часть стихов из которой мы публикуем, писалась более десяти лет. Для автора жанр хайку – это прежде всего искусство умиления, попытка заново, по-детски взглянуть на мир, под иным углом, с иной надеждой.

«Крохотные существа, маленькие люди, незначительные события и мелочи жизни тоже заслуживают быть увиденными, услышанными и прижатыми к сердцу изо всех сил.

Таким я хотел сделать своего героя. Япония в которой он живёт – это не настоящая Япония, уж слишком сказочной и русской она получилась – словно нарисованный ребёнком диковинный зверь, которого он никогда не видел, но очарован им настолько, что выбрал для него самые любимые краски.

И сама история – это не столько последнее путешествие старика к Фудзи, сколько переосмысление героем жизни и смерти».

ПО СЛЕДАМ ВОДОМЕРОК

Лето

* * *

«Шлеп!» да «Шлеп!» на пруду –
К водомеркам в салочки
Дождик напросился!..

* * *

Ни звездочки на небе, –
Знать все переловил, – теперь
Рыбачит в луже месяц!..

* * *

Нанижу-ка и я
На стебелек осоки
Горсть ягод – так вкусней!

* * *

Всюду многоточия...
Муравей, беда-философ,
Снова в кляксу угодил!..

* * *

Сними-ка гэта, друг!
Меж каблуков улитка
Висит вниз головой.

* * *

Одноногая,
Все вокруг да около
Тень у пугала.

* * *

Пришла на ум строка!..
Ах, рано светлячка я
От кисти отвязал!..

* * *

Смутил до бледности
Вьюнок, за талию вдруг
Приобняв, поганку!..

Осень

* * *

Сам яблоко бы съел,
Не будь так тощ червяк ты.
Уж ладно – доедай!..

* * *

Ну полно, друг, кряхтеть!..
Идем... Я скарб твой буду
Нести по четным дням...

* * *

Приснились мать с отцом...
Однажды все мы станем
Кругами на воде...

* * *

Клин перелетных птиц
Все дальше... Треплет ветер
У пугал рукава...

* * *

Остыл зеленый чай,
И в кружке тоже осень –
Опалая листва...

* * *

За бороду опять
Куда ты, ветер, тянешь
Бродягу-старика?

* * *

Мою худую шляпу
В починку разве что возьмут
Вьюнок да повилика!..

* * *

Совсем уж стерся
Твой гребень костяной –
Пора, старуха...

* * *

Как воет ветер здесь...
На кладбище животных
Нашел приют старик...

* * *

Размыл могилу дождь...
Тут смерть сыграла в кости
С поэтом-гордецом...

* * *

И у тебя, бедняга,
Не попадает зуб на зуб?!
В замерзшей пашне череп...

* * *

Вот радость – первый снег!
В кулачке малыш несет
Показать снежинку!..

* * *

«Друг мой!»... Увы, впотьмах
Я лишь лохмотья снова
На пугале обнял...

* * *

Даст бог, зиму протяну:
На плаще моем – в прорехах –
Паучок тенета сплел.

Зима

* * *

В чернильной кляксе вдруг
Снежинка утонула...
Очнулся – уж зима...

* * *

Тыква-лежебока
В снежной шапке набекрень
Будто сама Фудзи!..

* * *

Зиму напролет
Все бредут, бредут с полей
Пугала в снегу...

* * *

Я чую, захворал...
Куда уж сам не знаю,
Бреду сквозь снег и мглу...

* * *

Сил больше нет идти...
Ах, много о себе я,
Безумец, возомнил!

* * *

Проходит ночь в бреду...
Усну, проснусь... – Все там же
Мой месяц-пилигрим...

* * *

Как сон прошли года –
Туман, роса и иней...
О Боже, где же Ты?!

* * *

Вот и повстречались
Снеговик и пугало –
«Сколько лет, сколько зим!..»

* * *

Скачут пугала
В метель – с ноги на ногу,
С ноги на ногу!..

* * *

Друг мой, письму без слов
Ты не дивись. Послушай,
Как зимний вечер тих!..

* * *

Лишь солнца лучик смог
Снежинку-недотрогу
До слез развеселить!..

Весна

* * *

Перед тобой, весна,
Кто устоит? Мой посох
И тот пустил побег!..

* * *

Как горько плачет он...
Узнал малыш, что сужен
Сверчку недолгий век.

* * *

«Пора, мой друг. Прощай...»
К лапке голубя в ответ
Привяжу подснежник...

* * *

С другом до весны
Обменялись шляпами...
Вышло – навсегда...

* * *

От мотылька
Осталось лишь на вдох –
Свечу задуть...

* * *

На пустой странице
Букашка – точь-в-точь с точку!
Поставлю еще две...

* * *

Вот вишни зацвели...
Ах, не успел я вдоволь
По вам потосковать!..

* * *

И среди слив в цвету
Куда ни глянь – пустыня
Тому, кто одинок...

* * *

Отражение
В саке, тень да эхо – вот
Все мои друзья...

* * *

Уж в землю на постой
Стучатся слепой старик
Да хромоножка-трость...

* * *

Затоптанный вьюнок
Последним своим усом
Цепляется за жизнь...

* * *

Сухой чертополох
Расцвел на миг – в колючках
Родился мотылек!

* * *

Перед твоим крыльцом
Весь мир пройдет однажды...
Подвинься, улитка!..

* * *

Луна и светлячок...
А между ними где-то
Бумажный мой фонарь...

Лето

* * *

Ночлег на берегу –
Побалуюсь сегодня
Ухою из Луны!..

* * *

Морской конек –
Подводной тишины
Скрипичный ключ!..

* * *

Две бездны – два лица:
Медуза-невидимка
И месяц-чародей...

* * *

В горлянке горсть земли
Несу со склона Фудзи –
Другу на могилу...

* * *

Бессмертником порос
Могильный холм... Стою и
Нет силы подойти...

* * *

Наступит мой черед –
Встречай и будь готов, друг,
Пуститься в новый путь!..

* * *

Ах, вновь бы поглядеть
На этот мир, как в детстве,
Сквозь крылья стрекозы!..

* * *

Как чудо детских лет
Приснись мне напоследок,
Снежинка в янтаре...

Проза

Ольга РЁСНЕС

Родилась в 1951 году в Воронеже, окончила физический факультет и факультет журналистики Воронежского госуниверситета. Доктор филологических наук.

Автор ряда романов. Финалист VIII Международного мультимедийного фестиваля «Живое слово», победитель VI международного конкурса «Литературная Вена». Член Союза российских писателей и Норвежского союза писателей.

С 2001 года живет в Норвегии.

ДОНСКОЕ

Повесть

Было еще темно, лишь в верхнем углу окна, где топорщилась с оторванной петлей тюлевая занавеска, проступало что-то неуютно-зябкое, пока еще вялое, готовое сгнуться обратно в ночь. И хотя кричали уже петухи, глуховато пока и несмело, час был такой ранний, что не имело ни малейшего смысла тревожиться о неизвестностях рождающегося дня, тем более что и знать наверняка было невозможно, день это или все еще ночь.

Подтянув к подбородку сброшенное в духоте ватное одеяло, Валька подумал было снова заснуть, ведь под утро часто снятся сладкие, как запах белого донника, сны. И сон, который он только что видел, еще имел власть над его неохотно разгоняющейся мыслью, и хотелось поэтому вернуться в только что отзвучавшее, ставшее уже воспоминанием иное, гораздо более захватывающее бытие, да просто провалиться в распростершуюся над самой головой бездну... Валька видел во сне лошадей, коренастых и низкорослых, они бежали, обгоняя друг друга, по берегу моря, отдавая ветру великолепии рыжих и белых грив, и море гнало на бурый, источник непогоды камень холодные, всклокоченные пеной волны. Они казались, эти беспризорные лошади, совсем дикими, их бока охлестывало прибоем, а они бежали и бежали, словно где-то там, среди камней и снега, пряталось улизнувшее от времени лето. Наверняка им было известно, в чем его, лета, приметы, и не было никакого смысла беречь горячее дыхание обдуваемых ледяным ветром тел... «Откуда пришел я?..» – подумал вдруг Валька и тут же сдался собственной немощи: мысли стояли на месте, как старый чугунный утюг, пылящийся под кроватью десятый уже год. И Валька ощутил всем своим

шуплым, нескладным, долговязым десятилетним телом смутную, не определяемую словами тоску, и сон мгновенно забрал его в свои неведомые объятия.

Он проснулся оттого, что собака прыгнула ему на живот: придавила теплым комом к постели, устроившись с удобствами и надолго. Валька пока не ворочается, не выбирается из плена, только шумно вздыхает под тяжестью, теребя левой рукой мохнатое собачье ухо. Другие, а это в основном взрослые, не принимают спаниеля всерьез, а сторожащему свинарник Брюсу не раз удавалось мимоходом обрызгать его, от клочковатого хвоста до вислых коричневых ушей, что было, ввиду небольших размеров спаниеля, не слишком большим для него унижением. «Вот сейчас встану...» – заставляет себя подумать Валька и слышит, как в комнату входит мать. Он всегда переживает этот миг с особой, непонятной ему самому радостью, да и не нужно ведь в десять лет все понимать, надо держать что-то в запасе, на будущее, чтобы однажды обнаружить, что плод наконец созрел. Правда, учительница в школе ничего на будущее не оставляет, ей надо прямо сейчас всё понимать, и Валька не рад поэтому ни серому кирпичному зданию с пахнущими туалетами коридорами, ни даже большой, с бутербродами и яблочным компотом, перемене. Должно быть, назло учительнице и полагается раз в году лето, и это настраивает Вальку на глубокую веру в справедливость мироустройства. Хорошо быть коровой, ласточкой или пчелой, быть заодно с перистыми, к дождю, облачками и оранжевым пеклом заката, да просто быть... Внезапно вскочив, спаниель предупредительно зарычал и, стоя у Вальки на животе, оскалил кривые, как согнутые гвозди, клыки: Валька был его безраздельной собственностью, так же как и все остальное в этой тесной, с видом на сарай, комнатушке.

– Да я ж на тебя как плюну, так и сдохнешь! – как обычно, отчитывает мать длинноухого сторожа, и Валька нехотя встает, нехотя тащится к умывальнику, и только доносящийся из кухни запах кофе и возвращает наконец его мысли в круг привычных, которые перестаешь даже замечать, вещей: домашний беспорядок, вонь из свинарника, треск проехавшего мимо дома мотоцикла. – Ишь хозяин мне нашелся!

Склонив набок ушастую голову, Бенья некоторое время смотрит на решительную в движениях, крепко сложенную женщину, словно примеряясь к ее сомнениям в его собачьей сторожевой роли, и начинает осторожно, как бы выспрашивая, направо и налево тявкать, вроде того, что «убедительно прошу» и так далее, при этом тараща на Вальку круглые, черные, как переспелые вишни, глаза. Один только Валька его и понимает да еще, может, приходящая раз в год соседская Мошка, с которой у Бени двенадцать, не считая двух утолщенных, щенков.

К кофе полагается всегда что-нибудь от бабушки: пирожки с капустой или печенкой, оладьи, а то и шоколадный кекс с курагой и изюмом. «Когда-нибудь, – часто думает за завтраком Валька, – я непременно к бабушке переселюсь, надоело мне тут...» Рассеянно уставясь на истертый узор клеенки, он плывет в своих мыслях далеко-далеко, дальше чего и места на земле не бывает, как будто там кто-то давно его заждался и очень по нему соскучился. Он втайне придумывает разные про себя истории, и хорошо, что об этом не знает учительница: тут он сам по себе, а это значит, ни с кем. Правда, порой он задумывается, не взять ли с собой бабушку, Бенью, мать, но в конце концов выходит так, что одному быть все-таки лучше, и на этом Валькины грезы обрываются. «Откуда я, в самом деле, пришел?..» – снова думает он и

вспоминает, как жил с матерью в деревянном садовом домике на шести с половиной сотках. Мать так решила, забрав его из прокуренной сталинки и оставив ни с чем пропахшего пивом и стойким дешевым одеколоном «отца», который, будучи и в самом деле Валькиным отцом, взял за их самовольный уход по минимуму: одну-единственную свадебную фотографию, на которой он тащит по понтонному через речку мостику мотающую обеими ногами Валькину маму. Эта фотография всегда приводит Вальку в недоумение: зачем было, если впереди маячил уже развод, затевать всю эту свадебную показуху. На шести с половиной сотках, купленных на собранные со всей семьи ваучеры, стоял покосившийся сортирчик, а рядом рос абрикос, по словам мамы, ровесник самого Вальки, и много других приятных вещей располагало к осмысленному во всех отношениях времяпровождению: накопать ранней весной топинамбуров, собрать в июне клубнику, выдрать в сентябре морковку. К тому же на участок переселился из города престарелый, с седеющей мордой, скотч, которого мама подобрала у себя на работе: собаку оставили «ждать» возле скорой помощи, и так проходили месяцы. Этот скотч первый и обнаружил на шести с половиной сотках присутствие хозяина: узнал в садовом электрике того, с кем запросто можно делить миску, матрас и свободное от посторонних пространство. Вальке этот электрик тоже понравился, и он с ходу предложил ему, без всяких обязательств возврата, свое сокровище: посаженного в банку сверчка. Если бы тогда электрик не принял этот подарок, ничего бы у него с мамой не получилось. Но он взял сверчка с той серьезностью, за которой не могло быть уже никаких сомнений: это и есть отец.

Шесть с половиной соток оказались вскоре тесны для пары свиной, трех козочек, дюжины кур и еще дюжины уток, не говоря уже про скотча и трех приبلудных, вечно беременных кошек. И Валька был вполне согласен с электриком-отцом, когда тот сообщил многоголовому семейству, что пора возвращаться... в деревню. От скорой помощи это было далековато, зато близко до речки, да и название деревни было приятным: Донское. Было ли это на самом деле возвращением или только бегством, Валька даже и теперь не знает: просто хотелось воздуха и простора. Странно ведь, что многим этого не хочется. Многие... тут Валька представляет себе новый аквариум-супермаркет, где ему купили к сентябрю белую рубашку с черным галстучком и черный, как у приличного менеджера, пиджачок... многие даже и не замечают вокруг себя никакого воздуха. Он видит, как люди считают деньги, напряженно, сосредоточенно, умело, и это является, скорее всего, их главным в жизни занятием, тогда как все остальное можно было бы проделать и во сне. Валька не представляет себе, что станет с ним самим, когда ему стукнет, к примеру, тридцать, да он и не слишком надеется дожить до такого почтенного возраста, видя себя самого максимум шестнадцатилетним. Зачем люди вообще живут? Корова Белка, к примеру, дает по восемнадцать литров молока в день и за свои пятнадцать коровьих лет принесла хозяйке шесть телочек и трех бычков. Корове есть чем в жизни заняться, хотя ей и не понять, почему Витьке, сыну хозяйки, нравится лежать часами без сознания поперек дороги, мордой в пыльную лебеду; потом, правда, сознание к нему обратно приходит, иначе он не сгреб бы вырученную за проданное молоко мелочь, а молоко он, кстати, не пьет. «Зараза какой, – говорит про него мать, – уж лучше бы женился...»

Как-то, проскочив на велосипеде мимо привалившегося к забору Витьки, Валька затормозил и осторожно огляделся: на траве валялась

всамделишная голубенькая тысяча. Он никогда раньше не держал в руках таких больших денег и был почти уверен в том, что обожжет себе пальцы, стоит ему только коснуться перегнутой пополам бумажки. Но эта трусость тут же уступила неизвестно откуда взявшейся победоносной жадности: «Моё!» Валька тут же и схватил бы тысячу и погнал бы на велосипеде дальше, если бы не внезапно застигший его придиричивый, из-под опухших век, Витькин взгляд. «Бери, сволочь, – с явным усилием пробормотал Витька, будучи не в силах шевельнуть рукой или ногой, – бери, а то убью!» За забором нехотя тьякала от жары дворняжка, сонно мычала, в ожидании дневного пойла, корова, но Валька слышал только стук своего сердца, аварийно перегоняющего избыток стыда к похолодевшим босым ступням. «Я не хочу, не хочу...» – прикусив губу, слышал он где-то внутри, несясь на велосипеде к дому, и только за калиткой, с разбегу натолкнувшись на неповоротливого Брюса, понял, что, слава богу, пронесло. А ведь завтра надо ехать на велосипеде за молоком... как ему теперь встречаться с Витькой? Надо поскорее что-то сделать, что-то хорошее...

Едва проглотив, под подозрительным взглядом матери, несколько ложек овсянки, Валька шмыгает за дверь, споткнувшись на ходу о ведро, и, потирая колено, бежит на птичий двор. Стоит жаркий июльский полдень, и вся, какая есть в клетках и на воле птица, изнемогает, с широко раскрытыми клювами, от полной неопределенности своей судьбы: то ли дадут воды, то ли не дадут. Рядом надувной круглый бассейн, с перегретым месивом подсолнечной шелухи, незрелых яблок и подернутой ряской застоялой воды, но куры, хотя и взлетают порой на крышу дома, все же ни разу не рискнули искупаться, учитывая то, что в бассейн несколько раз прыгал Брюс. Мнение кур полностью разделяют гусиные и утиные семейства, расположившиеся в тени от смородинового куста, а также несколько перепелов, неутомимо отыскивающих лазейки между заржавелыми прутьями клетки. «Куры», – думает о них Валька, вкладывая в это обобщение что-то вроде затаенной жалости: нет им в жизни никакой свободы. Он часто думает, наваливая в оцинкованное корыто распаренную нелущеную гречку и просо, откуда оно, это слово «свобода», взялось, и сдается ему, что ниоткуда, поскольку нет у него никакой возможности произрасти, как все остальные слова, из сора и грязи. Зажмурившись, Валька пытается поймать это капризное, привередливое слово «свобода» за хвост, как ловят сбжавшую овцу, но всякий раз оказывается, что ни хвоста, ни перьев, ни даже клочка какой-нибудь одежки свободы не полагается. Остается одно: самому стать ею, выпорхнув, как ласточка из-под черепицы, из своей, пока еще не очень твердой, черепушки. «Голова пусть остается, – примирительно думает Валька, – а сам я поеду к морю...» Гуси могли бы, если бы захотели, нагнать по осени свою серую перелетную родню, кричащую вразнобой над бурями от дождей полями, но жира на груди и под хвостом накапливается слишком много: сколько не разбегайся, сколько не маши отяжелевшими крыльями, взлетишь, самое большее, на обсаженный мальвами забор. Потом придет зима, хозяйка наварит гусиных шей, набьет гусиной печенкой зашитые ниткой шеи. «Я бы на их месте все-таки улетел...» – сочувственно думает Валька, черпая из бассейна застоявшуюся воду эмалированным тазом. Поставив таз на землю, он едва успеваает отойти за куст смородины: со всех сторон к воде рвутся, обгоняя друг друга, пуская в ход клювы и крылья, гуси и утки, и первыми брякаются в таз, выплеснув почти половину воды,

два подросших, драчливых уже гусака. Места в тазу хватает как раз на двоих, и остальные, сразу угомонившись, вежливо ждут, когда первые накупаются, и время водной процедуры точно отмерено, после чего первых бесцеремонно выталкивают из таза следующие двое... и Валька только подливает им воды. В конце концов он просто выплескивает воду из ведра «на кого попадет», и все, за исключением двух сидящих в тазу, в панике разбегаются.

Сев на пень от старой яблони, Валька прикидывает, что до сентября еще вон сколько времени, что лету быть еще и быть, и что надо поэтому, пока самому ему не стукнуло одиннадцать, успеть побыть десятилетним... Валька уверен в том, что каждый год дается ему неспроста и помечен поэтому своей цифрой, иначе возникла бы невероятная путаница, со свинской неразборчивостью пожирающая старость и детство: из всех интересов угнезвился бы в голове только один, денежный. Валька заметил это, как только обзавелся, как и все нормальные люди, своим телефоном: он опускает себе в ухо монетки, простые рубли и юбилейные десятки, и в голове от этого раскручивается песня о будущем, настойчивая, приставучая, заунывная. Как будто ничего и не надо уже от жизни ждать, все тут, на заранее занятых местах, и язык только лениво приспосабливается к застревающему в ушах и гортани мусору: ваучеры, менеджеры, браузеры... Приставучие, липкие слова! Ими метят кто собаку, кто лошадь, и животным ничего другого не остается, как на эту похабень откликаться. Вот ведь и у спаниеля Бени маму зовут Сотовая связь, а папу – Минздрав предупреждает. У этих Сотки и Миньки очень строгий хозяин: дальше прихожей ни шагу, жрать только сухие собачьи «бублики». Бывает, Сотка подсматривает из-за двери хозяйский телевизор, вытянув тонкую, оплешивевшую от грубого ошейника шею, и тогда хозяин убирает миску с «бубликами». У хозяина, Борис Борисыча Бессмертного, полный в жизни порядок: квартира от союза писателей, дача в Донском, досрочная персональная пенсия плюс компенсация за какого-то дальнего погибшего родственника плюс регулярно поступающие гонорары от книг, плюс... короче, одни только плюсы. Не будь этих плюсов, он давно бы, как полагает Валька, сгнил в затянутах вонючей ряской болоте, куда он загоняет собак, чтобы те таскали из камышей сбитых выстрелами уток. Родившись, как назло, спаниелями, Сотка с Минькой многому в своей проклятой собачьей жизни научились, и Валька подозревает, что в этом состоит тайный план собачьего среди людей пребывания: испытать как можно больше от людей зла, чтобы выработать иммунитет. Кстати, откуда зло вообще берется? Учительница в школе делит мир надвое: сверху добро, внизу зло, и от этих «верха» и «низа» несет аж на расстоянии обыкновенным учительским враньем. Она-то сама вроде и ни при чем, учиха, вроде бы без нее зло с добром разбирается и никак разобратся не может. «Будь добр!» – кричит она в ухо ученику. А тот, *назло*, никак не добреет. И все потому, что с *ним* никто не считается, то есть его за *человека* и не считают: так, что-то вроде методического тренажера. Посаженный в клетку схемы, запертый не им самим придуманными правилами *одурачивания*, ученик обречен *верить* учителю, навсегда отказавшись от себя самого. Может, это и есть зло?

Пора уже кормить свиней, они нетерпеливо похрюкивают за загородкой, и Брюс, не открывая в дремоте глаз, то и дело отвечает им предупредительно урчащим басом. Едят они жадно и много, и всегда одну и ту же дрянь, наполовину комбикорм, наполовину помои, отчего

их собственное мясо становится невкусным и жестким. Но семейная экономика, состоящая из зарплаты медсестры, электрика и наполовину растаявшего уже «материнского капитала», ни о какой другой свинине знать не желает, и свиньи поэтому могут сколько угодно мочиться в корыто с комбикормом, тем более что в свиномнике всегда стоит крошечная тьма. Бывает, на этих неаппетитных харчах вырастает настоящее чудовище: трехметровое, пятисоткилограммовое, кусачее. Даже Брюс, помесь кавказца со среднерусской овчаркой, будучи самым крупным в деревне кобелем, не рискует ворчать на хряка, и только когда того наконец кастрируют и Брюсу это становится известно первому, он победоносно, будто сам оторвал хряку яйца, задирает заднюю лапу на пороге свиномника.

Кастрировать борова зовут обычно Борис Борисыча: будучи страстным охотником, он проделывает операцию бесстрашно и ловко, а главное, с искренней радостью, если не сказать с любовью. Его же и зовут потом этого борова пристрелить. И когда грохает выстрел, до смерти пугая кур и прорезая свиные мозги последней догадкой о смысле короткой и сытой жизни, Брюс панически взывает и, прыгнув на крышу конуры, ищет спасения на Луне, где теснятся в стае его шакальи и волчьи предки. И это несмотря на то, что ему достаются сваренные вместе с пшенкой свиные кишки, желудок и печенка, часть которых Брюс тут же зарывает возле сарая на случай голодной зимы. Алкаши уже не раз бросали ему отраву, позарившись на визжащих в свиномнике поросят, но Брюс даже не смотрит на колбасу, даже не нюхает жареную куриную ножку. Другое дело, когда во двор заглядывает Витькина мать, Евдокия Андреевна, привозя на велосипеде молоко: от нее пахнет сметаной и творогом, и ей не жалко налить кобелю полную миску.

Она прикатила и на этот раз с висящими по обе стороны руля трехлитровыми банками и кастрюлей творога на багажнике, немолодая, но все еще проворная, и прямо от калитки сообщает новость:

– Борька-то, слышали, едет в Америку!

Эту новость мгновенно разносят по курятнику пестренькие несущки, подхватывают на ура молодые петушки, и старая жирная утка, крякнув на гогочущих гусей, заключает о скорой перемене погоды... один только Брюс пока молчит, разомлев на самом солнцепеке.

Борис Борисыч Бессмертный никакой тут, в Донском, не деревенщина: у него *хватает ума*. Дачу он купил почти задарма у местного алкаша, когда тому было уже все равно, быть или не быть, и ничего себе хатка, вместительная, с гаражом, сарайчиком и бревенчатой банькой. Здесь он пишет, посматривая в окно через прокуренные занавески, свои поэмы, и учительница литературы выбрала уже пару его стишков для заучивания наизусть, и уже ставит за это двойки: «Ворона на заборе, мужик на косогоре...» Стишки хорошо ложатся на матерные частушки, и их поэтому учить приятно. Последнее время, правда, Борисыч занят мемуарами: жизнь пошла на шестой десяток, пора закруглить острые углы, а тупые, наоборот, заострить. Он пишет... да, о чем это он пишет? Пишет, например, о смысле истории, употребляя крепкие, как сам он говорит, евангелические выражения. С этой евангелической точки зрения он выносит врагам смертные приговоры, жарит их в кипящем масле, подвешивает вверх тормашками на березе, но главное – всегда остается бдительным. В нагрудном кармане у него доллары, на шее – крест, что в целом отвечает духу времени и нисколько не противоречит будущему, состоящему из нефти и ладана, ладана и нефти... Будущее!

Это не просто ловушка для простаков, это – боевая готовность к нескончаемому самоограблению. Главное при этом – верить. Верить в то, что вовсе не обязательно что-то по существу дела *знать*. Вон чего уже понатворили вслепую, не зная ни шиша! И чего еще понатворят! Поэт пьет вместе со всеми, делаясь от этого народным, и народ долго потом помнит: этот, проведя ночь со спиртным, выбросился наутро из окна. А то и просто объелся мухоморов, согласно новейшему *культу*. От куклы несет нестиранными носками и сивушной отрыжкой, но ничего не поделаешь: талант. И если талант этот изначально свинский, почему же не воспеть свинство как приметку интеллигентности?

Хорошо, что по соседству живет электрик, иначе Борисычу пришлось бы довольствоваться давно уже надоевшим ему и давно уже выдохшимся домашним своим врагом: занудной, как песнь о всечеловеческой любви, женой. Он мается с нею уже тридцатый год и все никак не убедит эту общипанную со всех боков метлу в том, что мнение ее в сравнении с его, поэта, мнением ничего не значит. Она ходит на работу в банк, приносит премии, снимает густую пену со срочных вкладов, а в свободное время выискивает мало понятные другим инвективные выражения: сочинитель-крысолов, капустный могильщик, расхлебатель помоев и просто жопа. Откуда она все это берет, остается вот уже тридцать лет для Борисыча тайной, ходила бы себе просто в банк. Другое дело – электрик, тот в основном слушает. И хотя профессия у него скромная, а образования никакого, все же есть в нем какой-то ум... не идущий, конечно, ни в какое сравнение с интеллигентностью Бориса Бессмертного. А судит-то, бывает, как! Будто это он, а не член союза писателей, начитался всяких книг и журналов, да еще в придачу урвал что-то у самых трудных философов, с которыми лучше вообще и не знаться! И если бы так, начитался, а то ведь все *от себя*, от простых крестьянских соображений, от которых несет прелой соломой и навозом. Бывает, электрик сболтнет невзначай такое... ну прямо такое... и надо поскорее это записать, чтобы потом вставить в строку. И хотя строка делается от этого перекошенной набок и никак не желает рифмоваться с соседней, Борисыч упорно над нею работает, строгают ее и пилит и посыпает стружкой, пока наконец не выходит что-то вполне нормальное... да, нормальное! И уж тогда можно презрительно на сказанное электриком плюнуть.

Но вдохновение, то самое, поэтическое! То, ради чего рвутся у человека жилы и вздымается дыбом кровь, откупориваются старые раны и хрустят кости. Оно, святое вдохновение поэта, любит спиртную похоть и задранные, под шубами, подолы, любит к тому же суровой мужской разговор о деньгах, и хотя само оно не имеет пола, кричит в основном о любви: «Любви-и-и-и... любви-и-и-и...» Бывает, идешь спозаранку на охоту: заросшее камышами болото, плоскодонка, голодные с утра собаки, ружье. В крови огонь от принятой к завтраку водки, в мыслях... ах, что же такое теперь в мыслях... да, гордость предпринятым с утра делом. И речь, конечно, не об утках, всегда воняющих тиной, но о выстреле, властно отбирающем у жизни ее претензии на абсолют: абсолютна одна только смерть, и ты втайне ее-то, смерть, и любишь! Любишь больше жизни. Смертельная ненависть, смертельная влюбленность, а также смертельная скука – вот три опоры, три целых пока еще ноги, на которых опасно покачивается стул поэта. Четвертую ногу то ли давно уже отпилили, то ли она еще не отросла... да это же *самопознание*! Как это, между нами, поэтами, говоря, непоэтично!

Писать надо не иначе, как *кровью*, надо кричать, срывая голос, а главное, почаще *божиться*. Надо убеждать верующих в том, что не зря они так верят: впереди только смерть.

Поставив на порог трехлитровую банку с молоком, Евдокия Андреевна проходит, разувшись, на кухню, садится на обитый клеенкой стул, считает затертые рубли. Валька сбегал уже за дом, нарвал на пустыре лебеды, положил мешок на багажник велосипеда, на что женщина только вздыхает и, не глядя ни на кого, тихо замечает:

– Резать Белочку будем, – и тут же деловито добавляет: – только бы Борисыча обратно из Америки дождаться, он-то разом пристрелит...

– Да, может, он туда и не поедет, – предполагает Валькина мать, озадаченная тем, что скоро уже кастрировать хряка, а будет некому, – одна болтовня только, кому он там нужен.

– Никому, – соглашается Евдокия Андреевна.

Один только Валька и зажигается этой сумасбродной мыслью: поехать в Америку своим ходом, сначала вниз по течению Дона, потом через Азовское в Черное море, потом в Турцию и дальше, через Средиземное море, в Испанию, а потом уж рвануть напрямик через Атлантику, и все это на одолженной у Борисыча плоскодонке. Решив пока об этом молчать, а то еще помешают, он осторожно спрашивает, нельзя ли Белочку пока не резать. Он видел не раз, с каким трудом она поднимается на ноги, опираясь на ревматические колени. В стадо ее больше не гоняют, но к быку в прошлом году она так даже побежала, словно чуя, что это в последний раз. И то, что она по-прежнему дает восемнадцать литров молока в день, таская огромное вымя на обтянутом желтоватой шкурой скелете, кажется Вальке истинным чудом природы, и он ничего так не желает, как раздобыть для Белочки лошадиный бальзам, который, как сказали по телевизору, ставит хромых иноходцев на ноги. Бальзам этот продается в литровых бутылках и стоит жуть сколько... около тысячи, а у Вальки в копилке пока только сто пятьдесят рублей.

– Ничем ей уже не помочь, – вздыхает Евдокия Андреевна, – придется резать.

Валька знает о смерти лишь понаслышке, и когда кого-то в деревне хоронят, не любопытствует, как другие, не ходит в дом, где горят возле икон тонкие свечи и пахнет сосновыми досками; он идет обычно к Дону, сидит один на берегу и смотрит на воду, а если зима, тащится на лыжах по полю сам не зная, куда. Смерть не кажется ему чем-то страшным, и он догадывается, что есть между нею и всяким рождением что-то вроде договора: не родишься, значит, и не умрешь, а если не умрешь, так потом и не родишься. Что с людьми, что с коровами... хотя людям приходится, по мнению Вальки, гораздо труднее: каждый отвечает за себя, но не мычит вместе с остальными в стаде. «Есть, – думает Валька, – одна Большая Корова, состоящая из всех, какие есть в мире, коров, и если Белочку зарежут, душа ее, как была, так и будет, душой Большой Коровы, и все пойдет по-прежнему: телята, молоко, ревматические коленки...» Учительница сказала как-то, что тупицы непременно родятся когда-нибудь ослами, а лентяи – свиньями, но Валька твердо уверен в том, что никем, кроме как человеком, ему не быть. «Ишь какой гордый», – сказала тогда про него учительница, как будто даже обидевшись. Да, люди, как правило, обижаются, если видят, что кто-то может без их мнения и подсказки обойтись. Люди смотрят по сторонам, рыщут, принохиваются, выпытывают и высчитывают, и стоит кому-то отвлечься и обнаружить, что сам-то он, оказывается... есть, все тут же

набрасываются на него: как это понимать, что ты *есть*? Когда Валька перешел из городской школы во второй деревенский класс, его тут же, на первой же перемене, проверили на вшивость: растащили, кто куда, все его тетради, зашвырнули на шкаф портфель, сунули за шиворот живую лягушку. Молча, исподлобья наблюдая за каждым в отдельности, он собрал разбросанные тетради, посадил в портфель перепуганную лягушку, чтобы потом выпустить ее на луг, но тут кто-то шлепнул его по голове учебником, и Валька с размаху дал ему в нос, хотя раньше никого не бил, и два красных «паровозика», быстро побежавшие по воротничку чистой рубашки, убедили явившуюся на шум учительницу в том, что Валька если и не «отъявленный», то что-то вроде того. «Безотцовый», – раз и навсегда заключила она.

Выкатив на велосипеде за околицу, где пасутся среди синеголовников и шалфея бодливые бородатые козы, Валька гонит по тропинке прямо к реке, мимо разбросанных по лугу диких яблонь, мимо подсолнухового поля с уже наклоняющимися желтыми головками, и только увидев впереди стадо, тормозит и слезает, ведя велосипед навстречу безразлично глазающим на него коровам. Толстая загорелая баба в белом фартуке доит одну из них, ловко дергая сильными, хваткими пальцами набухшие соски, и молоко брызжет струями в стоящий на земле подойник, а рядом стоит в очереди другая корова, а за ней еще... Громко, чтобы услышал и пастух, поздоровавшись, Валька съезжает на велосипеде с заросшего общипанной лебедой откоса и тормозит у самой воды, еще взмутненной недавним водопоем. Коровы заходят тут в воду по колено и пьют, пьют... а потом протяжно мычат, зовя хозяек, а то и просто от избытка своих коровьих чувств. И когда приставленный к ним пастух, высокий, молчаливый дед с самокруткой, гаркает на них матом, коровы не спешат выходить на берег, зная, что дед гаркнет еще много раз, прежде чем пора будет подниматься по откосу на луг. Бросив на взрыхленный песок майку, штаны и сандалии, Валька с разбегу окунается, ныряет на мелководье, ткнувшись лбом в песок, машет над водой тонкими, неокрепшими еще руками, напрасно пересиливая течение. В этом месте Дон широкий и на вид спокойный, если не сказать, «тихий», и только на самой середине, куда порой залетает сорванный ветром тополиный лист, заметно, как бурлит и стремительно бежит вода, порой всплескиваемая играющей на солнце рыбой. «Туда бы, – думает Валька, – заплыть и нестись, как на быстроходной лодке, на юг...» Он снова ныряет, и голова натывается на что-то твердо стоящее на месте, и чьи-то руки хватают его за ягодицы, стаскивают растянувшиеся в воде трусы. На этом коровьем пляже редко кто купается, да и место бывает почти всегда занято разлегшимися на траве и на песке коровами. И Валька думает, что это, должно быть, пастух, крепкий еще старик, полз следом за ним в воду, чтобы потом еще яростнее материть никуда не спешащих коров. Обернувшись через плечо, он видит, однако, сына молочницы, Витьку, который, все еще держа его за трусы, самоуверенно и нахально ухмыляется.

– Будешь меня любить, – дыша на Вальку самогоном, шепелявит он, громко икнув, – как девочка?

– Но я не девочка, – еще не понимая, в чем дело, огрызается Валька, замолотив по воде руками. Но Витька крепко держит его за оттянутый край трусов.

– А если дам тысячу? Вон там, в кустах, идем...

Глянув на берег, нет ли поблизости пастуха, Валька рванулся в воде, отпихивая ногой налетчика, и, чудо!.. у того остаются в руке только

сташенные трусы. Теперь остается лишь плыть, хоть как-нибудь, хоть по-собачьи, плыть на середину реки.

Течение тут же подхватывает его и несет, как щепку, в своих играющих друг с другом водоворотах. Только наполненность и без того легкого тела воздухом и держит Вальку на поверхности, и вся его воля расходуется теперь на то, чтобы не слишком разевать при вздохе рот, и он переворачивается с боку на бок, всю работу под водой ногами. Его видит с берега рыбак, но так и остается сидеть с удочкой, только провожает Вальку глазами, как будто прощаясь с ним, да так оно, скорее всего, и есть. Ноги сводит уже судорогой, в рот все чаще и чаще захлестывает вода... Внезапно над самой головой Вальки раздается тонкий девчачий визг, и его едва не топит мощный толчок в плечо и в бок, и, ни на что уже больше не надеясь, он задирает, как может, голову и видит рядом с собой рыжую лошадиную морду.

– Хватайся, твою-то, зараза, мать, – вопит, сидя верхом, девчонка, – а то утопнешь совсем!

Валька вцепляется, сколько еще остается сил, в ремень уздечки, повисает, как ком водорослей, на поводьях, и лошадь, негодуяще фыркая, тащит его за собой к берегу. Уфффф!

Дрожа от холода, с посиневшими ногтями и все еще сведенными судорогой ступнями, Валька тупо смотрит на вытопанную коровами кашку, и девчонка, пристально его разглядывая, не стесняясь, хихикает: без трусов! В конце концов, видя безнадежность его слабых попыток согреться, она швыряет в него махровым полотенцем.

Она на три года старше, эта Наташка, и в прошлом году на школьных переменах Валька не замечал у нее таких толстых, доходящих почти до талии кос. Ее мокрые волосы отливают на солнце таким же рыжим, как и у лошади, глянец, и Валька думает, понемногу согреваясь под махровым полотенцем, что лошадиные грива и хвост уступили бы распущенным по плечам косам, и эта вернувшаяся к нему наблюдательность вмиг согревает его. «Пожалуй, я женюсь на Наташке», – внезапно решает он и деловито спрашивает:

– Это от речной, что ли, воды у тебя такие густые патлы?

Наташка как будто только того и ждала и принимается длинно рассказывать, как ходила с родителями в конский магазин, а там... чего только нет! Тогда, год назад, ей даже и не мечталось о таких косах, с ее-то жиденькими волосенками, но то, что делается для лошадей, – бальзамы, шампуни и кремы – делается, не как для людей, из дерьма, но только из всего самого лучшего, ведь лошадь не терпит, в отличие от человека, подделок, и Наташка выпросила себе *шампунь для гривы*.

– В следующий раз, – одобрительно вставляет Валька, – купи мне лошадиный бальзам, от ревматизма...

– Тебе? – изумленно уставясь на него зелеными, как тина, глазами, – пищит, хихикнув, Наташка. Таким бальзамом она натирает своей лошади колени на задних ногах, и ей очень нравится запах сена и душицы, да и лошадь совсем не против.

– Белочке, – снова задрожав от озноба, поясняет Валька, – ее зарежут, если она не будет вставать, как все коровы, на ноги, хотя и дает каждый день по восемнадцать литров молока...

– Это неправильно, – решительно перебивает его Наташка, – требовать от коровы так много, она же не рекордсменка какая-нибудь, а тем более не молочная машина, оттого и колени у нее большие, из них уходит в молоко... – тут Наташка задумывается, – ...как его, кальций, вот!

Она на три класса старше, и Валька поэтому с ней не спорит. Ему охота теперь, сидя на траве под махровым наташкиным полотенцем, загадать какое-нибудь очень большое и важное желание, так, чтобы впереди, где пока одна сплошная неизвестность, звенел, указывая дорогу, медный солнечный колокольчик, какие вешают на шею коровам, овцам и козам. Но сколько он ни придумывает, все не то, все одни только мелкие, как рыбешка на мелководье, мыслишки, тут же испаряющиеся под пристальным взглядом... да что это, в самом деле, за взгляд? Как будто Валька смотрит внутрь самого себя, а там – такая неразбериха, такая путаница, что даже имени своего не обнаружишь. «Это потому, что мне всего только десять, – заключает не без сожаления Валька, – вот стукнет мне, к примеру, шестнадцать...» Эти шесть лет, которые ему только предстоит прожить, и еще неизвестно, как, маячат перед ним одной сплошной пеленой тумана, в котором лишь изредка мерцают, тут же угасая, неизвестные пока Вальке чувства: самоуверенность, ненависть, гнев... Среди них есть одно, от которого Валька хотел бы отделаться уже сейчас, немедленно, чувство самодовольной лени, зазывающее с утра на продавленный диван, к давно уже потерявшему всякое разумение телевизору, к пропахшим кошачьей мочой и вчерашним супом стоптанным тапкам и заношенному байковому халату. Учительница в школе говорит, что быть русским и не быть при этом Обломовым совершенно невозможно и что не надо поэтому слишком суетиться и пить спозаранку крепкий кофе, все равно не дозовешься до хорошей жизни. Она не поясняет, хоть и учительница, почему хорошее всегда держится от людей на отдалении, неизменно следуя правилу «хорошо там, где нас нет». Стало быть, и Вальке ничего другого не остается, как быть подальше от самого себя?

Обязавшись полотенцем, он бежит обратно на коровий пляж, где остался его велосипед, обдумывая на ходу, что он скажет Витьке, если тот снова к нему полезет. По обе стороны тропинки стоят, ошетилившиеся колючками, двухметровые татарники, отдавая полуденной жаре горьковато-медовый запах недоступных руке лиловых цветов, и Валька думает, не пересадить ли такое чудовище к бабушке в сад, где и без того тесно от разросшихся диких мальв, зверобоя и щавеля, и мысль о бабушке окончательно согревает его, так что и полотенце теперь уже не нужно, и его босые ноги не чувствуют набегу ни колкости высыхающей пыли, ни глубоких от коровьих копыт, вмятин. Добежав до песчаного спуска к реке, он внезапно наталкивается, как того и опасался, на Витьку.

Тот едет навстречу на оставленном Валькой велосипеде и явно не желает с кем-то на дороге встречаться. «Пропьет, – думает Валька, еще не зная, что делать, – а велосипед-то крепкий, почти новый...» И пока он, замедля шаг, смотрит на приближающегося Витьку, что-то внутри него оказывается приведенным в действие, словно внезапно освобожденная пружина, и он на ходу хватается за руль велосипеда, как до этого ухватился за поводья спасшей его лошади, и велосипед вместе с Витькой опрокидывается на землю, сбив с ног и самого Вальку. Полотенце валяется на земле, и Валька, в чем есть, тянет велосипед на себя, закидывает на седло ногу, жмет с силой на педаль... но Витька хватается рукой заднее колесо и негромко, но внятно, предупреждает:

– Расскажешь кому-нибудь, убью.

Нисколько не сомневаясь, что так оно наверняка и будет, Валька жмет на педали, едва не отдавив Витьке руку, и бросает на ходу, не оборачиваясь:

– Отцу расскажу!

Он знает, что другие не считают электрика его отцом, но это их, других, дело. Другим, может, и неизвестно иное, кроме как по крови, родство. К примеру, Витька, он одной крови со своей матерью, Евдокией Андреевной, но что между ними общего? Он даже и молока-то не пьет. И вообще... тут Валька задумывается, хмуро, напряженно, поскольку мысли не желают просто так нанизываться на привычные о жизни представления... что может быть общего между двумя людьми, разделенными между собой своими телами и имеющимся у каждого организмом, с исключительно *своим* дыханием и кровообращением? Вот бы спросить об этом учительницу. Но она не отвечает на не относящиеся к уроку вопросы. И надо поэтому доискиваться самому: что, собственно, *роднит* людей?

Весь вечер за забором у Витьки воет посаженный на цепь кобель, и это наводит соседей на подозрение, что впереди либо запой, либо кобеля тайком, с камнем на шее, утопят. Склоняясь ко второму, никто не суется за забор с советами, едва вынося повисающие на тонком золотистом месяце собачьи жалобы на несправедливую судьбу. Да и какая она, у собаки, судьба, одно только подчинение да подхалимство, да оплачиваемая страхом побоев служба. Электрику тоже надоело все это слушать, и, прихватив, к большому удовлетворению соседей, тяжелую мастеровку, он вламывается, плечистый и коренастый, к Витьке во двор. «Пришибет пса», – не сомневаются уже больше соседи, и никому из них не жаль коротконового, большеголового кабысдоха.

Зажав мастеровку в правой руке, так что побелели суставы пальцев, электрик идет прямо к Витьке, сидящему на веранде за столом, с недопитой бутылкой самогона и полной окурков пепельницей. Витька, будучи уже наполовину «там», все же соображает, что сосед явился по его душу, и, как может, готовится отбиваться от кражи велосипеда и теперь уже уплывших по течению Валькиных трусов. Электрика в деревне уважительно побаиваются, после того, как он, раздобыв где-то настоящую, а не китайскую, бензопилу, пообещал снести башку любому, кто обидит хотя бы одну его курицу. Соседи видят, как ловко он орудует этой рычащей, как черт, пилой, наводя порядок у себя в саду, и никто не решается попросить пилу в займы или хотя бы выспросить, где он такую достал. Хоть и приезжий, и притом неизвестно откуда, электрик крепко в деревне прижился, будучи по природе своей хозяином и не терпя ни от кого никаких глупых указаний. Земли у него столько, что хоть держи стадо коров, огород тянется аж до самого Дона, но берег в том месте заболоченный и гнилой, заросший осокой, среди которой гнездятся дикие утки, и электрик намеревается устроить себе купальню, осушив болото и отведя воду в пруд, котлован для которого начали уже рыть под высокими, с вороньими гнездами, тополями. Другие тоже понимают, что пора уже начинать хорошо жить, а как, никто толком не знает. За теми, кто успел наворовать миллионы, не угонишься, а своего... да где оно, свое... Каждый держится за малое, не рискуя потерять и это, а уж о большом даже и во сне никому ничего не снится. Так и проходит жизнь, не давая никаких обещаний на будущее, в мелкой возне и ссорах с соседями, которым ведь тоже ничего особенного в жизни не дано. И выходит, что рождаешься ты неизвестно зачем и просто ползешь туда же, куда и все, по проложенному не тобой пути. Впрочем, об этом никто в Донском не думает, да это и к лучшему, иначе не спившаяся еще половина деревни обязательно

сопьется, тем самым положив конец напрасным претензиям души на какую-то в мире значимость.

Остановившись перед верандой и исподлобья уставясь на Витьку, электрик, похоже, приготовился к сведению своих отцовских счетов. Ему ничего, бугаю, не стоит раздолбать мастеровкой бетонные перила, снять с петель дверь, перевернуть залитый самогоном стол, прижать самого Витьку к кирпичной стене и бить об нее головой до тех пор, пока у того не слетит с распухшего от пьянки языка последнее слово раскаяния... Впрочем, Витька готов раскаться уже сейчас, ему жалко свою, хоть и никудышную, но все-таки жизнь, и разве это его вина, что тянет его не на баб... хотя мать, давно уже разглядев его наклонности, говорит, что никакая свинья так низко, как он, в грязь не ляжет... Может, сама мать-то его и испортила своим совершенно не бабьим характером: она всегда была главой семьи, не считая пьяницу мужа за человека и зарабатывая на своих коровах втрое больше любого мужика. Она хотела к тому же иметь девочку и заранее запаслась веселыми ситцевыми платьицами и чепчиками, которые сама же и сшила, сидя по вечерам за допотопным дребезжащим «Зингером», но вместо девчонки родился Витька. Он видел в матери... отца, да, сильный пол, ничуть не затронутый ни гибкостью приспособительства к чужой воле, ни тем более способностью выносить чужие промахи. Одни только коровы и вызывают у матери нежную привязанность и сердечное беспокойство: она любит их как каких-то особенных ангелов, по ошибке судьбы спущенных на землю, вместо того чтобы принимать причудливые формы облаков или светить, мерцая в ночи далекими звездочками. И коровы, конечно, это замечают и доятся поэтому обильно и долго, до глубокой старости. Сколько раз Витьке приходилось это видеть: корова лижет руки матери, как какая-то собака, и Витька поэтому никогда не пьет молоко, внутренне отвращаясь от этой, не относящейся к нему самому нежности.

Одним прыжком одолев четыре недавно побеленные каменные ступени, электрик брякает об стол мастеровкой, едва не опрокинув стакан с остатками желтого самогона, и глухо, с угрозой, произносит:

– Отвяжи пса сей же момент! Пошто скотину на цепи весь день держишь! Тебя бы самого привязать так!

Не ожидая такого поворота дела, Витька сначала тупо на электрика смотрит, а потом, словно до него наконец дошло, ворчливо огрызается:

– Так ведь пес же...

– Я говорю, отвяжи кобеля, а если потравишь, приблюю.

Решив, назло электрику, тут же кобеля и отравить, сыпанув ему в молочную, от матери, кашу крысиного порошка, Витька вспоминает, что собирался как раз менять на кухне проводку, и только бормочет скороговоркой путаную матерщину. В конце концов какое ему до этого кабысдоха дело.

– Отвязывай сам и вали отсюда, – опасаясь, как бы электрик не завел разговор о мальчишке, торопливо соглашается Витька, косясь на ржавую, с загнутым клювом, мастеровку. Про себя же он решает Вальку больше не трогать, не один же он такой ладненький мальчуган в деревне, а кобеля при случае утопить.

Вернувшись с луга домой, Валька не верит своим глазам: во дворе, перед свинарником, возится черный, как перепачканный навозом боров, здоровенный негр. Неумело ковыряя лопатой ссохшуюся от жары землю, он беспрестанно чему-то улыбается, выпячивая обезьяньи

чернильно-фиолетовые губы, и Валька из этого заключает, что негр этот настоящий, всамделишный. Откуда он в деревне взялся, другой вопрос, а пока надо успеть насмотреться на круглую, как шар, прическу, потное, как из бани, лицо, бугрящиеся под крикливой майкой мускулы рук. Таких чудовищных мускулов Валька ни у кого еще не видел, даже у своего электрика-отца, и это наводит его на мысль о собственной никудышности и хилости: тонкая, как у цыпленка, шея, болтающиеся в рукавах и штанинах руки-ноги, и это притом что суп он ест дважды в день, у матери и у бабушки. Устроившись на старом ящике возле будки Брюса, Валька принимается наблюдать за негром. И первое, что кажется ему удивительным, это как раз молчание Брюса, обычно облаивающего всех, кто приходит во двор: высунув от жары мясистый розовый язык, пес равнодушно пялится на гуляющих по двору кур. Валька долго размышляет об этом и наконец решает спросить у матери: не случилось ли чего с Брюсом. Из кухни тянет пригорелым постным маслом, сладко пахнет свежими оладьями, и Валька знает, что в шкафу у матери стоит трехлитровая банка меда. Пробравшись в тесно заставленной кухне к столу, он окунает горячую дырчатую оладью сначала в сахар, а потом в сметану, хватая вторую, третью... и наконец спрашивает про Брюса, и мать недолго думая поясняет:

– Не брешет, потому что за человека негра не считает, а на скотину чего брехать...

Быстро проглотив ком оладьи, Валька снова идет во двор, на этот раз, чтобы самому убедиться, так ли обстоит с негром дело.

Шкрябая по твердой земле лопатой и едва лишь задевая корни пырея, намертво вцепившиеся в это свое место под солнцем, негр улыбается, скорее всего, от досады, да и лопату он держит неловко, словно какую-то безделушку, время от времени стряхивая со лба пот розовой с обратной стороны ладонью. Узнав перед этим от матери, что негра нашли на бирже труда, где летом толпятся студенты, бомжи и всякие приезжие, Валька заключает, что это и есть тот рабочий, о котором говорил на прошлой неделе отец, и что теперь перед свинарником будет наконец залитая бетоном площадка. С такими, как у этого Джо, нечеловеческими мускулами можно залить бетоном все имеющиеся в деревне дворы, засыпать щебенкой и покрыть асфальтом раскисающие в дождь улицы, вскопать заросшие лебедой огороды, вырыть колодцы и скважины... Короче, что бы там Брюс про негра ни думал, приобретение это было крайне полезным.

Решив до всего дознаться сам, Валька перво-наперво интересуется, подойдя к свинарнику:

– Твой отец, Джо, кем он работает?

Не переставая улыбаться, Джо охотно поясняет

– Мой папа работает королем. Но денег он мне больше не высылает, у него кроме меня еще восемь сыновей, а у меня любимая девушка... понимаешь?

Валька понимающе кивает, у него самого есть Наташка, хотя с тех пор, как они купались с лошадьёю в реке, он ее не видел.

– И к тому же, – дыша на Вальку жаром неизвестного ни здешним курам, ни тем более сидящему на цепи Брюсу африканского лета, продолжает Джо, – я завалил сессию, и меня выперли из вуза... – тут он глубоко, как умеют разве что коровы, вздыхает, – выперли к тому же из общежития, а девушка живет в Белгороде, к ней на поезде надо ехать...

Дальше Джо рассказал, как на автобусной остановке к нему пристали местные, сроду не выдавшие черных, и если бы не подоспевший электрик, пришлось бы ему пешком, с вывернутыми карманами и на голодный желудок, возвращаться в свою Африку.

– Давай-ка я научу тебя копать, – тронутый взволнованностью этого рассказа, предлагает Валька и берет из рук Джо лопату. Упершись в нее пяткой и рубя с размаху комья земли, Валька покрикивает по ходу дела на свиней, выставивших из-за перегородки грязные пяточки, и Джо в точности повторяет эти магические движения, и Валька думает, что мать все-таки права: ни один человек в деревне не поддается такой быстрой дрессировке.

К вечеру двор был расчищен, и Джо остался ночевать во временке, летом пустующей, а с осени занятой козами. Ночь была короткой и теплой, уже к трем часам завозились в курятнике и стали пробовать голос петухи, и Валька то просыпается, то снова ныряет в комариный сумрак рассвета. Ему снится одно и то же: как его везут, усадив на мягкий, удобный стул, в неизвестном направлении. Он смотрит по сторонам, радуется красивым пейзажам, и пахнет вокруг чем-то вкусным... но куда везут, не говорят. Хотя говорят они много, эти в общем-то симпатичные люди, которых, как кажется Вальке, он где-то раньше видел. И хотя они говорят на непонятном ему языке, смысл сказанного ему совершенно ясен: там, впереди, достаток, беззаботность и полная безоблачность жизни. Как раз то, чего все так сегодня хотят. Валька и сам не против, только вот ему кажется, хотя все это происходит и во сне, что самому ему как-то труднее становится... думать. Да оно в общем-то и не нужно, там, впереди, думать: те, кто его туда везет, пусть они сами и думают. И скорее всего, они с этим справятся, с их-то интеллигентностью, и не надо задавать им беспокойных вопросов. Одно только Вальке не нравится, что сон никак не досматривается до конца, всякий раз обрываясь в момент предъявления едущими паспортов: имена их так и остаются неназванными, а сами они – неузнанными. И Валька думает, просыпаясь, что так не должно быть, когда везет тебя неизвестно кто и неизвестно куда, как бы хорошо там, впереди, ни было. Оно ведь, хорошо, может быть, и пьяному Витьке, дрыхнущему под забором, по его же понятию. И только окончательно проснувшись и убедившись, что Бенья тут, в ногах, а петухи кричат уже вовсю, Валька мгновенно понимает, не тратя ни секунды на размышления, что плата за будущее, во сне, счастье чересчур высока: у него оказывается изъятой свобода сомневаться в собственной удаче. А без свободы он... что? Он даже и на свинью-то не потянет, так, заводная игрушка. Вот должно быть, чем эти симпатичные парни на самом деле заняты: куплей-продажей. Им бы купить то, что подороже, чему вообще никакой цены нет, и бабушка как-то сказала Вальке, что это – человеческая душа. Но сначала они, обещая самое-самое лучшее, доводят твою душу до разорения, до полного, как говорят в телевизоре, дефолта, так что никому уже и не охота вытаскивать эту дешевку из кучи мусора, и только тогда, вроде бы оказывая душе неосмысленную услугу, эти ребята покупают ее... до чего же трудно все это осмысливать!

Сунув голову под струю воды над кухонной мойкой, Валька вспоминает про негра и решает тут же разузнать, где тот собирается коротать зиму. Лучше всего было бы впасть, как ящерица, в спячку, предусмотрительно зарывшись под куст смородины или под вишню, но негр вряд ли станет это делать, он и копать-то как следует не умеет, при его-то

мускулах. С этой мыслью Валька идет смотреть, какое задание отец дает Джо на день.

– Три ведра бетона сюда, к стене свинарника, и три ведра сюда... и еще сюда...

Джо внимательно слушает и видно, что хочется ему электрику угодить, да прямо сейчас и начать, пока еще не так жарко. Отец садится на мопед, жмет газ и на ходу бросает Вальке:

– Присматривай за ним, пока я на работе.

Присматривать надо еще за курами, утками, перепелками и гусями, надо вывалить свиньям ведро жратвы, налить в корыто воды... делов-то! Но пока Джо месит лопатой бетон, можно сгонять к Дону, окунуться. Валька тут же садится на велосипед, и его гонит вперед мысль о Наташке... Но на берегу он видит только стадо коров. Он думает о ее золотисто-русых косах, и внезапно его осеняет страшная мысль: что если она отрежет их к первому сентября? Что если придет в пахнувший свежей краской, только что отремонтированный класс с бритым затылком? У Вальки аж мурашки побежали по телу. Стоит только сказать девчонке, что у нее классные волосы или брови, и она тут же их срежет и повыщипывает, дура, а то, что осталось, выкрасит под баклажан. «Если отрежет косы, – после некоторых колебаний решает Валька, – не стану на ней жениться».

С этой тревожной мыслью он возвращается во двор и сразу идет к свинарнику: не наворочал ли чего негр. Возле самой перегородки высится, подпирая стену, куча бетона, да тут больше, чем три ведра! Вот ведь как негр старается: натаскал столько за полчаса! Джо и в самом деле весь в работе: навалив бетон в огромную *выварку*, он тащит ее волоком по земле и опрокидывает возле свинарника, и пот катится по его круглому и черному, как только что вырытая из земли редька, лицу.

– Тебе же сказали, три ведра! – сердито кричит ему Валька.

– Так я уже третье ташу, – бормочет, едва переведя дух, Джо, – и туда еще три... и туда...

Сердито сведя выгоревшие на солнце белесые брови, Валька хочет тут же негра и обматерить, как сделал бы наверняка отец, но... принимается вдруг хохотать, и Джо, еще не понимая, в чем дело, тоже понемногу прихихатывает, и наконец оба, стоя возле свинарника, трясутся от смеха, наводя свиней на подозрение о подступающих к ним переменнах: кому-то наверняка оторвут скоро яйца.

Еле подняв ведро с бетоном, Валька тащит и удивляется, откуда у него вдруг столько сил. Как будто не он сам, но кто-то другой, правит теперь его дыханием и пульсом, разгоняя волю до ярости и отметая всякую усталость. «Вот сейчас, – думает он, глядя на запыхавшегося Джо, – ты узнаешь, негр, кто из нас двоих сильнее!» Пот катится по его спине и животу, колени дрожат, руки отказываются хватать режущую ладонь дужку ведра, и в самый несносный, выше всякой натуги, миг Валька видит над собой могучие крылья... Потом он рассказал бабушке, что были они оранжево-розовыми, как поспевающие в августе абрикосы, и бабушка заключила, ничуть в этом не сомневаясь, что то был Валькин ангел-хранитель.

Разбросав по площадке бетон, они сели в тень, под грушу, по очереди прикладываясь к банке с водой.

– Ну и жарница, – метко, как отец, сплевывая в пыль, замечает Валька.

– Тепло, – соглашается Джо.

Из соседнего двора потянуло свежими шами, и Валька подумал уже позвать Джо на кухню, где хоть и беспорядок, но стоят в холодильнике вчерашние щи, но тут забрежал спрятавшийся от мух в будку Брюс, и за калиткой ему немедленно ответили, залиvisto перелаивая друг друга, два спаниеля. «Борисыч», – узнавая собак по голосу, забеспокоился Валька, зная, что тот придет кастрировать кабана. Но Борисыч явился вовсе не за этим.

Оба спаниеля, Сотовая связь и Минздрав предупреждает, бывали тут раньше и поэтому несколько не боятся Брюса, рвущегося теперь с толстой, в Валькину руку, цепи. И в доказательство своей храбрости Сотовая связь лезет под сетку и принимается, невзирая на надетые по случаю течки трусы, отчаянно вилять Брюсу обрубок хвоста.

– Сука, – угрюмо поясняет, закрывая за собой калитку, Борисыч, – повяжем ее с Беней, хоть он ей и сын. Да тут, я вижу, – он с удивлением уставился на Джо, – мировое сообщество! Приехали в гости, к друзьям? И как вам наша Россия? – не дожидаясь ответа растерянно улыбающегося Джо, он сам же и уточняет: – Страна рабов, страна господ.

Глянув для поддержки на Вальку, Джо говорит, что ему тут очень даже нравится, особенно девушки и шапки-ушанки, в которых зимой тепло. И Валька шепчет ему на ухо: «Скажи, что твой папа работает королем!» И Джо послушно докладывает:

– Мой папа самых лучших правил... – он тут же вспоминает, что так учили его на подфаке, на случай если доползшему до пятого курса негру когда-нибудь придется стать в своей африканской демократии дипломатом, а то и премьер-министром.

Вернув из-за сетки загулявшую Сотовую связь, Борисыч крепко зажимает ее под мышкой и, грозно свистнув убежавшему к курам Минздраву, садится в тень под грушу. Щей ему, правда, не хочется, он недавно позавтракал, но в присутствии мирового сообщества он не прочь изложить свой план обустройства и тотального облагораживания все еще никак не сгнивающей державы. План этот предельно прост и смахивает скорее на успешное блиц-наступление, чем на длительное и, увы, безуспешное «неизвестно-чего-строительство»: дать из державы деру. И, разумеется, в США, куда же еще, там наших по крайней мере десять миллионов, и даже гастрономы и те торгуют по-русски.

– В Париже бывали? – не без зависти допытывается Борисыч у негра, – В Лондоне... то есть, пардон, в Лондонграде? А я вот сижу тут, в нашем Лукоморье... Хотите, прочитаю, и притом наизусть, недавно законченную поэму?

Джо охотно кивает, он не прочь всхрипеть и расслабиться, а Валька думает про учительницу, задающую зубрить наизусть что попало.

– У Лукоморья дуб зеленый... – не без торжественности начинает Борисыч и тут же скороговоркой мямлит: – ну и так далее, так далее... а теперь, собственно, сама поэма:

Увидит правых, песнь заводит,
А левых – сказку говорит,
Там чудеса: шпана там бродит,
А честный люд в тюрьме сидит...

Улыбаясь и кивая в такт каждой рифме, Джо закрывает от удовольствия глаза: прямо как колыбельная! Его хвалили еще на первом курсе за хорошую память, и он помнит, что Пушкин, с пейсами и шестиконечной на могиле звездой, оставил с носом тех, кто и сейчас допытывается,

откуда он, собственно, такой Пушкин, взялся? Такой, что сколько не переиначивай под матершину «Онегина», сколько ни хватай с блюда готовых к употреблению графоманских рифм, все равно авторами этой чепухи никто не интересуется, а все только галдят: «Пушкин! Пушкин!» Шумно вздохнув и рухнув африканой на плечо к Вальке, Джо, не стесняясь уже, храпит.

Валька же, напротив, пребывает в полном бодрствующем внимании: уловить впечатление от непонятных пока слов, чтобы потом, когда наступит для того время, вычерпать из этих слов их смысл... Да может, это время никогда и не придет, обойдясь напрасной мечтой о повзрослении и зрелости. Вон сколько кругом взрослых, а никто из них ведь толком не знает, чего ждать завтра, и живут поэтому как однодневки: вырос, наелся, размножился. Для Вальки же такой расклад никак не подходит, и он втайне догадывается, что был... всегда. Ведь стоит только подумать о себе: «Я...», и тут же становится ясно, что не может это «Я...» никуда на сторону улизнуть, хотя чего только оно в себя не впикивает, как хорошего, так и плохого. Оно ведь и Витька тоже может сказать о себе «Я...», но это будет совсем уже другой мир, и невозможно поэтому брать на себя ответственность за другого. Глядя на Витьку, кто-то, может, скажет: «Пьет вся деревня», но деревня – это не только Витька, из чего сказанное оказывается враньем. Валька стал замечать, что люди гораздо охотнее говорят о плохом, словно оно, плохое, важнее хорошего, тогда как хорошее выходит у них само собой разумеющимся, будто свалившимся с неба в разинутый рот. Люди ходят на Пасху в церковь, стоят в длинных очередях, чтобы освятить кулич, иначе говоря, впустить в дрожжевое, с изюмом, тесто самого Бога, чтобы потом его съесть, тем самым став добрее и лучше. Но Валька думает, что Бог так просто не даст себя прожевать и переварить, а тем более не клюнет на изюмную приманку. На Пасху распускаются под березами голубые пролески, набухают почки черемух, и Валька переживает каждый раз одно и то же: он сам словно отрывается от земли, клубясь вместе с могучими облаками над едва зеленеющим полем. И почему только никому нет до этого дела?

Наверняка и Борисыч ничего об этом не знает, хоть он и поэт, не знает о том, что любое дерево, любой сидящий на листе червяк куда совершеннее самой изощренной его поэтической абракадабры. Не знает, ничего об этом не знает! Иначе разве погнал бы он своих спаниелей в болото таскать ни в чем не провинившихся перед ним уток. Потом Борисыч хвастается перед соседями, сколько он этих уток настрелял, и соседи ему завидуют. Но почему Я должен делать то же самое?

К калитке подкивает на мопеде отец, и Борисыч, напрягая голос до крика, поднимается из тени и идет ему навстречу:

Там люд, хоть без свободы тужит,
Но властелинам верно служит,
Там временщик над златом чахнет,
И там сортиром часто пахнет...

Пожав Борисычу руку, электрик живо интересуется:

– Автор-то кто? Не Пушкин?

– Борис Бессмертный, – скромно, но с достоинством, поясняет Борисыч, – это мой последний опус. Поэма идет нарасхват, глянь только в Интернет, и просто так, бесплатно, ее не скачаешь!

– Классная поэма, – сдержанно хвалит электрик. – Писал-то небось кровью?

– Кровью, – кивает Борисыч. – А ты откуда это знаешь?

Электрик едва заметно усмехается, и Валька, глядя на отца, понимает: тут рядом линия фронта. Тут стоят друг против друга, держа наготове штыки, две враждующие державы, и эта битва длится уже не одну тысячу лет. Только вот за что они так долго бьются? Отец как-то сказал, что скоро, совсем уже скоро, и притом в Америке, родится на радость многим и многим миллионам Великий Гений, продвинутый такой, знающий все наперед мальчик по имени Сатана, он-то и научит людей *правильно рассуждать*. Понятливость, сказал тогда отец, не там, где отточен до блеска критический ум, но там, где есть устремленность к *свободе*. А это... что это в самом деле такое? Это, сказал отец, *подъемная сила*, которую каждый развивает в себе сам и на которую Сатана хочет наложить вечный, на все времена, запрет. Ты можешь критиковать и перекритиковывать саму критику, но стать выше материи с ее законодательной *необходимостью* – не смей! И чтобы тебе еще слаще в этой материи тонулось, продвинутый мальчик Сатана гениально называет себя твоим Спасителем. И ты с радостью пойдешь за ним, веруя, но отобьешься от стада, *зная*.

Пока идут к дому, договариваются, что щенков Борисыч забирает себе, а одного так пусть электрик хоть утопит. С тем и впускают Сотовую связь в темную, тесно заставленную ящиками и коробками комнатушку, где прячется под старым диваном Бенья. Сами же идут на кухню, где разогреты уже вчерашние щи, и Валька тоже садится за стол, перед этим плеснув негру в миску побольше капусты и разварившейся картошки. О чем говорят мужики, всегда интересно послушать, тем более что сам часто с ними не соглашаешься, тем самым проверяя на прочность свое мнение. А мнение у Вальки такое: Пушкин сочиняет лучше, чем Борис Бессмертный. Вот только почему это так, Валька пока не понимает, и надо это поскорее выяснить, иначе ведь учительница заставит учить наизусть Борькино «Лукоморье».

Обнюхав вытертый коврик, коробки с нештопанными носками и ножки стула, Сотовая связь садится возле дивана, под который забился Бенья, надеясь выманить его сладким запахом течки. Но Бенья сидит как проклятый у самой стены, в пыли и в паутине, твердо уверенный в одном: пока его бывший хозяин тут, надо прятаться. Вдруг да заберет обратно? Посадит в прихожей на цепь, бросит раз в день пригоршню бумажного сухого корма, погонит в вонючее болото... Потому-то Бенья так и трясется за диваном, и ему вовсе не до женитьбы. Но темнота любит свои тайны и выдает их разве что в особом, исключительном случае: в комнату незаметно пробирается старый, с седой бородатой мордой, скотч. При всей миниатюрности своей благородной породы он держится по-хозяйски независимо, да, просто так его не обойдешь, и Сотовая связь, будучи намного крупнее его, тут же кокетливо приседает, ну прямо барышня, и получается очень даже... пока Бенья скулит, трясясь под диваном от страха. Темнота тут же отзывает свою тайну обратно, не нарушив при этом природного порядка вещей и пообещав скотчу бородатое, с вислыми до земли ушами, потомство.

Щи съели, дальше идут макароны с ливерным фаршем и компот из незрелых яблок. И все это время говорит один только Борисыч, удивительно подробно осведомленный насчет своей будущей счастливой жизни в Америке. Электрик, впрочем, не верит ни одному его слову,

но слушает охотно и время от времени кивает: так оно, зараза, и есть. Вон демократы, и те того же мнения: надо поскорее освободить державу от излишков интеллектуальности (а то еще люди допрут, что демократия на деле есть та же самая, что и всякая другая диктатура, жопа), создать для этого подходящие условия... то есть сделать условия жизни совершенно для человека неподходящими. Да, но как?

Недоверчиво глянув на электрика – сам что ли до всего допер? – Борисыч молча соображает: давать ему повод и дальше так выпендриваться или же самому рубануть что-нибудь такое... насчет, например, секретного американского оружия, гонящего на державу циклон и застопоряющего антициклон, распыляющего в державном воздухе любую, какая кому по вкусу, заразу... Не каждому обязательно иметь критический ум, а тем более простому, незаметному человеку. Кто-то должен ведь работать. Работать, не критикуя. Возить на свалку мусор, копать картошку, пилить дрова... Конечно, можно поручить всю работу китайцам, вон их везде сколько, да так оно скоро и будет.

– Ты-то зачем в Америку едешь? – с видимой одному только Вальке усмешкой интересуется электрик, прислушиваясь к собачьей возне за стеной.

– Еду или не еду, тебе какое дело, – ворчит, глядя в сторону, Борисыч, – мне тут, может, жить надоело, вон уже шестой десяток мотаю. Да и родственники у меня там со стороны жены, – он морщится, – состоятельные жертвы концлагерей и погромов, с такими не пропадешь. Кстати, тут, на родине, так сказать, все они числятся умершими... – Борисыч понижает голос до шепота, – зато в Конннектикуте никому из них не хочется умирать, но хочется, напротив, жить вечно... Вот ты, к примеру, – неожиданно обращается он к Вальке, – ты хочешь жить вечно? Хочешь или не хочешь? Ну?

Валька не знает пока, вопрос это или приказ, и только выжидающе пялится на Борисыча, с трудом нащупывая на каком-то своем таинственном дне еле слышный ответ. Он ведь знает уже, не зная, правда, откуда он это знает, что был *всегда*, и стало быть, всегда и будет, и это следовало бы принять за основу всякой о жизни и смерти болтовни. Лично ему кажется, что он попросту занырнул десять лет назад в окружающие его теперь условия, а до этого был в куда более приятных местах... ну хоть убей, Валька в этом уверен. И то, что он очутился именно здесь, на этом месте, в этой деревне, имея при себе этих, а не каких-то других родителей, кажется Вальке незыблемо справедливым, хотя есть на земле и другие места, другие дома и деревни. Он подозревает, что именно здесь ему предстоит выполнить не какую-то чужую, но *свою*, вместе с ним вырастающую из этой почвы задачу.

– Да и как ты можешь этого хотеть, – продолжает наступать на Вальку Борисыч, – если живешь не только в стране дураков, но еще и в стране вечных, пожизненных рабов! Россия есть изначально *раба*, и ничего иного история нам не преподносит. Кстати, в Конннектикуте я как раз и собираюсь преподавать всемирную историю.

– Тогда, конечно, поезжай, – электрик устало зевает и идет смотреть, что там у собак.

Лежа на спине на диване, Сотовая связь кажется вполне довольной свиданием, а Бенья, едва учуяв электрика, тут же вылезает из-под дивана и принимается жаловаться на несправедливость, наклоня лохматую голову то влево, то вправо и метя ушами пол. Человек не понимает собаку так, как та его понимает, вот и приходится поэтому таращить глаза,

скрести лапой пол, оставлять на ковре лужи. Почесав лохматое брюхо Сотовой связи, электрик мазнул на палец то, что осталось у нее под хвостом, и цвет оказался как раз тем, что надо, прозрачно-розовым: это ее, сукин день. «Увезет с собой щенка в Америку, – благодушно думает он, – к лучшей, может быть, жизни...» Самому же ему неохота ехать даже в город, хотя это совсем рядом, в двадцати минутах на мопеде, и никто пока не дознался, если не считать жены, в чем состоит его, электрика, глубокая жизненная тайна: иметь только то, чему никто в мире не завидует. Дом-развалюха, наполовину, ввиду нехватки средств, обложенный силикатным кирпичом, всякое старье во дворе, вечные хлопоты. Он сам, впрочем, не считает себя бедным, вон сколько вокруг непаханной земли, в болоте полно воды, воздух сладко пахнет соломой и навозом, и в зарослях синего винограда, что напротив крыльца, который уже год вьет гнездо соловей. Никто не считает все это богатством, никто поэтому и не завидует. Если бы только не деньги... за ними приходится мотаться по пригородам, вступать в склоки и сомнительные сделки, нарываться на спекуляции. Но и это тоже, полагает электрик, важно: научиться узнавать зло в лицо, со всей его броской косметикой деловитости. От зла, конечно, не следует ожидать никакого добра, но не уступать ему всегда можно. Зло ведь как паразит: само по себе оно ничего не значит, злу нужен человек. И пока человека ценят по его уму, не учитывая при этом, темен ум или солнечен, зло будет неизменно умнее самого умного. Но эта *интеллигентность зла* вовсе не кажется электрику таким уж неодолимым в жизни препятствием: достаточно просто ее не принимать. Не хотеть, к примеру, топить свои мысли в общественном мнении, не примыкать ни к каким партиям, группам, сектам или движениям, не ждать помощи со стороны, не ставить телесные удовольствия выше душевного покоя... на всякий случай электрик держит под рукой мастеровку.

Вернувшись на кухню, он наливает себе из-под крана воды, пьет, споласкивает лицо и шею, берет с крючка грубое льняное полотенце. Но прежде чем снова сесть на мопед и гасануть до соседнего села, он как бы между прочим, мимоходом, бросает Борисычу:

– Принять жизненную механику такой, как она есть, не вдаваясь в ее сатанинскую суть, это и есть лучший способ отделаться от всякого в жизни смысла: никаких моральных стимулов труда, пожизненная *привязанность к ненавистному*. В Америке, думаю, то же самое. Везде одно и то же.

– У Америки есть будущее, – запальчиво перебивает его Борисыч. – Тогда как у России никакого будущего нет, говорю это совершенно искренне: не вижу я никакого у державы будущего! Говорю это еще и как историк: чтобы такое будущее у России было, следовало бы вернуться назад, в предсоветские годы, что совершенно невозможно...

– Туда уже не вернешься, – соглашается электрик, – сказал же Иван Бунин, что Россия погибла навсегда.

– Вот именно, – удовлетворенно кивает Борисыч, – навсегда!

– Погибло то, – не обращая уже на Борисыча внимания, продолжает электрик, – чему и следовало погибнуть: дурацки-восторженная вера в добро. Добро – это ведь не праздник, но тяжелый и притом непрерывный труд. Труд, кстати, над *собой*. А тогда, перед самым концом, хотелось, чтобы кто-то пришел и избавил от *трудностей*. И тогда явились избавители, не имеющие с Россией ничего общего...

– ...сейчас ты скажешь, что это мировой заговор и так далее, – нетерпеливо вставляет Борисыч, – тогда как на самом деле, – тут он

снисходительно электрику кивает, – державу сгубило расхлябанное русское крестьянство!

Уставившись на гостя, электрик молчит, и Валька, все это время старавшийся уловить, о чем это взрослые мужики препираются, ощущает где-то в горле, где ворочаются, до того как быть произнесенными, слова, что отец скажет сейчас что-то важное. Он отхлебывает в ожидании компот, посматривая то на отца, то на гостя, и ему кажется, что оба они правы, и это наводит его на мысль о своей собственной правоте, которая никак пока ему не дается. Компот кислый, почти без сахара, варенье у матери кончилось еще в мае, и зубы поэтому ломит, и Валька отливает себе из бидона молока. Густое и сладковатое, молоко предназначается теленку, а значит, производится *по любви*. У этой коровьей любви, правда, нет никакого выбора в сторону всяких человеческих безобразий... тут мысли Вальки путаются, но что-то остается светить внутри: без любви нет никакого ума. Учительница в школе говорит, что надо стараться, хоть ты и не любишь этот предмет. Но разве это не напрасные старания? Сама-то она тоже этот свой предмет не любит, но за старание ей платят деньги, как какой-то проститутке, да еще родители суют подарки и деньги. Вот ведь, чему у нее можно научиться. Другое дело корова, не пьющая свое молоко, или пчела, никогда не пробовавшая свой мед, они все это *отдают*, и исключительно по любви. Валька слышал, что в соседней деревне, где всегда торговали медом, теперь мрут у всех пчелы: как будто кончают самоубийством всем ульем. И никому непонятно, в чем дело. И только, может, один Валька и догадывается: пчелы мрут от человеческой жадности, не любят люди своих пчел, воруя у них самое необходимое и подсовывая взамен сахарный сироп с липовым чаем. И не только голод, заставляющий самых сильных пчел перегонять сахар в подобие меда и убивающий слабых, но само сотрудничество с человеком-вором становится для пчел бессмысленным. Как-то раз, помнит Валька, дикие пчелы завелись в прибитом на стену дома березовом пеньке с дуплом, где до этого жили синицы. И те и другие влетали в дупло, нисколько друг друга не беспокоя, и как они там, в тесноте, умещались, с птенцами и сотами, оставалось для Вальки величайшей загадкой. Прислонив ухо к деревянной стене, он слушал возню и писк, и непрерывное медовое гуденье, и ему хотелось любить из всех, так чудесно в дупле устроившихся. В конце концов им стало тесно, и первыми вылетели пчелы, оставив в дупле весь свой зимний медовый запас. И тут же явились осы, до этого жившие в старом ботинке электрика и построившие там круглое гнездо из серой осиной бумаги. Осы ели мед и пьянели, валясь с раздувшимся брюшком на подоконник, и Вальке хотелось самому этот мед попробовать, и он упросил отца снять со стены березовое дупло. Оставшийся в разоренных сотах мед был темно-коричневым и густым, и запах его был неопишуемым: в нем была собрана вся, какая только бывает летом, любовь. Вся пчелиная мудрость, с их шестигранными сотами и совершенным порядком в улье, произошла от любви, так же как и сладость их меда. И если бы Валька смог, в свои десять лет, проникнуться законами этой природной мудрости, ему незачем было бы ходить в школу, где учат только зубрить и угождать учительнице. Валька не знает пока, что бывает у людей в их будущем, и нет у него ни малейшей нужды об этом думать. «Вот будет мне шестнадцать...» – а дальше ничего не известно. И почему только это так занимает взрослых: все о будущем да о будущем, хотя сегодня можно было бы сделать кучу полезных дел, откладываемых на потом, к примеру, перевести свиней на

лето на огороженный сеткой лужок, а то ведь и солнца за свою короткую жизнь не видят, убрать с берегов Дона мусор...

– Будущее-то у державы есть, – осторожно, словно ступая по тонкому льду или трясине, говорит наконец электрик, – и оно не в успешной нефтяной экономике и не в диктатуре закона, обслуживающего исключительно все ту же экономику, но... – тут он вроде бы запинается, увязает в непроходимости слов, – оно, будущее, в каждом из нас в отдельности! В каждой душе! И если все-таки говорить о каких-то общих целях, то общим оказывается лишь то, что уже не нуждается в знаках различия: возраст, пол, национальность... то, что вышло уже из пут... – он снова запинается, – из пут посюстороннего...

Валька замечает, как морщится при этих словах Борисыч, да прямо на глазах скисает и мрачнеет: лицо его вмиг отяжелело, стало надменным и жестким и что-то ревматически страдальческое отпечаталось на нем, словно судорога вечной, от которой невозможно избавиться, боли. Ясно, что электрик его в чем-то очень важном задел, и это дразнит Валькино любопытство.

– Это ты откуда взял? – как-то сразу осипшим голосом перебивает электрика Борисыч. – Где вычитал? В евангелии? Веришь пророчествам? Но ведь это *всего лишь* пророчества, и они уведут нас от жизни...

– ...от разложения и расхищения жизни, – сурово уточняет электрик, жгуче глянув на Вальку, – пора уже разобраться в том, что выбор, который каждый добровольно делает сам, ежедневно и ежеминутно, есть выбор между удобством глупости и неудобством поумнения.

– Это ты на что намекаешь? – еще не веря, что все это сказано всерьез, пытается улыбнуться одними только тонкими губами Борисыч. – Я ведь могу и обидеться... – он требовательно кивает Вальке. – Правда, Валька?

Валька смотрит на него, не мигая, чувствуя, несмотря на жару, леденящий, как от невыученного урока, холодок. Учительница, бывает, вызывает к доске, пишет условие задачи, и Валька стоит как баран, слыша, как на первой парте хихикают девчонки. Тогда ему остается только одно, и он осознает это со страхом и трепетом: найти *свое* решение задачи. Учительница, конечно, не верит, что это он сам, и ставит поэтому три с минусом, и Валька рад, что это не двойка. Потом учительница пишет замечание родителям: слишком самонадеян. Мать пытливо смотрит на Вальку, не находя в нем похожести ни на свою родню, ни на отцову, но быстро смиряется с этим, решив, что так оно даже лучше, пусть разбирается с собой сам. И чтобы дело не стояло, она отсылает Вальку на птичий двор, накладывая в кормушки распаренное зерно, наливать в тазы воду, чистить клетки... Отец же, не споря с учительницей, бросает Вальке как бы мимоходом то ли вопрос, то ли уже найденный ответ: кроме как на себя, надеяться ведь не на кого? Раньше у людей был разговорчивый, а порой даже весьма болтливый Бог, снабжавший слушателей разными полезными советами, как жить и зачем. Но все до поры до времени, и Бог постепенно улизнул из разговора, стал молчаливым как рыба, как, может быть, камень. И сколько не надейся теперь, сколько ни ставь торчком уши, ничего само уже не приходит: Бог сам теперь слушает, что ты ему скажешь. Иначе говоря, пора начинать кумекать самому. И если приходится решать у доски задачу, ее нужно *решать*.

Борисычу Валька решил пока не отвечать, а то еще тот и взаправду обидится. Он ведь обещал взять Вальку на охоту, прокатить по болоту

на плоскодонке, пообещал даже дать разок стрельнуть по уткам, чем ввел Вальку в мучительные сомнения: не убивать птиц или все-таки попробовать? Поэтому он молча убирает со стола тарелки и, моя их под холодной водой, старается теперь на Борисыча не смотреть. И тот наконец стал собираться, оставив Сотовую связь для дальнейшего хода случки.

Его отсутствие сразу учуял Бенья, и как только захлопнулась калитка и Минздрав предупреждает визгливо залаял на кого-то на улице, Бенья осторожно обнюхал Сотовую связь. И Валька выпустил собак во двор, к великой зависти и беспокойству сидящего на цепи Брюса.

Залив бетоном площадку перед свинарником, Джо снова оказался без дел, и впереди было пять холодных месяцев, и только в феврале его обещали вселить в общежитие, повторно посадив на четвертый курс. Окажись у его многодетного папы, который, неизвестно еще, был ли его папой, хоть немного совести, он прислал бы Джо денег, чтобы тот мог скоротать осень и зиму в теплом Неаполе, с дешевым красным вином и покладистыми, по той же цене, девушками, или, еще лучше, втиснуться в негритянскую коммуналку на Монмартре, или поселиться на неопределенный срок у знакомой продавщицы-француженки, ценящей в любви ее непредсказуемые последствия... Но все это оказывается теперь небылицами из какой-то другой жизни, от которой Джо оказался отрезан, может быть, навсегда. Одно только его и спасает – короткая, как и у всех его девушек, память: имеешь и тут же забываешь. С такой памятью можно жить и жить, ничему при этом не научаясь, налегке и с улыбкой, никогда не отцветающей на его фиолетово-черных губах. Бывает, под пышную африкану Джо пролезает такая вот дерзкая мысль: не лучше ли получить степень магистра в Оксфорде? И тут же из-под густо вьющихся волос брызжет во все стороны радостная весть: нет, не лучше! Намного лучше здесь, в средне-русской, с видом на Москву, глубинке, хотя здесь и убивают, случается, негров на улице среди бела дня. Один раз, правда, убили по ошибке шведа, у того тоже, как и у Джо, были белые с внутренней стороны ладони, но вдесятером ходить в магазин не так страшно. В Донском же пока не решили, считать Джо рабочей скотиной или придраться к нему, как к человеку, и пока местные решают, как им быть, надо самому определиться со своим статусом, и Джо склонен к тому, чтобы оставаться все-таки рабочей скотиной. Тут поблизости есть винзавод, и грузчики там всегда пьяные, и им плевать, черная у тебя морда или какая-то еще. Остается выяснить только одно: допустит ли Валькина мать, чтобы Джо зимовал в теплой компании коз, в торчащей посреди огорода времянке. Он готов ей, как женщине, угодить: выносить со двора мусор, чистить свинарник, а при случае и деревянный, в самом конце огорода, нужник. Но она, вот ведь баба, хочет, чтобы он вскопал ей огород, не паханную до самой реки целину, с трехметровой высоты бурьяном, и Джо скребет под пышной африканой затылок... В конце концов, если взяться за дело прямо сейчас, пока еще лето, можно к зиме и успеть... то есть как-нибудь дотянуть до февраля, а там уж и копать ничего не надо. Живя среди русских, Джо понял: главное – никуда не спешить. Не брать на себя раньше времени никаких перед соседней Европой обязательств, пусть те покуда сами маются со своими летучими финансовыми кризисами, мы этого даже и не заметим. Мы – то есть нефть и газ. И хотя Джо ни разу не видал сырой нефти, а газ нюхал только на кухне, под сковородкой, ему, негру, кажется, что это

и есть опознавательный знак России и одновременно знак ее качества: горячее, которое горит. Горит, кстати, по всему миру, хотя повсюду и становится все более и более прохладно. Джо опасается даже, что вот-вот наступит новое обледенение и все ломанутся в Африку, и придется неграм тоже начинать работать... Хотя, кто знает, может, лучше уйти всем черным составом в пираты, купить вскладчину старую моторку и пару «калашниковых» и качать с проезжающих мимо туристов миллионы долларов, жизнь ведь дороже кошелька. А можно, что надо делать уже сегодня, возить мусульманам, направо и налево, руду для реакторов, авось с помощью Аллаха разберутся. А можно... тут Джо закрывает от удовольствия черные, с красноватыми белками, глаза... можно свезти всех белых, которые только загремели в Африку, баб под один красный фонарь. Да, но пока... пока придется вскапывать этот проклятый, до самого Дона, огород.

Весть об этом мгновенно распространяется по деревне: негр пашет. Такого в деревне не случалось лет уже пятьдесят, с тех пор, как вымерли последние родственники расстрелянных когда-то кулаков. На огородах, правда, копаются по-прежнему толстые, неповоротливые старухи, втыкая в жирный чернозем лук-севок и картофельную мелочь, сажая тыквы и капусту, помидоры и укроп, и все это ради того, чтобы дотянуть до следующей весны, доставая из погреба «свое». Им никогда не приходило в голову, если даже она у кого-то и была, нанять своего же старика, обычно с утра пьяного, а под вечер бодрого, и старухи перво-наперво решили разузнать, какого этот негр пола, и поскольку бабенки в деревне шарахались от него, как от паровоза, старухи разом заключили, что этот, слава тебе господи, не мужик.

Одна бабенка, впрочем, семнадцатилетняя соседка Катька, с ними была несогласна: стоило ей приставить стремянку к вымахавшей на три метра груше и сверкнуть толстыми, под короткой юбкой, ляжками, как негр тут же бросил лопату и ломанулся к забору, со всеми своими чудовищными мускулами, торчащей во все стороны африканой и похотливо банановой улыбкой на фиолетово-черных губах. Перемахнув через сетку, он стряхнул с дерева все груши, и Катька рухнула вместе со стремянкой на клубничную грядку, надеясь и тут на его помощь.

Копая с раннего утра огород, Джо натывается то там, то тут на птичьи гнезда, трогать которые электрик ему не разрешает: тут остаются зимовать куропатки. Часть из них отстреливает на охоте Борисыч, остальные же мирно дополняют собой спокойный и неяркий донской пейзаж. На болоте, представляющем собой просторную, заросшую камышами и осокой заводь, плавают среди кувшинок дикие утки, а раз даже поселилась цапля, но Борисыч тайком пристрелил ее, уж очень была собою хороша. К этому болоту Джо боится даже подходить, втайне подозревая, что там водятся крокодилы, и когда среди ночи оттуда доносятся внезапно усиливающиеся выскочившей из-за облаков луной суматошные трели лягушек, он думает, лежа на надувном матрасе, что кто-то, увы, съеден. Как-то в обеденный перерыв, принеся Джо кастрюльку супа, накрытую тарелкой с макаронами, Валькина мать останавливается возле кучи выкорчеванных вместе с огромными комьями земли сорняков и, упершись веснушчатými руками в широкие, под фартуком, бока, пытливо спрашивает:

– А что, в Африке по-прежнему едят еще людей?

Это она, видно, к тому, чтобы Джо с аппетитом пообедал, хотя смазанные кетчупом макароны были без мяса, а в супе плавал один лишь

лавровый лист. Джо пялится, раз она такое спросила, на ее круглые колени и крепкие икры, обвиняет мимоходом, одним только вскипевшим взглядом, пока еще не расплывшуюся талию и тихо, как только и могут звучать самые искренние, задушевные признания, шепчет:

– Ну, это смотря где...

Ответ его никоим образом Валькину мать не удовлетворяет, она привыкла у себя на «скорой» либо колоть пациента, либо везти его в морг, а тут этот бесхозный негр морочит ей голову. Случай был явно из тех, когда надо колоть, когда даже врач, и тот не сомневается: в морг пока не повезем. И вся, какая только была зелень и голубизна в прищуре ее глаз, оказывается вмиг всаженой в широкую переносицу негра, так что у него самого сыплются из глаз осколки стекла... как, стерва, посмотрела! Подойдя к Джо почти вплотную и едва не упершись ему в живот своей туго обтянутой фартуком грудью, она спрашивает грозно и напрямик:

– А меня бы в твоей африканской деревне съели?

С опаской попятившись от нее и чуть не наступив в тарелку с макаронами, Джо собирает всю свою честность и, едва от нее же не задохнувшись, бормочет:

– Думаю, что да.

Пристально, с наклоном головы, на него глянув, Валькина мать удовлетворенно кивает: теперь все стало на свои места, этот людоед сказал наконец правду. Пусть хотя бы здесь, в Донском, хотя бы один в мире негр – пашет! А то ведь, кто только не помогает медленно, но верно вымирающей Африке, кто только не шлет туда норковые шубы и вязаные носки, словно там у них нет и в помине никакого лета. Вся беда в том, что как раз лета у них в избытке, и негры не знают, что с ним делать, и каждый из них охотно променяет теплые деньки на лютый мороз, была бы только дармовая ушанка. Кстати, негр в ушанке – это не бредовая выдумка расиста, не извращенная фантазия шизофреника, это – гримаса заспанной с похмелья Европы, ее демократическая отрыжка. И пусть кто-то всерьез полагает, что все люди рождаются *равными*, строя на этом высосанном, срамно сказать, откуда, «равенстве» ловушки самим же себе, негр, даже названный африканцем, все равно черен, и этот черный цвет является цветом его личности. И чтобы эту хитрую штуку отбелить, сделать ее розово-персиковой, как распустившийся в мае цветок, надо пройти тот же путь, что остался позади у русского или немца: путь долгого и тяжелого труда над собой. Так копай же, Джо, этот проклятый огород!

Глядя ей вслед, Джо не верит, что дело тут лишь в бабском любопытстве, которое, как показывает его двадцатидвухлетний жизненный опыт, есть черта интернациональная, а значит, общечеловеческая. И когда после обеда к нему подъезжает на мопеде электрик, Джо не знает, как ему быть: вдруг да прогонит из козьей времянки... И принимается копать за троих, а может, за шестерых.

Электрик подходит не спеша, явно держа что-то на уме, и принимает молча смотреть, как выкорчевываются из чернозема десятикилограммовые глыбы с корнями пырея и крапивы, как рушит лопата синеголовник, донник и шалфей, и на его загорелом лице медлит, обещая вот-вот вспыхнуть, самодовольная хозяйская улыбка. Он так ничего и не сказал, и Джо на всякий случай благодарит его за обед, в особенности за кетчуп, добавив, тут же об этом пожалев, соображение насчет макарон: от них местные бабы толстеют, как поросята... Электрик охот-

но с этим соглашается, пояснив Джо, как приедем и как негру, что толстая баба есть признак нерушимости семьи.

– На досках я належусь и после смерти, – резонно добавляет он.

Отрезать хряку яйца – это не только быстрота и сноровка, это искусство, если не сказать, магия. Магия абсолютной над жизнью власти. Попробуй, представь себе, что на месте хряка оказывается твой родной дедушка, и тебе сразу становится ясно: дело вовсе не в висящих под хвостом архитектурных излишествах, но в самом принципе всеисильности смерти на фоне ничтожности жизни. Если подумать только, честно отпустив мысли на свободу, почему они, мысли, вообще застревают у человека в мозгу, то окажется, что держит их в пределах черепной коробки разлагающаяся материя нервов: мысль вспыхивает, нерв сгорает. Да, но чтобы эта мысль вспыхнула... кто подносит спичку? Свинье недосуг, да и не к чему разбираться в этой мировой алхимии, но если когда-нибудь ей, свинье, засветит что-то человеческое, она, пожалуй, представит себе окружающий мир в виде простой, но впечатляющей картины: стерильная операционная, она же камера пыток, белые халаты, инструменты; жертва, привязанная к вивисекторскому столу, безнадежно смотрит в потолок, и оттуда на нее пялится выжигающий всякие сомнения прожектор: сейчас! Лица вокруг стола сплошь типичные: железный робот в квадратных очках, перепуганный насмерть, но вождедеющий к чужой пролитой крови иезуит, исполнительная склеротичная тетка с наркозом, тупой академический обрубок с куцей профессорской бородкой, какой-то идиот с галстуком-бабочкой; у каждого в руке острый нож, кто-то уже всадил острие в пах лежащего на столе, другой метит, прищурясь, в глаз, тетка с наркозом режет не спеша по живому... Таково, быть может, свиное воображение, оно же и подсказывает лаконичное название картины: кастрация. Навеки кастрированная жизнь, вот о чем грезит в своих кропотливых изысканиях смерть. Отрабатывая на свиньях свою нехитрую технику, вершиной которой неизбежно становится *генномодифицированная свинья*, смерть только посмеивается над доверчивой наивностью жизни: ведь это все во имя жизни!

Всякий раз, бросая отхваченные у хряка яйца в побитую с боков алюминиевую кастрюлю – сварят вместе с пшенкой для собак – Борисыч ощущает полноту своей, в целом удавшейся жизни. И удалась она именно потому, что на каждом своем повороте и этапе, в каждой своей потайной комнатке пускает вперед себя смерть: смерть расчищает дорогу, экономит на большом и малом и всегда платит наличными. С жизнью же обстоит дело иначе: с ней надо беспрерывно возиться, уговаривая ее на то и на это, а главное, самому быть живым, то есть способным дышать и хотеть, вбирая в себя муки и вожделения других. Как раз от этого и надо по возможности устраняться, и с этим у Бориса Бессмертного все в порядке, и жить ему поэтому еще не надоело. Конечно, есть вещи, которые его беспрестанно раздражают: чье-то восхищение розовым, как мальва, закатом, невинный писк ласточек, режущих крыльями не принадлежащий им воздух, заунывное и лихое пение баб вечером на лавочке, вид купающихся нагишом детей, ржание лошадей в ночи... Он бы с удовольствием все это отменил, но не хватает пока ни у кого на это власти. Вот и приходится собирать по жизни крохи: то отхватить хряку яйца, то перестрелять на болоте весь

утиный выводок... Да, голова у Борисыча на плечах, и умный – он и в Америке такой. Кстати, он туда вовсе и не собирается: кому он там будет резать яйца?

От кастрированного хряка электрик обещает Борисычу свежую грудинку, а когда придет очередь резать Белку, речь пойдет о парной вырезке... да, качественный труд должен хорошо оплачиваться. Чтобы было потом что вспомнить, когда душа наконец оставит в покое надоевшее ей тело: сколько качественных убийств! Расстрелять в упор загнанную косулю, наслаждаясь трепетом ее смертельного страха и последним в жизни протестом, а потом... вырезать из теплой еще груди большое, живое пока еще сердце и швырнуть собаке! Правда, не каждая собака имеет к этому аппетит, но выдрессировать кобеля или суку всегда можно. Как-то раз, в чрезвычайно благоприятный для охоты год, Борисыч отстрелял вместе с приятелями десяток косуль, и сердец набралось целое ведро... об этом наверняка вспомнит после смерти душа, хе-хе. Впрочем, мир идет к тому, чтобы обходиться без каких бы то ни было о душе беспокойств: мир совершенно разумного и притом цивилизованного человека. Мир, у которого голова на плечах. И уже сегодня тянет из будущего человеческим перегноем, над которым возводит свои мосты в никуда твое вожделение к материи...

Под вечер потянуло откуда-то гарью. Сначала думали, горит что-то на складах винзавода, но повисшее вдаль черное облако двигалось со стороны соснового леса, постепенно затягивая панораму заката зыбким пепельным покрывалом. Пожар был далеко, и никого это особенно не беспокоило, да и горел-то, судя по всему, лес, он же ничейный. Однако запах гари становится навязчивым, в воздухе чувствуется привкус пепла, поэтому, несмотря на духоту и жару, многие закрывают и зашторивают на ночь окна. Валька лежит под простыней, с храпящим скотчем в ногах, и думает, что пожар, похоже, настоящий, и время от времени из зыбкой ночной тишины доносится тревожное и возмущенное ржание Наташкиной лошади. Должно быть, лошади известно больше, чем людям, но никто у нее совета не спрашивает. И Валька решил, как только будет светать, сходить в конюшню и выяснить, глядя лошади в глаза, стоит ли чего опасаться.

Он сидит днем у реки и смотрит на резвящихся в воде мальков. Отец построил на берегу, в просвете между деревьями, маленькую пристань с ведущими к ней вниз деревянными ступенями, а вместо поручней приладил изогнутую верхушку березового ствола; на деревянной площадке, сухой и горячей в полдень, можно сидеть или лежать, слушая тихий говор течения и дразнящие вскрики трясогузок. Дно возле пристани песчаное и такое светлое, что солнце, пронизывая насквозь толщу воды, отражается в нем, как в зеркале, делая песок лимонно-желтым, а оставленные течением дюны – оранжевыми. Эта игра воды и света настолько завороживает Вальку, что, сам не зная почему, он смеется, мысленно целуя сияющие золотом солнечные блики. Он чувствует, еще не зная, что это за чувство, что переживает значительный в своей жизни миг: теперь он заодно с совершенной и удивительной, таинственной красотой мира. Словно какой-то, куда более значительный, чем его отец, Отец обнимает его в этот миг и прижимает к своей широкой груди, и в этом блаженстве узнавания своего с Ним родства Валька впервые ощущает свою в этом мире значительность. Теперь-то, теперь он знает наверняка: он в этом мире не одинок!

В школе его этому не учат: смотреть по сторонам с особым вниманием испытателя, желающего узнать, что там, за видимой гранью вещей. В школе учат решать задачи, по Валькиному мнению, бессмысленные и не стоящие того, чтобы над ними думать: где-то срывается с места, без всякой на то причины, скорый поезд и прет навстречу точно такому же обезумевшему скорому поезду, и притом по одноклейке, и вопрос в том, когда они встретятся. И дело вовсе не в нахождении того или иного ответа, но в самой нелепости этого занятия, раз и навсегда отвращающего ум от более стоящего применения. Эта очевидная нелепость во всем, от подхалимских родительских собраний до стойкого убеждения учительницы в том, что ученик должен непременно все *понимать*, покрывает дурацкое намерение школы загодя, пока еще только меняются у человека зубы, а голова полна грез, сделать его непригодным для самостоятельных шагов. Вон куда идут все, видишь? И ты иди туда же, по тем же пробитым в черноземе колеям. И это кажется Вальке смертельно скучным. Он уверен, не зная, откуда у него эта уверенность, что каждый приходит в жизнь со своим раскладом намерений и сил, и если от всех требовать одно и то же, никто никогда никуда и не придет, оставаясь вечным, и притом посредственным, учеником. Впрочем, и тут можно найти к свободе лазейку: слушать не скучного, пропахшего педсоветами учителя, но... своего собственного ангела! Валька уверен, что ангел где-то тут, поблизости, и никогда никуда не отлучается, сияя у Вальки над головой своими радужными крыльями. Бывает, Валька обнаруживает во сне, что ангел занят работой: рисует и рисует... и что он такое рисует, пока не понять; но сон становится от этих ангельских картин душистым и сладким, как мед диких пчел.

Мальки растут в прозрачной речной воде, питаюсь больше солнечным светом, чем оброненными крошками хлеба, порой среди них скользнет, поближе к дну, подросшая рыба, с зеленовато-серебристыми и красноватыми плавниками, и тут же улизнет в глубину, в тайны течения. По обе стороны маленькой пристани колышутся, как чьи-то волосы на ветру, темно-зеленые водоросли и ложатся верхушками по течению, блаженствуя на солнце. Чуть дальше, вдоль берега, повластно разросся тростник, дразня трясогозук невесомыми злаковыми кисточками, и вымахавший на два метра ирис ликует на солнце желтизной своих однодневков-цветов, и одуревшие от жары стрекозы стучаются своими круглоглазыми головами о Валькино плечо... Лето! Время, когда ты сам являешь собой часть природы, тесно сходясь с ней. На траве еще не просохла утренняя роса, и можно слизнуть каплю-другую, зажмурившись от внезапно нахлынувшего счастья, и когда-нибудь потом... ах, потом искать у этого счастья оправдание перед своей по нему тоской. Валька внезапно оборачивается: к нему подбегают сзади две тонконогие борзые. «Наташка, – тут же с радостью думает он, – ищет меня!» Впрочем, он не слишком уверен, что именно его, но думать об этом ему приятно.

Обе собаки, эти избалованные диванные куклы, не прочь искупаться и беспокойно носятся теперь вдоль берега, на лету задевая своими невесомыми, как у бабочки, телами головки клевера и ромашек. И Валька, проникаясь их утренней радостью, прыгает «солдатиком» с деревянной площадки и, угодив пятками о дно, оборачивается к ним и машет рукой, но борзые, внезапно замерев, только уставились на него своими мечтательными палевыми глазами, будто выпрашивая, с чего это он ими командует. И тут он видит Наташку, танцующую, словно лесная

фея, на протоптанной в траве тропинке. Она скачет вприпрыжку и вертится на месте, готовая вот-вот унести следом за теплым ветром, под парусом своих медных волос, на другой берег. Она думает, что одна тут, и не стесняется поэтому ни своего, в такт прыжкам, визга, ни едва прикрытой бикини наготы.

Валька никогда раньше не думал о том, что девчонки могут быть голыми. Он часто смотрит на одноклассниц, и многие, ах, почти все!.. ему нравятся, даже те, кто не нравится никому. Ведь в каждой из них есть что-то свое, пока еще не отнятое ни родителями, ни учительницей, и в каждом последующем классе этого своего становится все меньше и меньше, и Валька предполагает даже, что скоро для многих из них наступит смерть... ну, конечно, они будут продолжать туда-сюда бегать и даже, может, сами обзаведутся детьми, но тем не менее... Незаметно подобравшись к деревянной площадке, он рывком выскакивает из воды и, весь мокрый, становится перед Наташкой во весь свой небольшой пока рост. В первое мгновение она, все еще продолжая жить в своем танце, непонимающе пялится на него, словно перед нею возникло выросшее прямо из гущи водорослей чудо, ведь вырастают же за ночь грибы-дождевики. И уже в следующий миг оба, глядя друг на друга, принимаются хохотать, озадачив тем самым борзых, тут же поджавших голые хвосты.

– У тебя на голове тина, – сквозь смех замечает Наташка, – тебе это очень идет!

Усевшись рядом на деревянной площадке, они принимаются смотреть на мальков. Солнце, поднимаясь к полудню, сильно уже припекает, и от Наташкиных плеч, покрытых крепким речным загаром, пахнет смородиной, клубникой и вишней. Ее маленькие, округлые ступни тоже покрыты загаром, ведь ходит она все лето босиком, а на коленках полно царапин. Ей, как и Вальке, поручают кормить кур и уток, и под ногтями у нее всегда остается темная полоска.

– Хочешь, – от полноты внезапно охватившей его радости, предлагает Валька, – я поймаю тебе лягушку? Она вон там, под листом кувшинки, прячется в тени...

Не дожидаясь ответа, он соскальзывает с площадки в воду и тут же приплывает обратно с пустыми руками, но Наташку это не расстраивает, тем более что и лягушка ничего от этого не потеряла. Собаки без конца пьют из реки, едва ступив в воду своими тонкими, голыми лапами, и Наташка, хитро глянув на Вальку, хватает одну из них за уши, как хватают кроликов, и принимается окутать, туда и обратно, с головой, и, выпустив, хватает за уши другую... Осмелев от этого принудительного купания, борзые прыгают разом с площадки в самую гущу мальков, мгновенно их распугав, и от их плеска из зарослей тростника вылетает дикая утка и, обойдя полукругом середину реки, скрывается в камышах. И если напрячь хорошенько слух, можно уловить не только жужжание пчел и шмелей, стрекот кузнечиков и тонкий шелест камыша: сквозь это слышна еще и другая, несравненно более проникновенная музыка, и она не затихает ни на миг. Глянув сбоку на Наташку – может, и она это слышит, – Валька внезапно принимает решение: объявить всему миру, этой реке и плывущему по течению листу, трясогузкам, кузнечикам и прячущимся в камышах уткам, дрожащим после купания борзым и ликующим на солнце малькам, что сейчас, в этот миг, он чувствует в себе любовь! И от этого все в мире становится понятным, все становится на свои места. Рывком поднявшись, он бежит вверх по деревян-

ным ступеням, туда, где только что танцевала на луговой тропинке Наташка: сколько тут ромашек! Они сияют, как маленькие солнца, кивая друг другу, и неповоротливая зеленая златка светится, как изумрудная брошь, в желтой середине цветка, презрев свою короткую жизнь ради многотысячного потомства. Сорвать одну... и эту, и ту... и ромашек не становится на лугу меньше, и все они словно только того и ждут: быть кому-то подаренными. Валька несется вниз по деревянным ступеням и швыряет на колени Наташке целую охапку, успев при этом задеть ладонью ее нагретые солнцем волосы – его обожгло от одного этого прикосновения. Она тут же принимается плести венок и надевает его, как корону, на отливающие медью волосы, и река уносит в своем течении, неизвестно куда, золото и медь, золото и медь... Нагнувшись к севшему рядом с ней Вальке и щекотнув его висок ореолом венка, Наташка таинственно шепчет ему на ухо:

– Я собираюсь стать ветеринаром... лошадиным врачом...

Сказав это, она тут же смущается, словно выболтав никому пока не предназначенное, торопливо встает и зовет борзых, и те бегут уже впереди нее по тропинке, и только венок из ромашек сверкает, удаляясь, на солнце...

По-прежнему сидя на площадке, Валька мысленно повторяет Наташкины слова: «...лошадиным врачом...», и что-то в них отзывается на его собственные мысли о будущем, то есть о том отдаленном времени, когда ему стукнет шестнадцать... двадцать шесть... И ему кажется теперь, под этим полуденным, жгущем спину и плечи солнцем, что за шестнадцатью и двадцатью шестью годами есть какое-то многообещающее продолжение, и он заранее этому благодарен, как бы там оно на самом деле не складывалось. Это новое для него чувство благодарности, он переполнен им, словно раздувшийся парус ветром, и кому-то надо об этом сказать... или оставить это себе? Разве ты сам не становишься от этого обрушившегося на тебя богатства отдельным от других... одиноким? Становишься подставленной солнцу чашей, которую тебе же потом и нести, и еще неизвестно, куда... Куда приходит в конце концов каждый? Не к самому ли себе, одиноко смотрящему на воду, бегущую прочь?

Поблизости мычат в ожидании полуденной дойки коровы, и Валька думает о Белочке: она по-прежнему дает каждый день восемнадцать литров молока, наверняка при этом зная, что скоро ее зарежут. И ему становится так за нее обидно, за всю несправедливость ее коровьей судьбы, что он смахивает с нагретой солнцем щеки слезу, и хорошо, что никто этого не видит. «Стану коровьим доктором!» – внезапно решает он.

– Коровьим доктором! – кричит он, глядя на другой берег реки, где спит под ивовым кустом пьяный с утра рыбак, и река невозмутимо катит дальше свое золотое течение.

Внезапно Валька чувствует, ничего пока не видя и не слыша, что кто-то подходит к нему сзади. Резко, словно настороженный зверек, обернувшись, он видит на Наташкиной тропинке соседку Катьку. В туго обтягивающем мощные ляжки белом трико и ажурной майке с широким вырезом, с выпирающими из него тяжелыми грудями, она идет не спеша, заранее зная, что никуда от нее самое важное не уйдет. Кто-то, может, и засомневается, оценивая ее исключительные габариты: не годится ли вся эта тяжесть и масса для изнурительных земляных, строительных и прочих мужских работ? Но все имеющиеся у Катьки семнадцать лет говорят о другом: побольше косметики и презервативов.

Не спеша подойдя к деревянной площадке, Катька некоторое время стоит, привалившись к гнутым березовым перилам, словно оценивая ситуацию, и только когда Валька снова на нее глянул – о чем он тут же и пожалел, – присаживается рядом с ним. Подвинувшись, насколько позволяет площадка, Валька мысленно командует себе: досчитать до двадцати, а потом... Но не успевает он досчитать и до семи, как Катька обхватывает его своими мясистыми ручищами, и ее густо накрашенные губы умело отыскивают его рот, а язык настырно и жадно проталкивается сквозь преграду его зубов.

– Я научу тебя... – басовито гудит она ему в ухо, – это же так просто...

Но Валька только крепче сжимает зубы: зря она, зараза, так думает. Катька втрое сильнее его, и мысль об этом в первый момент совершенно подавляет его, тем более что ее рука рвет на его изношенных шортах ветхую молнию... зараза!

– Ты такой сладенький, – басит ему в ухо Катька, – беленький, голубоглазенький ангелочек! Давай же я научу тебя!

Валька вертит, как может, головой, извивается всем своим легким, пока еще бесполом телом, бьет затылком ей в нос... и еще раз, и только тогда Катька отпускает его. Кровь течет по ее подбородку, капает на деревянную площадку, растекаясь на солнце темным пятном, и Катька с удивлением, еще не сознавая боли, таращится на Вальку: чего это он так? Придется отстирывать белую майку, а то и выбрасывать. Зачерпнув пригоршню воды, Валька швыряет ее Катьке в лицо и бежит вверх по ступенькам, бежит на луг... Он никогда раньше не бил девчонок, но Катька ведь... какая она девчонка, ей следовало бы родиться отбойным молотком или шагающим экскаватором. Впрочем, он помнит ее, когда сам был во втором классе, совсем не такой: истощенной до обморока худышкой, не способной съесть даже школьную булку с сосиской, всегда сонной и хмурой, не интересующейся ни одной вещью в мире. Она царапала себе до крови руки и ноги, живот и спину, пуская в ход не только отросшие ногти, но также булавки и бритвы, часто приходя в школу с перебинтованными до локтей руками и даже не пытаясь это скрыть. «Самоистязание, – сказала как-то учительница, – тут ничего уже не поделаешь». Да, она истязала себя, стремясь тем самым хоть как-то отвлечься от раздирающей ее изнутри, не затихающей даже во сне боли; но боль эта, вбуравленная в самую сердцевину Катькиного существа, если и отступала, то лишь на миг, чтобы затем вернуться с новой силой, требуя для своего утоления еще более сильные средства. На какое-то время таким болеутоляющим средством стала для Катьки еда: на нее внезапно обрушивались такие приступы голода, что она ела все подряд, что только находила на кухне, не замечая ни вкуса, ни запаха, а потом бежала в туалет, и ее рвало. Она стала поэтому наедаться впрок, когда никто ее не видел, быстро прибавляя в весе. Но утихшие были муки хлынули через эту временную плотину, как только у Катьки начались месячные: голод ее стал другим, еще более ненасытным. Перележав со всеми, кто был в деревне до этого охоч, Катька вовсе не искала себе, как другие, мужа или хотя бы сожителя, ее влекло одно только *унижение*, которому подвергались, сами того не ведая, мужчины: все они вождедали только к *мясу*. Это *унижение другого* и стало главной Катькиной пищей. Живя через забор от Вальки, она часто смотрела на плечистого тридцатисемилетнего электрика, и тот хоть бы раз на нее глянул, даже здороваясь с ней, и это наводило Катьку на подозрение в какой-то непонятной неуязвимости соседа, его полном безразличии к «мясному», его вегетарианской *верности* своей, со ско-

рой помощи, медсестре. Откуда она, верность, вообще берется? Все как один, с которыми лежала Катька, мужики могли бы поклясться в верности только своему блюду, молодые и старые, которые «ничего» и которые «так себе», и даже Борисыч, при своей седине и завидном на деревне уме, и тот предпочел давно протухшему долгу порядочности – спрашивается, долгу перед кем? – бесстыдную возню в кустах.

Прибежав домой, Валька долго сидел в своей комнатухе, с тревогой прислушиваясь, не спрашивает ли кто его; он был уверен, что от Катьки просто так не отвяжешься. Но привычные мирные звуки двора – тьяканье Бени и басовитый лай Брюса, кудахтанье, криканье, хрюканье – быстро его успокоили, так что ему уже стало стыдно своего перед толстухой страха. «Вот возьму, – задиристо думает он, выглядывая в коридор, – и забросаю ее через забор гнилыми сливами!» Все до одной сливы он собирает для свиней, так же как и упавшие червивые яблоки, а осенью на огороде вздуваются среди бурьяна такие огромные тыквы, что их приходится сначала разрезать на части, а потом уже тащить в свинарник. Подумав о кастрированном недавно хряке, Валька идет на кухню и накладывает полную миску оставленной для него самого молочной овсяной каши.

Снова пришел Борисыч, на этот раз без собак, и хряк, едва почуяв его, забился в самый темный и вонючий угол и сидел там, пока тот не ушел.

– Ну что, поедешь со мной на охоту? – игриво спрашивает он у Вальки, заранее зная, что тот давно уже об этом мечтает. – В городе на водохранилище поселились черные утки, их там несколько штук, надо только подойти на плоскодонке к камышам, и грести будешь ты, пока я буду целиться. Ну как?

Валька решительно кивает, будучи при этом в сомнении: какие такие черные утки?.. зачем их стрелять?.. Но согласие его уже получено, Борисыч удовлетворенно треплет его по плечу, слегка ущипнув за щеку: скоро поедем.

Черные утки завелись, к большому изумлению Вальки, неподалеку от пляжа и окружавших его многоэтажек, на отвратительно замусоренном берегу водохранилища, давно уже превратившегося в большое вонючее болото, куда сливаются стоки нескольких заводов, а также канализации. В одном месте, неподалеку от химзавода, стоки такие горячие, что даже зимой, в двадцатипятиградусный мороз, над водой стоят густые клубы пара, а жители ближних домов считают это место курортным, а купание целебным. Черные утки были, видимо, того же мнения, поселившись именно тут, неподалеку от домов, хотя и в надежном от посторонних укрытии: среди густо разросшегося, оплетенного диким плющом, камыша. Летом они беспечно плавают туда-сюда на виду у купающихся, то и дело ныряя и сверкая на солнце оранжево-красными лапами, и клювы у них тоже красные, а шея намного длиннее, чем у обычных уток, так что в их осанке есть что-то горделивое, лебединое. Зимой же, вопреки законам природы и благодаря теплоте, с химзавода, течению, утки никуда не улетают, оставаясь при своих спрятанных в камыше гнездах, и, выходя из воды на снег, сверкают оранжево-красно-черным, словно флаги неизвестной державы.

– Да, но зачем же их отстреливать?.. – исподлобья глянув на Борисыча, интересуется Валька.

– Дурак, – благодушно замечает Борисыч, – они же такие красивые! Я думаю набить пару чучел.

– Разве чучело красивее живой утки? И потом...

– Ничего ты в жизни еще не понимаешь, – перебивает его Борисыч, – и ты нескоро это поймешь: смерть гораздо надежнее жизни. Смерть... – тут Борисыч задумывается, – ...универсальна! Чучела я поставлю по обе стороны телевизора, чтобы смотреть на то и на другое. Значит, едем?

Вскинув на Борисыча пристальный зелено-голубой взгляд, Валька, не отводя глаз, кивает:

– Едем.

Минздрав предупреждает тоже оказался в охотничьей компании, хорошо зная свои обязанности спаниеля: буксировать подстреленную утку к лодке. Сотовая связь же, ввиду своего интересного положения, осталась в темной прихожей, ждать и скулить от обиды: один только вид двухстволки будит в ней охотничью прыть.

Пока Борисыч надувает резиновую лодку, Валька прохаживается вдоль берега, по замусоренному окурками, пивными банками, старыми пакетами, пластиковыми бутылками и всякой другой дрянью песку, и ему неохота даже разуться, ступать босиком по этой мусорке, и он пока еще в большом сомнении относительно уток: вряд ли какая-то птица решится тут жить. Тут могут жить только люди. Они смотрят из своих высокоэтажных окон на искусственный, намытый водокачкой пляж, не видя при этом ни воды, ни песка, ни даже тени обступивших этот пляж унылых строений: они видят лишь свою скуку и пустоту. Будь это совсем не так, они давно бы уже убрали весь этот, загадивший песок, мусор... и если бы только песок! Возле самого берега на воде покачиваются те же пивные банки, разорванные коробки, бумага, куски пенопласта... да тут настоящая свалка! Должно быть, собравшись искупаться, обитатели домов сначала разгребают себе «заливчик», и уж потом, зажмурившись, бросаются в тепленькую, застоявшуюся воду. Да и сама эта вода... тут Валька с отвращением принимает: гнилая, сплошь покрытая зеленой пленкой ряски. Внезапно он видит на поверхности какое-то необычное движение: что-то живое плавает туда-сюда, высунув из воды небольшую круглую голову. «Крыса, – думает Валька, – а может, какая-то нутрия...» Осторожно, чтобы не спугнуть зверька, он подходит к самой воде и присматривается: животное ходит по поверхности кругами, а точнее, нанизанными друг на друга восьмерками, оставляя среди зелени не сразу затягиваемый ряской след. По этим следам можно прикинуть пройденное таким образом расстояние, что составило бы за день несколько километров. И когда животное, гонимое какой-то своей непонятной нуждой, приближается на мелководье к самым Валькиным ногам, он в страхе отскакивает от воды: это же... рыба! Ее пятнисто-коричневая спинка с торчащим плавником целиком видна на поверхности, и только хвост еще работает в воде, с видимыми усилиями, а открытый рот жадно хватая воздух. Эта рыба умирает. Должно быть, в ее торчащей на поверхности голове, уже отданной солнцу и суховетю, доживает последнее в этой ее рыбьей жизни возмущение: люди могут переселиться отсюда черт знает куда, а рыбе куда податься?.. она ведь вся тут, в этой луже, когда-то бывшей вполне приличной рекой и к тому же притоком Дона. «Но что же с ней делать?.. – изнемогая от жалости, растерянно думает Валька и тут же деловито решает: – Отвезу ее на Дон, только бы дожила до вечера...» Когда проезжали с Борисычем по мосту плотины, отделяющей городское болото от живого пока еще Дона, Валька ужаснулся самому виду

этого дьявольского сооружения: сплошной тюремный частокол. Кто-то озадачил же строителей этим умопомрачительным предприятием... ясное дело, Сатана, хотя строили, конечно, во имя светлого будущего. Валька уверен, хотя учительница точно поставила бы ему по истории кол, что наряду с разными большими начальниками и остальными выдающимися недоумками колесо истории вертят черти, в свою, разумеется, сторону. Да, но что же делать с рыбой...

Лодка надута, и первый прыгает в нее Минздрав предупреждает, смахнув висячими ушами зацепившуюся за весло ряску. Давай, Валька, за весла! Теперь остается только найти утиное место, и у Борисыча с собой бинокль. Сначала идут вдоль берега, хлюпая веслами по зеленой жиже, но ближе к камышам останавливаются, благо что никакого течения в луже нет, и Борисыч прилипает глазом к биноклю... но первый замечает утку Валька. Угольно-черная, с красным клювом и вертикально поставленной шеей, она неспешно плывет, ничего плохого для себя не ожидая, слегка покачиваясь на поверхности стоячей воды. Валька смотрит на нее с восхищением, вмиг забыв, зачем они тут, и Борисыч наконец тоже видит ее и тут же берет ружье, и вместе с выстрелом в воду плюхается Минздрав предупреждает, и быстро возвращается вплавь с добычей. «Вот оно, значит, как... – растерянно глядя на обмякшее тело птицы, думает Валька. – Да, но зачем?» Они идут дальше вдоль камышей, то и дело зарываясь в самую их гущу, но уток больше не видно. Не оставляя ни на минуту весел, Валька косясь на лежащую возле его ног добычу, и стеклянный красный глаз сердито следит за каждым его движением, а из алого клюва медленно капает на дно плоскодонки густеющая уже кровь. «Может, она еще живая...» – пытается он обмануть себя, налегая на весла. Он порядком уже устал, да и время перевалило далеко за полдень, пора уже было съесть хлеб с салом, завернутый матерью в салфетку. Подумав о еде, Валька чувствует вдруг такой голод, что едва не бросает на ходу весла. Но его возвращает к делу неожиданный выстрел Борисыча. Минздрав предупреждает тут же прыгает в воду и плывет наугад, еще не зная, где добыча, и тут грохает второй выстрел, и с собакой что-то происходит... неужели ошибка, непоправимая ошибка?! Гребя изо всех сил в сторону Минздрава, Валька задыхается, в глазах у него прыгают красные черти, в ушах стучит, как на спортивном финише, сердце. Собака плавает среди ряски и кровавых пятен, и только глянув наконец на Борисыча, Валька понимает, что произошло: тот едва заметно усмехается плотно сжатым под седыми усами ртом.

– Ты... – еще не отдышавшись и не замечая, что говорит «ты» такому важному дядьке, набрасывается на него Валька, – паскудное старое дерьмо! Вонючий брехун! Крысиная блевотина!

Вскочив на ноги, он выхватывает из рук Борисыча двухстволку и с размаху швыряет ее в воду, туда, где плавает еще среди ряски труп Минздрава. Оторопело на него глянув, Борисыч еще не понимает, что произошло, и только вяло мямлит:

– Кобель уже старый, его усыплять стоит пять тысяч, да и хоронить потом где-то надо... Но мое ружье! Твой отец заплатит мне! Заплатит!

К берегу идут в мрачном молчании, Борисыч гребет сам, не глядя на Вальку. И только когда уже сели в машину, Борисыч указывает рукой на застылую зеленую жижу и четко, как учительница на уроке, говорит:

– Смотри, Валька, это и есть твое будущее! Это затянутое ряской гнилое болото! Это и есть Россия!

Глянув на замусоренный берег, Валька видит мертвую, уже облепленную мухами, рыбу.

Думать о будущем – занятие само по себе напрасное, если при этом согласиться с непоколебимым, как кремлевская стена, мнением о том, что сам ты зажат между рождением и смертью и нет тебе больше никуда хода. Мнение это, впрочем, складывается из еще более прочных, не пробиваемых никакими сомнениями убеждений в нерушимой двойственности этого проклятого мира, в котором добро неизбежно помножается на зло. При этом зло выбирает для своего благоденствия низы, добро же взвивается в небеса, назло, между прочим, злу. В промежутке же между ними, куда следовало бы поместить что-то третье, держащее в узде низ и верх, обычно ничего не находят, и на этом пустом месте зло назначает добру тайные свидания. Тайна этих интимных встреч состоит в том, что добро снимает наконец с себя ангельские одежды и смотрит на себя в зеркало: ну чем оно, добро, не зло? Любуясь собой, добро кичится своей недосягаемой высотой, своими крылатыми словами, своей горячей страстностью и пылом самовозгорания, не забывая при этом, что земля тут ни при чем и что пора бы уже привыкнуть к бесполезности и бесплодности красивых поз и положенных на рельсы голов. «Мы ведь с тобой одного пошиба, – интимно нашептывает добро злу, – мы только сюда командированы, в мир наживы и пустых мечтаний, и мы презираем этот мир как недоразумение... Слышишь? Это поют в нашу честь государственные и прочие гимны. Поют стоя, не шелохнувшись, с серьезным выражением давно угасших лиц. При этом... – тут добро панибратски подмигивает злу, – никто не сомневается, что именно я и есть добро, никто пока еще не пронюхал причин нашего с тобой сожительства, и мы хоть и тянем, каждый в свою сторону, но цель-то у нас одна: оставить середину по-прежнему пустой».

В этой таинственной середине, куда нет-нет да и заглянет ненадолго солнце, происходят порой удивительные вещи: здесь преодолевается смерть. Валька понял это, глядя на убитую черную утку, на застывшую возле берега мертвую рыбу: в нем самом, в самой горячей его глубине, птица и рыба по-прежнему живы. Они стали частью его самого, и он стал от этого только богаче, и в нем появилась уверенность в *будущем*. Скорее всего, дело обстоит так, что весь этот свежий, утренний, росистый, солнечный, цветущий и плачущий мир рано или поздно попросит у него, Вальки, приюта. И надо быть для этого достаточно широким и глубоким, достаточно вместительным. Не заученный в школе урок, но *переживание* своей полноты, своей достаточности для самого себя, это и есть то *обучение*, ради которого каждый взрослеет. На какой-то миг Валька и в самом деле чувствует себя взрослым... ах, сколько на него сразу наваливается серьезности! И ему кажется в это мгновение, что он не один, даже когда рядом никого нет: к нему склоняется своей сияющей диадемой солнечный ангел.

Да, но будущее... Оно обещает уже сегодня полное и окончательное разбирательство с бедностью и нуждой, оно манит к себе не только благосостоянием, но совершенной уже ненужностью согреть свои мысли тяжким трудом сердца, оно гарантирует абсолютное, как у нового трактора, здоровье. От этого будущего пахнет искусственной черной икрой и нефтяным дезодорантом, и нет в нем никакого намека на несогласие с засильем законов механики. Но самое, пожалуй, главное, оно исключает, это хорошо обустроенное будущее, *сознательное* пережи-

вание смерти: в нем не остается больше контраста между небытием и обледенением медленного умирания.

Дымные облака на горизонте кажутся теперь ближе. Никто пока не опасается пожара, но стали на всякий случай набирать воду, в садовые баки, ванны и ведра, а на ближних к тополиным посадкам дворах держат скотину взаперти, и козы тревожно блеют из-за высоких, залатанных жестью заборов.

Ближе остальных к тополиным посадкам стоит дом Евдокии Андреевны, выходя огородом на заросший донником пустырь, где лежат пасется теперь, неохотно поднимаясь на ноги, Белочка. Рядом привязывают черно-белую пугливую телку, которая, хоть мать и рядом, то и дело настойчиво мычит, принюхиваясь к задымленному воздуху. Витьке поручено смотреть за Белочкой в окно, чтобы та, не дай бог, не собралась вдруг по собственной воле умереть, испортив тем самым качество говядины, и Витька время от времени пялится на пустырь, не замечая, впрочем, ни коров, ни разросшегося на солнце донника, ни темного облака на горизонте. Вот уже четвертый день он трезв, а потому растерзан и подавлен неуютной никчемностью окружающего мира: куда ни глянь, мерзость и пустота, а если подумать о себе, то хочется только одного – повеситься. От кого-то он слышал, что есть, оказывается, на земле хорошие страны, где мужики женятся на мужиках и даже венчаются в церкви, у таких же, как они сами, мужеложных попов, и все это прилично и по закону. Но страны эти от Донского, увы, не близко, и хода туда просто так нет... да и есть ли они вообще, тоже вопрос. Уставясь на пустырь, над которым буйствует жаркий ураганный ветер, пригибающий к земле стебли отцветающего шалфея и высыхающего репейника, Витька вспоминает вдруг, как к нему в первый раз пристал приезжий армяшка: одурачил, а денег, как обещал, не дал ни копейки. Но уже в следующий раз, тем же самым летом, Витька потребовал деньги вперед, получив к тому же старый, со стертymi кнопками, мобильник, который он тут же уступил соседу за две бутылки местного самогона. И когда мать, узнав, в чем дело, стеганула его, тогда еще подростка, коровьим кнутом, он понял, что с ним что-то не так, что он, возможно, урод и недоносок, а может, и еще хуже. С тем он и отбыл четыре года спустя в армию, а вернувшись, увидел, что незачем ему было и возвращаться. Один раз, впрочем, на похоронах отца, умершего незаметно и тихо, словно тайком, Витька обнаружил странную в своей жизни пробоину: не было такого человека, скотины или вещи, которые бы он любил. Он терпел возле себя мать, с ее строгим коровьим порядком, нисколько не интересуясь ее заботами и склочно торгуясь с ней из-за вырубленных за молоко, сметану и творог рублей. И мать, чуя в нем безнадежный холод, вековые и вечные льды, застылую пустыню безразличия и скуки, только плотно сжимала тонкие губы и тайком, наедине с коровами, вздыхала и крестилась, и те, понимая ее без слов, лизали ее пахнущие молоком руки.

Между тремя и четырьмя часами, в самое пекло, солнце внезапно ушло в пригнанную ветром тучу, словно нырнув в глубокий омут, оставив небо неестественно пустым, как в послезакатных сумерках. Коровы тревожно поднимают на пустыре голову, раздувают влажные ноздри, протяжно мычат. Мать уехала в город, и Витька вовсе не собирается один возиться со скотиной. Выйдя на веранду, он смотрит на оставшуюся возле собачьей будки цепь и пустую миску, зевает и... так и остается стоять с открытым ртом: в верхушках тополиных посадок бушует

на ветру пламя. Огонь прилетел, как какое-то проклятье, по воздуху, и ветер, разносчик несчастья, только усиливается, заметая последние на небе просветы черным покрывалом пепла. Теперь уже слышен треск пожираемых огнем веток, и ветер срывает пляшущие в воздухе языки пламени и швыряет их на соседние деревья, и вот уже вся полоса тополиных посадок стоит в огне...

Все еще загипнотизированный этим диким зрелищем, Витька докуривает, один за другим, оставленные в пепельнице бычки, не замечая ни мычания коров, ни суматошного движения на улице. Кто-то везет на прицепе легковушки наполненные водой баки, другой катит ведра с водой на тачке... но Витьке нет до этого ни малейшего дела. Что, собственно, изменилось бы в его проклятой жизни, окажись всё Донское в огне? Что было для него в этой жизни ценным? Докурив последний бычок, он нехотя плетется на пустырь и принимается отвязывать Белочку, и когда та, через силу поднявшись на ноги, тут же снова оседает на траву, словно сдувшийся мешок с костями лопаток и ребер, он со всей дури пинает ее в морду, в большой и влажный коровий глаз... Он не замечает, как черно-белая телка выдергивает удерживающий ее на месте столбик, и несется вместе с ним и тянущейся сзади веревкой прочь, посрамляя лошадей резвым коровьим галопом. Ее отсутствие он замечает только в сарае, куда впахивает, матюкаясь, Белочку, но искать по деревне пропажу, да еще в такое дымное время, он вовсе не собирается: набегается, придет сама. И тут он припоминает, что у матери припрятаны где-то две бутылки водки на случай, если Борисыч придет резать корову, и мысль об этом совершенно захватывает его, словно он был уже пьян. Порыскав на кухне, он спускается, едва не сорвавшись с лестницы, в погреб, но ничего не находит и только окончательно озлобливается: вечно мать от него что-то прячет! Пора уже ей, старой, смириться с прихотями сына, тем более что он у нее один. Ему вдруг становится так себя жалко, что к носу бежит соленая слеза, застывая на небритой губе. И он идет в отгороженную от зала комнатушку, где стоит железная, с шишечками, кровать матери, опрятно заправленная тканым покрывалом с торчащим из-под него кружевным краем и кружевными накидками на огромных подушках, и... злобно сдергивает покрывало на пол. Обе подушки тяжело плюхаются на домотканую дорожку, и Витька пинает их ногой, как недавно пнул корове в глаз, и садится в отчаяньи на пол, и вдруг, внезапно о чем-то догадавшись, лезет под кровать... Там! Там возле самой стены стоят обе заветные бутылки. Одну он опорожняет тут же, сидя на полу и даже не замечая ни крепости, ни вкуса, другую берет с собой на кухню, куда плетется, спотыкаясь о стулья и наталкиваясь на стены. Сев за неубранный с обеда стол, он плеснул немного водки в невымытый стакан, плотнул и уронил на клеенку усталую голову...

На улице хаос и неразбериха, все, у кого есть машины, возят к тополиным посадкам воду, поливают землю вокруг горящих тополей, но ветер, словно насмехаясь над напрасностью этих усилий, рвет пламя в клочья и швыряет его на крыши домов, и пламя тут же прирастает к резным деревянным карнизам и ставням, и знающие все наперед старухи тащат из домов иконы и, крестясь, голосят:

— Горит Расея синим пламенем!

Оно и вправду синее, это свирепое, в ярости суховея, пламя пожара. Из домов выносят, кто что может, кто телевизор, кто свернутые комом матрасы и одеяла, кто-то застревает в дверях с платяным шкафом,

диваном, столом... Скотину гонят, в дыму и панике, на луг, поближе к Дону, и коровы наперебой с козами оповещают сбитых с толку людей: «Горим!»

Пожарные приехать не спешат, горит ведь не только в Донском. И когда рухнула кровля ближайшего к посадкам дома Евдокии Андреевны, многих взяло сомнение: будет ли вообще от кого-то помощь. Это еще больше усиливает панику, многие попросту застревают посреди улицы, стоят и глазют, как пламя забирает их дома, и мысли теперь у всех одни и те же: «Значит, наказание, тут ничего уже не поделаешь...» И каждый отыскивает у себя хорошо припрятанные прегрешения, а то и преступления, и втайне умоляет строгого молчаливого Бога сказать хоть слово... но тот отмалчивается. Из сарая молочницы слышится отчаянное мычание Белочки, но никто не двигается с места: спасать скотину, когда своя шкура горит?

Валька едет в машине с отцом, и оба мрачно серьезны: достанет огонь их дом или нет. Дом бабушки, правда, стоит далеко от посадок, но ветер... Воздух теперь пересыщен гарью, на лицах черным слоем лежит копоть. Увидев горящий дом Евдокии Андреевны, Валька упрашивает отца остановиться. Зачерпнув двумя ведрами воду из бака на заднем сиденье, он бежит, обливая себе водой ноги, к сараю. Пламя схватило уже стены, внутри полно дыма, и Валька, ливанув воду на порог, ныряет наобум в темноту, и тут же наталкивается на затихшую уже корову. Она так и не смогла подняться на ноги.

Тополя стоят обугленными черными рядами, указуя в небо своей несостоявшейся вертикалью. Они будут стоять так не один год, пока кому-то не придет в голову, что жить в соседстве с этим кладбищем невозможно, и тогда их повалят и бросят гнить где-нибудь поблизости, в овраге, куда стекается весной талая вода.

Эти черные, на фоне задымленного неба, знаки будущего. И оно не такое уж и далекое, стоит только отвлечься от неудобств смотреть еще дальше... смотреть на самого себя. Разве это не самая великая в мире работа? Ею почти никто, впрочем, не занят.

Из соседнего села приехал батюшка, навести в угорелых головах, а заодно и в природе, порядок. Он приехал на несусветно дорогом черном «мерседесе», с высоко торчащим над кабиной золоченым крестом, и многие тут же на это крест стали молиться, осеняя себя торопливыми, пугливыми, почти воровскими движениями сжатых в щепоть пальцев. Батюшка совсем еще молод, едва за тридцать, но его черная, холеная, мелко вьющаяся борода говорит о многом: такие бороды просто так, сами собой, не вырастают. Лицо его, несмотря на свежий еще возраст, имеет измученно-желтый цвет, словно внутри у него беспрерывно кипит карбид и сера, а в черных, маслянистых, плаксивых глазах стоит неутолимая тоска и еще более неутолимая, скорее всего, запретная страсть. Но вид дьявольски дорогого черного «мерседеса» убеждает всех в истинности батюшкиного вмешательства в разгул природы, и бабы без всякой на то команды выстраиваются в послушную очередь, намереваясь топтать пешком три километра, под защитой и водительством развевающейся на ветру хоругви. И присоседившийся к ним, удравший со двора вместе с цепью Брюс важно идет сбоку, будучи, как собака, предан важному человеческому делу.

Валька хотел было тоже пойти с ними, интересно ведь, куда они так придут, но ненароком глянул батюшке в глаза, когда тот садился уже

в свой «мерседес». Он глянул на святого отца, как на непонятное пока еще чудо, неизвестно зачем явившееся в толпу толстых, в простых ситцевых платьях, баб. Он глянул, чтобы понять, не долгожданная ли это весть о доме, порядке и чистоте, не обещание ли это защиты от глупости, подлости и вранья. И в батюшкиных черных, как маринованные маслины, глазах вспыхивает еще более маслянистая чернота, обдавая Вальку с ног до головы шипучей смесью подозрительности и ненависти: как смеешь, поганец, на батюшку в упор смотреть! И золотой крест над черной кабиной «мерседеса», и крест на черном габардине рясы сверкают злобным, лязгающим оскалом: как смеешь! И Валька, удивленный тем, что все-таки *смеет*, шагнул было назад, но тут же задрал, как для пощечины, голову, не сводя с батюшки зелено-голубых, прозрачных глаз. И батюшка отводит взгляд и торопливо садится в машину, дабы указать бабам верный до церкви путь.

Огонь становится все более жадным, горит уже вся улица, обдавая жаром и деловитым треском разрушения лимонно-желтое вечернее небо. Садясь в пепельные тучи, солнце вроде бы ничего уже и не значит, уступая хитростям то здесь, то там вспыхивающих фейерверков над крышами догорающих домов. И это уходящее ни с чем солнце кажется Вальке обворованным и непонятым, да просто преданным, если не сказать, осмеянным. Над головами людей, над всем их имуществом властвуют теперь пламя и дым: никто не желает ничего понимать, все только *ждут*. Эта всеобщая очарованность ожиданием! Как будто откуда-то со стороны может в самом деле прийти помощь. А она прийти ниоткуда, кроме как от самих этих людей, не может, но даже если кто-то и понимает это, все равно предпочитает ждать. Да ведь и батюшка так советует: надейтесь и ждите, и Бог вам даст. С этим Валька категорически не согласен, будучи совершенно уверенным в обратном: Бог хочет, чтобы *ему* что-то дали. Ну сколько можно нянчиться с придурками, не желающими умнеть? Сколько можно намекать и подавать знаки, устраивать знамения и даже самому являться и бродить среди людей по земле? У Бога было на это достаточно терпения. Он, может, уже устал, да и возраст... Валька вспоминает о бабушке и хочет тут же ей позвонить, но телефон и так заныл и затрясся у него в руке: она звонит ему сама.

Среди немногих не тронутых огнем домов на улице оказался и дом Борисыча. Сложенный из самодельных арболитовых блоков и покрытый цементной «шубой», дом этот мог в одночасье сгореть, но судьбе недосуг было пока трогать это громоздкое, неуклюже вписанное в остатки вытоптанного сада строение. Внутри дома прохладно и темно, выключены все лампы, и только маленькая свеча освещает на кухне озабоченные лица хозяев, сидящих друг против друга с наскоро приготовленным ужином. Жена Борисыча, долговязая, плоская в груди, с неизменно кислым в любую погоду выражением раз и навсегда застывшего лица, хотя и не старая еще дама, имеет насчет пожара свое твердое мнение, сводящееся к тому, что надо принять меры... немедленно! Надо тушить! Она готова сама стоять ночь напролет с садовым шлангом в руке, целясь вялой струей в дразнящие темноту языки пламени, а если надо, то и залезть на крышу. Эта ее решимость немало смущает Борисыча, и мнение у него на этот счет совсем иное: пожаром надо... пользоваться. И ему приходится долго, едва сдерживая раздражение непонятливостью жены, разьяснять, какая может быть лично ему, а также ей, дуре, польза от случившегося. Недоверчиво уставясь на него

выцветшими, как застиранная тряпка, глазами, жена то и дело открывает рот, намереваясь решительно возразить, но в конце концов так и остается сидеть с открытым ртом, забыв о недоеденном ужине: каково, однако, поэтическое воображение!

Принеся из сарая охапку соломы и ворох старых газет, Борисыч лезет по стремянке на чердак и, плеснув на газеты керосином, щелкает зажигалкой. И как только огонь побежал по сухому деревянному полу, а дым начал валить из маленького окошка, Борисыч удовлетворенно спускается вниз и принимается, согласно логике пожара, выносить из дома вещи. Много, правда, вынести ему не удастся, и они с женой сидят на спасенном кожаном диване под яблоней, наблюдая, как крыша с болезненным «ахом» рухнула на охваченные огнем стены.

Будучи не в силах что-либо на это сказать, жена только пялится, словно выброшенная на песок рыба, в бессмысленность окружающего ее воздуха, пока наконец из ее плоской груди не вырывается шумный, как гудящее пламя, рев:

– Моя швейная машина!!!

Она получила ее в приданое и с тех давних пор без устали шьет наволочки, пододеяльники, халаты и трусы, тем самым значительно экономя и отвлекаясь от повседневных неистощимых препирательств с мужем. Только теперь до нее по-настоящему доходит: помимо скучного сидения за компьютером в банке, шитье есть главное в ее жизни занятие, да и сама швейная машина, хоть и ножная, не уступает новым, автоматическим...

– Мои наволочки!.. ночные рубашки!.. чехлы для стульев!

Всё это теперь в огне. Скосив холодный рыбий глаз на мужа, она обнаруживает на его свежевыбритом, с короткими седыми усами, одутловатом лице нечто вроде ухмылки: этот мерзавец не ценит ее рукоделия, ее, быть может, единственной в браке радости! И сдерживаемая годами и десятилетиями злоба на мужа – так тебе!.. так!.. так!.. – придает силу ее дряблым рукам, не считаясь ни с хрупкостью золотого, с топазом, перстня, ни с протестующими криками Борисыча, прижимающего платок к расцарапанной в кровь губе.

– Дура, – наконец схватив ее за руки, свистяще шепчет ей в лицо Борисыч, – нам же хорошо заплатят! Накануне-то выборов! И дом как миленькие построят новый! А то ведь пришлось бы делать капитальный ремонт, тут и крыша течет, и трубы все проржавели, и полы везде прогнили...

Дом этот Борисыч купил у проживавшего там алкаша всего-то за миллион, четыре больших комнаты с кухней, кладовками и подвалом. Обои наклеили новые, покрасили пол, но в остальном же все осталось, как при алкаше, никудышным. Была, правда, у Борисыча мысль продать строение за два миллиона, но покупатель пока не нашелся. А тут... пожар!

– Вот увидишь, – увлеченно продолжает Борисыч, – правительство раскошелится! Денег на обустройство дадут, и новенькие срубы понагородят со всеми удобствами! Дело стопроцентно выгодное!

Жена тупо смотрит на него и кивает, он, как всегда, мерзавец, прав. И его правота подкрепляется тем, что и соседние крыши тоже дымятся, и люди на улице, как кажется ей теперь в ее покорной застылости, лезут на крыши с соломой и керосином...

Швейная машина стоит в боковой, с маленьким окошечком, кладовке, где даже в солнечный день бывает темно и постоянно горит

заржавевшая трехрожковая люстра. Тот угол дома еще не был охвачен пламенем, и Борисыч, ради одного только внимания к прожившей с ним тридцать лет дуре, соглашается-таки вытащить швейную машину во двор. В самом деле, вещь полезная и достаточно пока дорогая, эта упакованная в деревянный полированный ящик штукавина, хотя и чертовски громоздкая. К тому же для воевавшего в Афганистане, бывшего офицера огонь – суший пустяк, тем более что кладовка пока и не горит. И видно, сама судьба благоволит к Борисычу: едва он надумал сунуться в горящий дом, как среди кустов бузины появляется Валька.

В грязных штанах и разорванной майке, с перепачканным сажей лицом, он со всей серьезностью взрослого мужика требует, чтобы Борисыч шел с ним возить воду, но когда узнает, что тому надо вызволить швейную машину, тут же шмыгает следом за ним в дом. В заваленной вещами кладовке так тесно и к тому же темно, что оба могут лишь на ощупь ухватиться за края скользко полированного ящика, и в ту же минуту на их головы и плечи обваливается с потолка панель, больно ударив, оглушив и прижав обоих к полу. Едва придя в себя под тяжестью плиты, Валька напрягает, как только может, спину и плечи, постепенно высвобождая голову, и рядом с ним ворочается Борисыч, тщетно пытаясь выползти из ловушки.

– Держи, Валечка, еще... еще... – возбужденно бубнит Борисыч, пытаясь ухватиться рукой за край двери. – Держи...

Валька дрожит весь от натуги, воеет и пищит, но держит на себе проклятую арболитовую плиту, и нет у него никаких больше сил... но он держит, зная только одно: надо выдержать. Надо выбраться из этой кладовки, уже наполняющейся дымом. Борисычу удается наконец выползти из-под плиты, и Валька едва не оказывается вмиг раздавленным: одна голова только и торчит наружу. Сейчас... сейчас Борисыч приподнимет проклятую плиту, сейчас...

– Да... – суетливо мямлит Борисыч, становясь сначала на четвереньки, а потом поднимаясь у двери во весь рост, – ...ничего тут уже не поделаешь... Все равно у тебя нет никакого будущего...

Дым валит из маленького окна кладовки.

На подходе к церкви батюшка вылезает из машины, чтобы поставить баб в строгий ряд и самому взять в руки хоругвь с темным и мертвым ликом святого. Бабы, до этого протопавшие три километра, со своими иконами в заскорузлых от работы руках, покорно ждут команды, смиренно веруя в то, что им за одно только это смирение воздастся уже на пороге церкви. Но, не успев сделать первый, торжественный и просительный шаг, батюшка замечает встрявшего в процессию кобеля. Брюс смотрит в его сторону, высунув от жары язык и панибратски виляя хвостом, выражая всей своей собачьей наружностью крайнюю заинтересованность в успехе предприятия. Такого к себе *доверия* батюшка не встречал даже со стороны исповедующихся у него спонсоров, и это ведь всего-навсего дворовый и беспородный пес! Что подумает Господь, разглядев в задымленной темноте такое вот со скотом... соитие! Наступая себе на подол рясы, батюшка спешит к машине, хватая с сиденья тяжелую трость с позолоченным набалдашником в виде распятия и, грозя ею кобелю, окатывает толпу баб зычным, словно от самого Господа, распоряжением:

– Бейте эту поганую тварь!

Бабы, все до одной толстые и неповоротливые, как-то не сразу соображают, кого надо, во имя Господа, бить, упуская тем самым драгоценное время: мгновенно изменив тактику, Брюс отпрыгивает в сторону и, на ходу хватанув батюшку за полу рясы, несется прочь, унося в зубах клочок добротной материи. Ему, кобелю, невдомек, о каком таком Господе бормочет этот бородатый придурок, когда есть одна на всех живущих великая мудрость мира. И эта всепобеждающая, да, эта *веселая* собачья мудрость ведет его обратно в Донское.

Приехала пожарная машина, и сразу к школе: надо спасти прежде всего государственное имущество, люди же пусть подождут, тем более что они и вправду чего-то ждут... Здание школы так себе, хрущевский силикатный кирпич, третьесортный бетон, гнилой линолеум, унылая серость местами облупившейся масляной краски. Дети взрослеют в этом унылом здании уже к тринадцати годам, становясь именно теми, кем видит их мертвая педагогика настырной, как осенняя муха, учительницы: потребителями материальных благ. Сами эти блага, с этикетками «материнского капитала», «взэ», «иномарки» или «работы в офисе», ни в коей мере не касаются личности тринадцатилетнего взрослого, но только взбивают пену пожизненного самомнения, и ключья этой пены висят на дорогих айфонах, ключах от квартир, айподах, проткнутых булавками ушах, носках и татуированных пупках, и бывает, что весь человек оказывается в пене... «Наши ученики», – с гордостью говорит учительница, и гордость тут же уточняет: «Они несут дальше по жизни то, что мы сами так и не сбросили с плеч, да, *нашу* приверженность внешней стороне дела!» Учительница в курсе, что любое «взэ» покупается и продается, и ей поэтому незачем ломать о бараньи лбы копыя *радости* учения и *благодарности* познанию: она попросту *выставляет* в журнале оценки. Да, собственно, чему этих охламонов учить, когда все и так уже есть в компьютере.

Осмотрев здание школы со всех сторон, пожарные приступают к делу, и уже через четверть часа асфальтовая площадка перед входом становится большой лужей, в которой плавает, принимая себя за луну, наполовину разбитый фонарь. Пожар *предотвращен*, о чем следует немедленно сообщить... да, сообщить самому президенту, пусть прийдет, если не забудет, пожарный колокол с веревкой, другим ведь присылал. А может, поскольку дело идет к выборам, президент перестроит школу под образцовый свинарник, отапливаемый аж три месяца в году, а учительницу вместе с обучающимися у нее наркоманами и шлюхами принудительно переведет в президентский, из сибирского кедра, трехэтажный особняк с мраморным в сортире полом, позолоченными унитазами и зеркалами на потолке, кто его, президента, знает...

Залив для верности все подвалы, а также туалеты и коридоры, пожарные уезжают досыпать, время идет к полуночи. И когда уже выезжают на дорогу, сливающуюся в кромешной тьме с пшеничными полями, замечают, как горит вдаль, за соседним селом, пожарная вышка. Навстречу им бежит скачущим галопом бездомный пес...

Перескочив с разбегу через полтораметровый забор, Брюс ломанулся в кусты крыжовника, а оттуда, весь в колючках, к дымящемуся дому Борисыча. Ему незачем у кого-то дознаваться, в чем тут дело: он теперь один сплошной нюх и чутье. Обежав несколько раз дом, он тычется носом в стену под маленьким окошком кладовки и принимается

неистово рыть передними лапами землю... рыть и скулить, то и дело переходя на протяжный лунный вой. Там, за арболитовой стеной, умирает теперь Валька. Куснув от злости бетонный карниз, Брюс приседает на все четыре лапы и прыгает к окошку, вцепляясь налету когтями в край подоконника, и тут же исчезает в дыме и темноте.

В самом конце длинного, как вечность, коридора вспыхивает, словно лопнувшая спираль лампочки, отчаянно манящий знак... и снова кромешная тьма. Хрипя и свистя при каждом вздохе и выдохе, Валька пробует пошевелить кончиками пальцев: жив или уже нет? И когда лицо его обдаёт жаром влажного собачьего дыхания, а шея оказывается цепко и осторожно зажатой зубастой пастью, он, едва дыша, мысленно улыбается: «Брюс!»

Брюс тащит его вместе с панелью, мало-помалу высвобождая плечи и туловище, к открытой двери. На крыльце, уже охваченном пламенем, пес на миг тормозит, задирает заднюю лапу и презрительно мочится в огонь и потом уже тащит Вальку вниз по ступеням, и дальше, волоком по земле, мимо бездомных теперь уже стульев, шкафов и комодов ... Постепенно отдышавшись, Валька поднимается на ноги и тут же падает на спину Брюса, и снова встает и, покачиваясь, как пьяный, идет вдоль забора...

Бабушка звонит ему уже в который раз: она сидит взаперти, с захлопнувшейся входной дверью, одна, в панике ожидая пожара. Может, она уже и сгорела там, так и не дождавшись помощи... С этой безумной мыслью Валька плетется, как может, на окраину деревни.

Там, на самом краю, где начинаются заросшие полынью пустыри, ветер дует с такой яростной силой, что, кажется, не устоят ни недавно посаженные молодые вишни, ни железная с засовом калитка. С двух сторон дом обсажен виноградом, обвивающим проволоку сплошной зеленой стеной, за которой не видно ни крыльца, ни окон, и только тут, в укрытии, Валька наконец приходит в себя: сколько раз он сидел здесь в тени, на маленькой деревянной скамеечке, слушая, как бабушка моет на кухне посуду, думая о том, что было бы хорошо когда-нибудь сюда переселиться. Стукнув в окно, он видит бледное, бессонное бабушкино лицо, заметив сразу, что она плакала, чего он никак от нее не ожидал. «Раскисла, – сочувственно думает Валька, – старая стала Валентина Сергеевна...» Он уверен в том, что слезы хороши только от раскрошенного лука, в остальном же они – один сплошной обман, будь это даже скупая мужская слеза. Глаз должен смотреть прямо и выносить всякую в жизни картину. Валька сам чуть было не расплакался, когда натолкнулся в сарае на задохнувшуюся в дыму корову, но только размазал по щекам сажу.

Первый прыгает в окно Брюс и тут же принимается шумно лакать из бидончика воду, следом за ним лезет Валька, с удовольствием вдыхая хорошо знакомый запах яблочного компота и жареных пирожков и внезапно догадываясь, что бабушкин дом... никогда не сгорит.

Пройдя в темноте через застекленную веранду, где круглый год зеленеют мирты, юкки и фикусы, Валька придиричиво обходит обе комнаты и коридор и возвращается на кухню, где горит одна только маленькая лампочка над мойкой. Должно быть, Валентина Сергеевна сидит на кухне уже не один час, глядя через окно на алое зарево, на фоне которого скорбно торчат обгорелые стволы тополей. Входная дверь захлопнулась, и замок заклинило, хода через окно, при бабушкином стодвадцатикилограммовом весе, никакого нет, и она сидит теперь за столом,

перед сложенными горкой, накануне испеченными пирожками, и думает о скорой смерти. Она ведь неплохо, в свои семьдесят пять, пожила, любила мужа и одна, после его ранней кончины, воспитала дочь, а уж работала как... всю жизнь на полторы ставки в родильном отделении, столько новых людей приняла в мир. В деревне и сейчас к ней идут, если что, но с абортами у нее строго: рожай! Сколько раз пыталась она втолковать местным бабенкам, что человеку, чтобы снова подготовиться к приходу в мир, понадобится по крайней мере несколько сотен лет, а уж как будет мучить его и жечь неутолимая жажда рождения... Бабы, конечно, ни одна этому не верит, нигде про такое не говорится, а если где и пишется, то мало ли что сегодня пишут. Оно ведь и дочь ее тоже, не хотела Вальку рожать, поскольку тот, минуя превентивную химию, все же незаконно пролез в мир, тем самым нарушив баланс безденежья и бездетного секса. Да, Валька очутился в этом не слишком уютном мире *против* воли родителей. Спрашивается тогда, по чьей же воле он сюда явился?

Многие вопросы, неизвестно как и откуда вспыхивающие вдруг в мыслях Вальки, так и остаются висеть в памяти без ответа, словно в расчете на дальние жизненные расстояния, одолеть которые можно лишь в полном сознании. Пока же, на одиннадцатом году жизни, можно только присматриваться и прислушиваться к загорающимся то тут, то там ориентирам, только примеряться к едва вырисовывающимся масштабам. Никто не предлагает Вальке план какого-либо завоевания жизни, оккупации ее зримых высот, высасывания всегда имеющихся у нее привилегий, присвоения ее рангов и знаков отличий. Тем не менее Валька знает наверняка, тая это знание в своей глубине, что ему предстоит многое, и к этому знанию неизменно примешивается беспокойство: а вдруг не предстоит?... вдруг выгорит в пустых ни о чем мечтаниях?... станет навозом мелкоторговой наживы?

Учительница в школе не имеет об этом никакого понятия, она *учит* ощупывать вещи, судить по их внешности, заодно отмечая малейшее намерение проникнуть взглядом вовнутрь. Валька смотрит, бывает, на тополиный лист и не может никак наглядеться, сам становясь сочным зеленым цветом и прихотливым узором прожилок... он словно создает этот лист заново! Учительница же учит *готовому*, мертвому, и в *этой* школе Вальке нечего делать.

Да, но Валентина Сергеевна... она уверена, что придется звать мужиков, снимать дверь с петель, а весит эта стальная штука полтонны, придется вырезать замок и ставить новый, который стоит еще дороже... и оттого она теперь, не стыдясь Вальки, всхлипывает.

– Расскажи лучше, как я родился, – отламывая полпирожка Брюсу, приказывает ей Валька, – вместо того, чтобы ныть.

– Но что же делать... что же теперь делать... – словно не слыша его слова, хнычет она, – ну прямо жить не хочется!

Сунув вторую половину пирожка Брюсу в зубы, Валька пытливым на нее смотрит, словно вот-вот скажет что-то дельное, и как бы мимоходом замечает:

– Да ничего не делать. Есть ведь такие, бабусь, моменты, когда надо просто *ничего* не делать.

– Откуда ты это знаешь? – вмиг оживившись и изумленно уставившись на него, спрашивает она. – Ты пока только ходишь в четвертый класс, ты...

– Это неважно, – решительно перебивает он ее и, отвернувшись и словно чего-то застеснявшись, говорит в сторону: – И вообще у меня *свой* жизненный опыт.

– Как это свой?

– А так.

Некоторое время они сидят молча, выразительно посматривая друг на друга, и только Брюс попискивает в темноте, чуя запах пожара: где-то поблизости обваливаются крыши домов и бестолково суетятся люди, и если у кого-то и есть теперь надежда на будущее, то выглядит оно, это неизвестное будущее, скупо и уныло.

– И вообще, – возвращается к разговору Валька, – мне кажется, что я был *всегда*. Я это *знаю*, и пусть учительница хоть ставит мне за это двойку!

– Точно поставит, – охотно соглашается Валентина Сергеевна и смеется глубоким, звучным, грудным смехом. – За *это* все получают! Если бы к твоей учихе на урок явился сам Христос Иисус и сказал, что был всегда, она поставила бы его в угол!

– Но ведь Он... – тут Валька переходит на такой тихий шепот, что не услышал бы даже и Брюс, – ...Он во мне! Я и есть Он... то есть, конечно, не всегда, но...

Поднявшись, Валентина Сергеевна грузно обходит кухонный стол и чмокает Вальку в щеку, и Брюс, приняв это на свой счет, радостно бьет по полу хвостом.

– ...и я хочу все-таки знать, – отстраняясь от этой родственной ласки, настырно продолжает Валька, – откуда я взялся?

– Как, откуда? Из живота! Пупок обрезали, и готово!

– Я не про это, мне важно знать, где я был *до того*.

– Почему это тебе вдруг важно? – задиристо перебивает его Валентина Сергеевна. – На Земле ты по крайней мере не был, отбывая срок между твоей последней смертью и твоим новым рождением, ты странствовал от планеты к планете, побывав, между прочим, на Луне, Марсе, Венере... добравшись аж до Зодиака, и все это ради того, чтобы вернуться на землю чистеньким и окрепшим... то есть, конечно, в меру натворенных тобою глупостей в предыдущей жизни... Хочешь чаю?

– Кофе, – уточняет Валька и строго добавляет: – И не ячменный, но всамделишный, спать я сегодня не собираюсь.

Брюс одобрительно бьет по полу хвостом.

Заварив себе и Вальке кофе – спать, в самом деле, теперь ни к чему – Валентина Сергеевна достает из ящика стола вязание, наполовину готовый носок из распушенной кофты, надевает очки, ловко ухватывает спицы... теперь попробуй за нею угонись. Она вяжет, но думает совсем о другом, да может, совсем и не думает, пускаясь следом за кричащими ей что-то белыми птицами... Они прилетают, когда уже кончаются слова, привлеченные сладкой бездонностью тишины, эти белые *интуиции*, сотканые из никуда не уходящего света. И оттого, может, на губах у нее улыбка, стеснительно стягиваемая сетью мелких морщин: в мире снова покой, а в душе равновесие. Она вяжет эти носки к зиме, и, хотя они уже через неделю порвутся, всунутые в сбитые набок сапоги, ей хочется вплести в незамысловатый узор все летнее, какое только есть, тепло. А то ведь, кто знает, наступит ли следующее лето, по нашим-то неустойчивым временам. Вон в Америке, говорят, лето теперь привозное... и вдруг как раз наше? Она смотрит поверх очков на Вальку:

– Ты-то что думаешь?

– У нас в классе все хотят в Америку, и училка тоже, особенно после того, как нас привили от гриппа...

– И тебя?

– Нет, я не дался, – смущенно признается Валька, – хотя Борисыч говорит, что теперь у меня точно нет никакого будущего... А ты ведь забыла про дверь!

Её лицо мгновенно скисает, рот плаксиво поджимается, спицы тормозят, воткнувшись в недовязанный носок.

– Что же делать теперь... что же делать... – принимается она снова ныть, – через окно мне не выбраться, а горит уже рядом!

Валька идет в коридор, и жаркий ночной ветер распахивает перед ним незапертую дверь...

Дома осталась мать, с Беней, скотчем, курами, гусями, утками, перепелами, свиньями и перепуганным насмерть Джо, которому электрик поручил поливать из шланга крышу – с такой строгостью, что у негра не осталось никаких сомнений: пристрелит, если что не так, и зажарит на костре. Джо думает о потерянном навсегда Монмартре и сгинувшем в никуда Неаполе, и жаркие негритянские слезы катятся по его потным щекам, щекоча суицидным ознобом могучую, как у гориллы, грудь. Даже Катька, хотя у нее и правильный, со стороны ягодиц, взгляд на Африку, не смогла бы уломать гордого своей кровью негра на *равный* с белым человеком труд: *мыслить* и принимать аварийные решения. Самое для негра верное – со всех ног куда-то бежать, пусть даже и не по стадиону, видя впереди огромный голливудский банан... Вспомнив о Катьке, Джо с отвращением бросает на землю шланг и, с опаской оглянувшись на кухонное окно, где только что мелькнуло озабоченное лицо хозяйки, пускается бегом по огороду, к ветхому, из старых досок и кусков жести, забору. Пробравшись в соседский сад, он слышит в темноте странные хлюпающие звуки: кто-то возится под яблоней, невзирая на поздний час и близость пожара. Кровь негра мгновенно вскипает, широкие ноздри раздуваются на потном, круглом лице, мускулы ног и рук напрягаются, как у готовящегося к прыжку орангутанга: с кем это там Катька? В этой тревожной, совершенно чужой и нелепой ночи, среди этих, не понимающих самих себя людей, на этой никчемной, забытой комфортом и благоденствием, опустошаемой огнем земле! Затаившись в кустах малины, Джо слушает, слушает... и его напрягшиеся мускулы дрожат от прошибающих их молний похотливой ненависти: там, под деревом! Ему неважно, с кем возится в темноте Катька, но важно, что она этого хочет, что она хочет именно этого: в этой ее самозабвенной блудливости царит черная магия вуду, замешанная на крови, насилии, смерти и людоедстве. Обмотанную лианами жертву несут на освященное кровью многих других, тайное место в джунглях, и не столько предсмертный секс, сколько ощущение горячей, живой еще крови, пьянит до безумия восьмерых носильщиков, и наконец шестнадцать жадных рук рвут из живого еще тела многометровую пряху кишок... Дрожа от собственных похотливых, озаренных отсветами пожара фантазий, Джо неотступно следит за Катькой, и, когда та наконец остается в темноте одна, сбивает ее с ног и валит под ту же яблоню. Она ничего пока не понимает и не слишком сопротивляется, и Джо для верности забивает ей рот пригоршнями земли, одновременно находя желаемое, и его рука сдавливает ей горло... и кто-то слащаво зовет в темноте: «Катюша!»,

и, вполне уже сытый, Джо с безграничным, на какое только способен негр, презрением цедит ей в укушенное ухо: «Кто-то там зовет тебя!», и пинает ее ногой в живот, и снова притягивает к себе, и снова пинает, пинает...

Увидев из окна, что негр куда-то подевался, Валькина мать берется за шланг сама, но воды в нем всего-то капля, да и та вот-вот пропадет, и, взяв два ведра, она идет через дорогу к колонке. С вечера, как начали гореть дома, там выстроилась длинная очередь, все набирали воду, еще не зная толком, для чего, а теперь там ни души, значит, и воды нет. Повернув с пустыми ведрами обратно, она замечает мелькнувшую у забора тень, присматривается... как будто Катька. Дом их, немой и темный, не задет ни одной искрой пожара, хотя ветром по-срывало с веревки белье и одна простыня так и осталась висеть на заборе. Но Катька... что-то с ней не так: окоченевшим, застылым шагом она бредет, словно наугад, то и дело приваливаясь к забору... пьяная, видно, шалава.

И почему только одному человеку становится вдруг небезразлична озабоченность другого? Привычный, ставший совершенно незаметным, эгоизм взрывается вдруг беспокойством за другого, как будто это ты сам тащишься в темноте неизвестно куда, предчувствуя, что где-то там впереди – обрыв. Это внезапно заявляющее о себе чувство братства не признает никаких домогательств рассудка: оно всецело принадлежит душе. «Значит, – думаешь ты с изумлением, – у меня *есть* душа!» Это всецело *твой* миг, твое самопознание. Твое, быть может, исцеление от зла.

Оставив ведра возле колонки, Валькина мать идет следом за Катькой в сторону реки, к мосту, в кромешной, освещаемой лишь алым заревом пожара, тьме. Там, на мосту, ни души, лишь ветер гонит течение под широкие бетонные опоры. И вот уже на краю одной из этих громоздких конструкций смутно белеет бесформенным комком Катькина кружевная безрукавка.

– Катюха, – уверенным, как на вызове скорой, голосом зовет Валькина мать. – Это я!

Белое пятно, едва лишь колыхнувшись, тут же снова застывает над водой. Ступив на понтонный мост, Валькина мать чувствует ступнями неотступную силу течения, дрожание стального каркаса под напором воды, лязг, плеск, рокот. Здесь браконьерствует, ставя квадратные сети-ловушки, вся деревня, и каждое лето человек десять-пятнадцать навсегда уходит под воду, в счастливом похмельном плаванье. Так и не дождавшись от Катьки ответа, она перебирается с моста на бетонную опору, стоит, уперши руки в бока, присматривается: ясное дело, Катька пришла топиться. И вроде бы даже всерьез, не для показухи.

– За тобой же вся деревня бегает, – неуклюже скрывая волнение, начинает Валькина мать, – вон сколько мужиков и парней! Идем домой, пока ветром в реку не сдуло!

Не оборачиваясь и даже не пошевелившись, Катька бормочет, глядя вниз, в бурлящую возле бетонных опор воду:

– Я для них что сливная яма, пепельница и мусорка! Никто меня не любит, никто... – и кричит вдруг в ветреную темноту: – Никто меня никогда не любил! Никогда!!!

– А ты сама? – став за ее спиной, наступает на нее Валькина мать. – Кого *ты* любишь? Да ты и не знаешь, что это такое, любовь! И если

ты сей момент, при мне, прыгнешь в воду и утопнешь, и черт с тобой, прыгай! Ну, прыгай же!

Массивная спина Катьки вздрагивает, как от удара, голова втягивается в плечи, в горле что-то хлюпает... а под мостом призывно бурлит черная, в задымленной ночи, вода. Эта чужая воля! Безжалостно рвущая и топчущая привычное к бездействию, сонливое самодовольство, эта *воля к поступку* пропахивает теперь глубокую борозду в Катькиной рыхлой и дряблой, источенной обильными и дешевыми лакомствами душе: по одну сторону рутина бледной, невыносливой, обидчивой повседневности, по другую – полная неизвестность. Что может взять с собой Катька из своих семнадцати лет, окунувшись в неизвестное? Увы, ничего. Вот, оказывается, *как* она бедна. Семнадцать напрасно прожитых лет: разложение и гниль, и в конечном счете *старение на пути к смерти*. Только, может, в самом раннем детстве, когда еще так мало *своего* и все приходит от родителей и благоволящей к тебе природы, когда к тебе склонён весь звездный сияющий мир, и бывает еще какое-то в жизни счастье... но оно, увы, не *твое*. Это – счастье появления на земле, долгожданное счастье возвращения, оно тебе только *дается*, дарится, но распоряжаешься этим даром ты сам. Шестнадцать лет назад, сидя в песочнице напротив такой же годовалой девчушки, Катька схватила ее за волосы... она набирала полную банку божьих коровок и бросала туда горящие спички, и один раз замучила так до смерти мышонка... Ей нравилось смотреть, как уходит из живого жизнь, она *прививала* себе жажду неутолимой чужой боли, и эта боль постепенно становилась ее собственной.

– Скотина, и та знает в жратве и похоти строгую меру, – продолжает наступать на нее Валькина мать, – скотина знает порядок! Ты же гнешься и ползаешь перед дьяволом! Зачем ты вообще на свете живешь!

Сказав это, Валькина мать решительно идет прочь, даже не оглянувшись на сторбленно сидящую на самом краю моста Катьку. Вернувшись к колонке, она берет пустые ведра, смотрит в сторону соседней деревни, слушает: церковный колокол одиноко бьет четыре. Бабы, ушедшие вместе с батюшкой молиться, наверное, уже упросили Бога послать на деревню дождичек: все небо в облаках, похоже, будет гроза. И когда она наконец закрывает за собой калитку, отяжелевшее небо пробивает первый зигзаг молнии, где-то неподалеку испуганно ржет лошадь, в свинарнике тонко пищит поросенок. Нет, не зря бабы поперли следом за батюшкиным «мерседесом».

Ей кажется вдруг, что кто-то стоит у нее за спиной. Электрику пора уже вернуться, тополиные посадки не горят, только дымятся в медленно редющей темноте. Может быть, Валька? Хотя тот ночует у бабушки... Обернувшись, она видит стоящего в дверях кухни Джо.

– Тебе не сказано было поливать из шланга крышу? – с ходу набрасывается она на него, – Или пожарть пришел? Ну?

Джо молча на нее смотрит и внезапно идет прямо к ней, растопырив по сторонам могучие обезьяньи ручищи. В одно мгновение она мысленно видит себя смятой в этой нечеловеческой хватке, расшибленной об пол... и правая ее рука хватает с плиты чугунную сковородку и трахает ею круглую, под пышной африканой, голову негра: тра-а-а-ах-ххх!!! Ну вот, теперь он лежит на полу, молча и смиренно, лицом в затертый половик, с зашибленным при падении носом. Пощупав пульс, она берет из аптечки пузырек нашатыря, подносит к приплюснутому носу, и Джо неуклюже ворочается, и она замечает под его штанами лужу. Ей известно немало местной, а также блатной матерщины: так, так и так.

И еще раз так. И африканская, из смятого носа, кровь подсказывает Джо, что это покрепче заклинаний вуду.

Все еще держа сковородку в руке, она встречает на пороге электрика. Тому смешно, и лужу под негром он вытирает его же, когда-то белой, майкой. И когда Джо поднимается на ноги и кое-как, хватаясь за что попало, выбирается во двор, электрик подталкивает его к калитке и, сунув в карман джинсов недельную зарплату, беззлобно поясняет:

– Зимовать будешь в Африке.

Молнии прорезают предрассветный сумрак, словно запоздалые сигналы бедствия, и ни одной капли дождя пока не упало на алеющие на ветру пепелища. Бабы вернулись наконец, встревоженные больше прежнего: пока шли, уже без батюшки, назад, загорелась водонапорная вышка и... колокольня! Кое-кто ропщет втихаря на батюшку, с его дорогущим «мерседесом», другие винят во всем проклятый ветер. И поскольку согласия никакого между бабами не предвидится, мужики разбирают своих жен по домам, а одиноких посылают к черту.

С наступлением утра выясняется, что полностью выгорели две улицы, Витьку нашли мертвым, а Катьку так и не нашли. Люди стали враз как-то тише, душевнее, скромнее, всего-то за одну ночь. И каждый втайне благодарит прикусившего язык Бога за то, что тот не отнял на этот раз всё, ведь могло быть гораздо хуже. У многих нет над головой крыши, и соседи забирают к себе даже тех, с кем до этого ругались, и между людьми вмиг устанавливается редкостное понимание, то и дело перерастающее в совершенно уже потустороннюю *братскую любовь*. Каждый делится с другим, чем может, и только теперь и выясняется, насколько богата деревня Донское: из погребов и сараев выносят картошку и свинину, молоко и домашний сыр, муку и гречку, топленое масло и мед, не говоря уже о маринованных огурцах, томатах, баклажанах и перцах, обильно произрастающих на огородах наравне с капустой, кукурузой и редькой. Делятся одеждой, мылом, стиральным порошком, спичками, солью, а у кого есть деньги, тот только того и желает, чтобы у него попросили займы. Устраиваются во временках, сараях, курятниках и просто под брезентовыми навесами, ложатся спать впритык и не жалуются на тесноту, и ни у кого не возникает даже мысли о воровстве или блуде.

Это счастливое братское единение царит в Донском ровно три дня, пока не приезжает на «мерседесе» батюшка и не объявляет, теперь уже не только бабам, но и всем остальным, что правительство, дай ему Бог еще больше власти, постановило дать каждому погорельцу по двадцать тысяч и построить новый дом. Еще батюшка говорит, что деньги эти Божьи и никто не смеет поэтому их себе прикарманивать, с чем втайне соглашаются далеко не все.

Весть о постройке новых домов, и притом до наступления холодов, в одно мгновение сметает трогательно братские настроения, возвращая полубивших было друг друга соседей к привычной зависти и подозрительности. Те, у кого сгорел дом, ходят теперь победителями, в надежде на то, что батюшка не сбrehнул; те же, кому не повезло с пожаром, чувствуют себя настолько обделенными, что готовы задним числом спалить налаженное в течение многих лет хозяйство. Раздор еще более усиливается, когда первые погорельцы получают, согласно алфавитному порядку, половину от обещанных двадцати тысяч: Донское разделяется на два ненавидящих друг друга лагеря.

Среди тех, кто оказался обделенным случаем, не жалуется на судьбу один только электрик, продолжая, теперь уже без Джо, обуустраивать двор и свинарник. Одного хряка пришлось зарезать: надо чем-то кормить гостей, Борисыча и его занудную, то и дело впадающую в истерику жену. Разместившись в самой большой комнате, в «зале», они не скрывают ни своей удовлетворенности грядущим новосельем, ни своей презрительной брезгливости к этому вынужденному постое: теснота, вонь из свинарника, грязь с огорода. Свинина, и та оказалась жесткой и почти несъедобной, словно хряк назло кастрировавшему его мучителю отравил себя напрасными мечтами о мести. И Борисыч, кое-как обгладывая жареную грудинку, косится на Вальку: сболтнул тот отцу про кладовку или нет. Валька как будто на Борисыча и не злится, смотрит пытливо и спокойно, почти равнодушно, словно на какую-то лабораторную крысу или просто пятно на стене, а если изредка и заговаривает с ним, то непременно с какой-то, как кажется Борисычу, вызывающе-наплевательской самоуверенностью. И то, что остается между ними двумя тайной, неприятно щекочет уверенность Борисыча в данных ему жизнью привилегиях: так ли уж высок его статус писателя, так ли авторитетно его, Бориса Бессмертного, поэтическое слово. И он знает, что не так... ах, не так!.. но другим этого знать не полагается. Другим не подобает с ним, Бессмертным, спорить. Или, как сказал бы, пожалуй, батюшка: спорить с нами не благословляется. Он посматривает тайком на Вальку, когда тот чем-то занят: понял ли Валька тогда, в кладовке, придавленный потолочной плитой, что *должен* был умереть?

На исходе августа стоит еще жара, на лугу доцветают синеголовники и донник, коровы лежат на солнечном пригорке, и среди них черно-белая телочка, единственная теперь радость Евдокии Андреевны. Ее дом начали отстраивать первым, из толстых сосновых бревен, с высоким крыльцом, и завистливые соседи уже шепчутся между собой, что приведет она себе из города мужика. И пока они так сплетничают, она зовет обратно сына Витьку, с его теперь уже ангельских высот, не очень-то, впрочем, надеясь, что ангелы на его стороне... Зовет его домой.

Обретая в полдень цвет неба, река становится то густо-синей, то сверкающе золотой, с плывущей по течению желтой листвой берез и пугливой тенью стоящих по берегам плакучих ив. Сидя на песке на коровьем пляже, Валька думает о парусной лодке, на которой можно доплыть до Америки, и брать с собой он никого пока не хочет: придется ведь смотреть по сторонам глазами другого! Или все-таки взять Наташку? Он не видел ее уже целый месяц, она теперь где-то на Черном море, и может быть, даже в Турции. Дом ее вместе с конюшней остался цел, хотя соседний двор выгорел полностью, и Валька специально ходит мимо, туда-сюда, но никто его не окликает. Он смотрит порой на рыжую лошадь сквозь щели забора, видит, как Наташкин отец ставит перед ней ящик с вымытой морковью, как она не спеша ест, потом пьет из ведра, и ему становится жалко уходящее уже лето. Ведь с этим летом что-то ушло от Вальки навсегда, и он никак не может понять, что именно, и на пустом, сразу остывшем месте ничего пока не светит, только предчувствуется новый, незнакомый жар... Он смотрит на желтоватое дно реки, на скользкие по нему тени мелкой рыбешки, смотрит на свои босые ступни, с набившейся между пальцами глинистой пылью, мысленно отдавая свое несильное пока еще тело последнему августовскому теплу и тем высвобождаясь из своих синоминутных нежеланий-желаний

и улетаю... улетаю в согретую внутренним тепер уже жаром зиму. Он хочет, еще не смея себе в этом признаться, сам командовать своим воспитанием, не дожидаясь подсказки учительницы или советов телевизора, он не нуждается в хромающих на каждом шагу авторитетных мнениях, в мнении, например, Борисыча... Так вот, значит, что с ним летом произошло: от него ушла наивность. И это так тягостно, так печально: лишиться *веры* в хорошее-взрослое. И кто же теперь на его стороне, в этот холодеющий миг первого в жизни одиночества? Он смотрит на воду, словно течение вот-вот обнаружит перед ним тайну своего бега: *всё* течет. И нет поэтому границы между жизнью и смертью, нет никакого отсутствия, надо лишь видеть... смотреть... И даже если в твое одиночество не заглядывает ни один человек, ты можешь обнять весь мир – в себе самом! Да что там, только ты и можешь обогреть этот весьма уже охладевший, на грани обледенения, мир, ты сам. И нет тебе в этом деле никаких помощников. Потому что огонь твой вечен, огонь *любви*.

Солнце садится, заливая весь луг пламенно-розовым, пурпурным и малиново-алым, и отставший от коров пастух перебирает про себя имена ушедших с земли и когда-то его знавших, и на его темном, морщинистом лице вспыхивает на миг и тут же гаснет радостное удивление, и пастух успевает только подумать: «Радость...» Он догоняет коров и отчаянно матерится, и коровы не спеша мочатся, поставив вопросительными знаками хвосты: они-то своего пастуха знают.

В самом конце огорода, куда зачастили шлаться куры, Валькина мать обнаруживает сложенную пирамидой кучу яиц, под кустом разросшейся ивы. Какие мерзавки! Теперь все куры сидят под арестом, под строгим присмотром петуха, но новости с огорода оказываются еще более шокирующими: по плетям еще не убранных кормовых тыкв тащится, спотыкаясь на каждом шагу, Катька.

Ее искали где только могли, и местный участковый, несмотря на полученную от ее родителей взятку, так и не дознался, как обещал, куда подевался по крайней мере Катькин труп. И хорошо, впрочем, что не дознался: у родителей оставалась хоть какая-то надежда.

Но самой Катьке вряд ли было до них дело: в ту задымленную ночь она добралась пешком до окраины города и села на рассвете в электричку, без малейших планов на будущее и без денег, с одной лишь панической мыслью: исчезнуть навсегда. С одной электрички она пересаживалась на другую, пока не добралась до Москвы, где ночевала несколько раз на вокзале, пока к ней не пристал приличного вида немолодой уже дядя. Для начала он сводил ее в привокзальный ресторан и заказал роскошный, с учетом многодневной голодовки, обед, проглоченный Катькой без малейшего ощущения вкуса. Сам он ничего не ел, только смотрел, как Катька *жрет*, лишь изредка кивая кому-то или самому себе. Вдобавок он купил ей пару носок, зонтик и мягкую плюшевую собачку, и все это молча, словно Катька приходилась ему надоевшей уже племянницей или внучкой. И хотя ей было ох, как страшно – заведет, изнасилует, зарежет и съест, – она поехала с ним на такси, поднялась в лифте на третий этаж, вошла в просторную, хорошо пахнущую квартиру, и, когда он щелкнул замком, до нее наконец дошло: теперь она никакая больше не Катька, но просто *товар*, без названия и без знака качества, ширпотреб на продажу. Она дрожала всю ночь под пуховым, в батистовом пододеяльнике, одеялом, прислушиваясь к

звукам квартиры, где ничего, ровным счетом ничего не происходило. И, когда утром он деликатно постучал в дверь и позвал пить кофе, она набралась храбрости и спросила его напрямик: чего ему от нее надо. И он, словно только того и ждал, просительно и скромно пояснил: «Хочу, чтобы ты вернулась к маме и папе».

Увидев Валькину мать, копающую на огороде репу, Катька замирает, пятится назад, словно та все еще бранит ее на ветреном, среди ночи, мосту, и обе некоторое время смотрят друг на друга, настороженно и недоверчиво, и расстояние между ними могло бы еще развести обеих по своим путям... но нет, теперь уже поздно: глянув на изуродованные, в безобразных, кровоточащих порезах, Катькины руки, Валькина мать решительно шагнула ей навстречу.

– Это я сама... – с ходу пускается в объяснения Катька, – бритвой...

Она украла эту бритву в павильоне, вместе с флаконом одеколона, но руки у нее так распухли, что приходится вот... обратиться к медсестре. От кисти до локтя и выше, почти до плеча, руки сплошь исполосованы, многие порезы гноятся.

– И как, помогает? – с клокочущей в звонком голосе насмешливой яростью, интересуется Валькина мать. – Отвлекает внимание от *главной* боли?

На осунувшемся, но все еще круглом лице Катьки застывает безнадежная мука: кто бы знал, каково ей выносить саму себя! Нет, никто в мире этого не понимает! Ресницы над ее чуть выпуклыми голубыми глазами дрогнули и, глядя на Валькину мать сквозь слезы, Катька прохлюпывает одним только носом:

– Не помога-а-а-ает!!!

Уже на кухне, перебинтовав Катькины руки до самых плеч, Валькина мать замечает вскользь, мимоходом:

– Есть *одно* средство.

Она произносит это с такой значительностью, что сомнений никаких быть не может: такое средство *есть*. И сколько бы оно ни стоило, это средство от саморастерзания, где бы и как ни пришлось его доставать, пусть даже и незаконно, его следует приобрести немедленно! Сейчас!

Уставившись на Валькину мать голубыми, по-детски круглыми глазами, Катька напряженно глотает слюну и, не сморгнув, хрипловато спрашивает:

– Какое?

– Вскопаешь мне огород до самой реки.

– То есть... это как?

– Лопатой.

Некоторое время Катька молча соображает: либо медсестра смеется над ней, либо... да пошла она вон куда!

– Тебе надо, ты и копай, – презрительно выплевывает она и идет вон из кухни. За дверью она наталкивается на Борисыча, едва не сбив его с ног: он стоит и подслушивает. Он разнесет теперь, этот продажный сплетник и потаскун, по всей деревне, как Катька сдуру режет себе бритвой руки. И тут она припоминает, как он дал ей сто рублей, как он пояснил тогда, «на мыло», и это после того, как сам, старый урод, нагадил, не сняв даже штанов, и она с внезапной злобой пихает его к стене, и ее забинтованный локоть упирается ему в шею... так можно, пожалуй, и придушить...

– Правильно, Катюша, нечего тебе на огороде делать, – заискивающе бормочет он, отступая вдоль стены, – только фигуру испортишь!

– Тебя как будто, паскуда, спрашивают, – еще больше злится она, – вот возьму и назолю тебе вскопаю! Понял? Вскопаю весь огород! Где лопата? Лопату!!!

Она копает весь день, не прося ни воды, ни обеда, словно в этом и впрямь состоит ее спасение, яростно круша неподатливые комья чернозема вместе с корнями пырея, крапивой и крысиными гнездами, вытирая время от времени слезы черной от пыли повязкой. И только под вечер, когда от разрытой земли стали подниматься тучи комаров, она наконец сдается и, не сказав Валькиной матери ни слова, идет домой. На следующее утро она снова приходит, и снова Борисыч подслушивает кухонный разговор.

– Котлован копать будем? – теперь уже деловито интересуется Катька. – Воды в нем будет во-о-о-о сколько! Болото просохнет, а по воде пушай ходюте утки... разные там птицы... – названий птиц Катька не знает, даром что учитель поставил ей по биологии тройку. – От котлована проведем канавки, как... – тут Катька запнулась, припоминая какую-то географическую хрень, – ...как в Голландии, во! Знаешь, какие у них там коровы?

– Какие? – интересуется Валькина мать, наваливая Катьке тарелку макарон и поливая их кетчупом.

– Счастливые... – мечтательно замечает Катька и шумно вздыхает.

– Скотине не возбраняется хотеть одного только счастья, на то она и скотина: поел-поспал, размножился. Но тебе-то ведь надо что-то еще? Или как?

Катька недоверчиво на нее смотрит: о чем это она? Вчера, например, перед тем, как заснуть, она напрочь позабыла о своих расчесах и порезах, а сегодня сунула бритву вместе с одеколоном в мусорку, и у нее к тому же пропал бешеный, какой бывал раньше, аппетит: что-то медленно и натужно сдвигается в ней с места. Но *что*?

– Мне надо... – Катька отодвигает тарелку, смотрит, ни мигая, в стену, – надо разобраться. А вообще-то... – неожиданно сверкнув спрятанной в глубине глаз радостной синевой, признается она, – я думаю завести стадо овец и делать сыр... настоящую донскую брынзу! А шерсть, само собой, на варежки-шапки...

– ...валенки, свитера, – кивает Валькина мать, боясь спугнуть улыбкой эту новую Катькину прыть, – и заведи еще ламу, у нее не только шерсть, но и меткий в цель плевок!

От рыжей лошади валит пар, мокрые после купания бока лоснятся на полуденном сентябрьском солнце, и нет на лугу такого простора, с которым смирилась бы теперь ее молодая прыть: через сухие заросли синеголовника и репейника, мимо кустов ивняка и орешника... Осадив лошадь возле одиноко торчащей посреди луга дикой груши, Наташка рвет ей и себе сладкую коричневую мелочь, набивает грушами висящую через седло сумку. В сумке у нее кое-что для Вальки, ну, что ли, подарок, и она поэтому зорко его высматривает, пуская рыжую то вдоль берега Дона, то напрямик к ближним домам. Она не видела пожара, и ей не очень-то верится, что все это натворила по своему произволу природа: сначала сухое, без дождей, лето, потом вдруг лесные пожары... Всё дурное в природе происходит, по мнению Наташки, от глупости самих людей, а глупость у них – от лени. Почему, например, не *поливать* эти бескрайние, до самого горизонта, поля? Как поливают у себя в огороде редиску. Качай воду из Дона, вон ее сколько, вся она

снова вернется в реку. И почему только взрослым не приходит в их взрослую голову ни одной полезной мысли! Взрослые, думает Наташка, только *верят* в свой жизненный опыт, на деле так ничему в жизни и не научившись... не все, конечно, нет. Вот ведь и отец скоро подарит ей рыжую... Она была с отцом в питерской Новой Голландии, и он тогда сказал: вот он, лохотрон будущего, с его дешевой показухой, удовлетворяющей лишь дебила. Скоро ведь настанет время, когда *разрушение жизни*, со всеми его массово-порнографическими, экономически-нефтяными, культурно-мыльными, самолюбиво-эгоистическими и в целом мусорными интересами, обретет такие масштабы, что некому будет задаваться вопросом о смысле происходящего. И может ведь получиться так, что одна только Наташка, с этой своей рыжей лошадьёю, и окажется интересующейся и вопрошающей... что тогда? Как выжить, когда ты один в пустыне? Но ведь выживали же люди раньше, один, два, несколько... да много ведь и не надо. А сколько, кстати, *надо*? Сколько людей могут донести на себе землю до ее нового космического рождения? Земли ведь когда-то не было, значит, когда-нибудь и не будет, но то, что было *до*, продолжится в том, что станет *после*, и эту непрерывность скрепляют наступающие время от времени катастрофы. Какой будет следующая катастрофа? Останутся ли после нее на свете такие вот рыжие лошади? Наташка гладит бархатную, с белым продольным пятном, переносицу, и лошадь косит на нее из-под длинных ресниц умным карим глазом: ей, скотине, понятна эта человеческая озабоченность. И Наташка думает, хотя в школе ее этому не учат, что вся, какая только есть в мире, живность *произошла от человека*, овладев той или иной его чертой, тогда как сам человек есть энциклопедия *всех* животных видов: птицы и льва, червяка и обезьяны, амебы и жирафа... Но там, где животное увязает в кровном родстве и наследственности своего вида, там человек отказывается от принципа крови, становится от нее *свободным*, становится *духом*. И Наташка знает это не из Библии, которую, не сломав себе голову и не вывернув языка, не прочитаешь, но из своей потаенной, радостной и бесстрашной самости: «Я и есть будущее!»

Взобравшись верхом на пригорок, она смотрит на неубранные еще пепелища, кучи обгорелого строительного мусора, штабеля недавно завезенных бревен и поднимающиеся уже новые стены. Выгоревшие улицы решили переименовать, теперь это Пожарная и Новорусская, и старая почтальонша пока еще путает адреса. Наташка несетя вместе с рыжей на окраину деревни, где привязаны к столбикам козы, и на высошем, вымоченном сентябрьскими дождями пустыре видит наконец Вальку... но вот уже и не видит, он проскочил мимо на велосипеде... только осеннее солнце, только простор... И Наташка несетя дальше, навстречу своим, тревожным и дерзким, опережающим ее разумение мыслям...

Пустые слова о счастье. На них вскармливаются сегодня миллионы людей, ими удобряется похоть и лень. Сказать, что счастлив тот, кто перебирает руками эту землю, ползая по ней на коленях? Никто этого сегодня не говорит. Сердце, будь оно в разладе с душой, застынет и сдастся, уступая мертвой механике рассудка, именуемого сердце «мотором». А оно ведь, сердце, никакой не мотор, но... что-то вроде термометра, как думает Наташка, что-то вроде наблюдающего за порядком глаза. Ведь стоит только подумать о чем-то плохом, и сразу: тук-тук-тук... Поэтому счастье определяется не снаружи, но изнутри, со стороны сердца. То, к чему призывает сегодня денежный, он же партийный,

интерес, что бесслезно торчит путевым указателем перед теряющим зрение глазом, чему ставят всюду памятники и чьими звонкими именами прикрывает свою нищенскую наготу общественное мнение – это всего лишь памятник несостоявшемуся настоящему. Оно не может, это будущее-настоящее, состояться уже потому, что в нем заранее заглушен *твой* голос: «Я!», оно косноязычно и в перспективе немо, и уже сегодня оно заверяет своей хитроумной подписью акт собственного самоубийственного бессилия. Оно кивает, это инвалидное настоящее-будущее, на сладко удушающий его принцип: больше того же самого! Принцип *бессердечного* глобального комфорта, зазывающий в спа-наркоманию физического бессмертия и отрицающий твое, перед лицом всего Космоса, одиночество. Разве каждый, рождаясь на Земле, не проделывает все самое главное сам? Один?

Черные, обгорелые стволы тополей.

От новых срубов на улице пахнет сосновыми гробами, и мало кто верит, что не придется потом расплачиваться за это бесплатное новоселье. Лучше не ждать от властей ничего хорошего, но потихоньку копошиться самому, так лет через тыщу-другую и доползешь до «уровня жизни».

Дома все одинаковые, отличишь только по номерам, даже цвет, и тот один, грязно-желтый, нелиняющий, а заборы сплошь синие, заметные издали. За заборами затоптанные огороды и остатки выгоревших садов, и ставшие бездомными собаки только по верности своей сторожат место, получая за это разве что остатки супа. Борисыч предложил было отстрелять ненужных теперь кабысдохов, но никому нет до этого дела, и он пока медлит, с недавно купленным ружьем. Он пишет, сидя у электрика в зале, свою новую поэму о человеческом, и к тому же всемирном, счастье: «Мы туда уже идем, забиваем в чернозем указатели пути, и не смей один идти!» Жена ядовито цензурит его, Бессмертного, короткую и длинную строку, тем самым мстя ему за счастливо прожитые в браке годы. Исправляет грамматические ошибки, ставит запятые. Ей нравится, что Борисыч за это на нее злится, хотя между ними давно уже действует двустороннее брачное соглашение: весь мусор держать у себя дома. Порой она чувствует себя его, Бессмертного, музой, тайком подправляя, где рифму, где вылезший наружу хвост строки:

Мы бредем от вещи к вещи,
Загребая в руки-клещи
Все добро, какое видим,
Зло же в шутку ненавидим.
Что за пазухой нашарим,
Все себе же и подарим,
Тесто с кровью замешаем,
Усмирим борзых лишаем.

– Пока старая, склеротичная Европа составляет завещание в пользу оболванивших ее Визентала и Моргенау, пока выжатая, как лимон, Америка прет под командой негра прямо в стену, за которой припрятан несгораемый сейф мирового еврея, мы, здешние интеллигенты, станем в единый корпоративный строй и грянем, глуша в себе последние остатки совести: *вперед к назад*! При этом надо усердно креститься, иначе люди не поверят в твою благонамеренность. Надо к тому же звать

на помощь погоду, но самое главное – ничего собой ровным счетом не представлять, быть *как все*. Быть бараном, овцой, козлом.

– Тут все дело в желании *верить*, – посмеивается, слушая Борисыча, электрик. – Козел тем и отличается от барана, а тем более от овцы, что уверенно идет впереди, ведя стадо на бойню, и все трусят за ним, веруя в свое овечье будущее. Всех, разумеется, забивают, кроме козла, и тот ведет на бойню следующих. А ведь стоит только отбиться от стада...

– ...и тебя тут же утащит волк! – язвительно вставляет Борисыч. – Волки всегда поблизости! Присмотрись: волчья политика, волчье образование, волчья медицина...

– Зачем обижать зверя, – вставляет Валькина мать, прислушиваясь к разговору, – у волка все честно и по закону, по-волчье, это люди своему закону изменяют: хотят непременно быть скотами.

– Достаточно посмотреть волку в глаза, – поддакивает ей электрик, – достаточно его *узнать*. Ручные волки – что собаки... Но раз уж тебе охота, Борисыч, сравнивать наше дружное междуособие с волчьим порядком, то давай назовем «волком» деньги: их всевластие неправомерно. В жизни должно оставаться что-то, чему невозможно назначить цену, что по самой своей сути не продается и не покупается, и это, Борис Борисыч Бессмертный, и есть твоя бессмертная часть, переходящая от одной жизни к другой, твой дух... и стало быть, надо говорить о *твоей* духовности, о твоём труде над собой, никем не оплачиваемом труде... Кстати, почему ты Бессмертный?

– Закрыли тему, – сухо рыкает на него Борисыч, – человек был, есть и будет зверем, разумной скотиной, взять хотя бы того же батюшку: ну какой он, между нами, божий человек? Весь в спонсорах, в деньгах, в «мерседесах». Покажи мне хотя бы *одного* бедного попа! Хотя бы одного, кушающего в пустыне саранчу!

– Ни одного, – соглашается электрик, – и это значит, что нет больше никакой церкви, а то, что продолжает ею казаться, всего лишь досадный мираж. Либо ты *знаешь*, что Христос есть в тебе, либо проваливай ко всем чертям со своей *верой*. И это твое, суверенное, индивидуальное, свободное знание не удержать в душе ничем, кроме как ее же, души, мыслительной силой, тогда как твои мозговые извилины только зеркально отражают мертвые уже, выхваченные из Логоса мысли, и к тому это чаще всего кривое зеркало. Мозговые, рассудочные истины не являются, собственно, истиной...

– Ты хочешь сказать, что мой мозг не мыслит? – с обидой перебивает его Борисыч. – Что мои, значит, нервные клетки, треща от напряжения и не восстанавливаясь, работают впустую? Разве может быть мышление безмозглым?

– Мыслит не мозг, – упрямо стоит на своем электрик, – мыслит невидимая часть человека... Собственно, мыслит то, что связывает человека с Христом, и неважно, кем человек считает себя, православным или мусульманином: Христос есть объективная, одна на всех, космическая сила Логоса.

– Наряду с Христом были ведь и другие... – не желая уступить электрику, запальчиво возражает Борисыч, – ...пророки!

– Никто не стоит с Ним в одном ряду, никто Ему не ровня.

Нервно передернув плечами, словно ему капнули за шиворот холодной воды, Борисыч неразборчиво бормочет что-то, и электрик, видя это отступление, не скрывает уже больше своей придирчивой ярости:

– Сегодня никто ничем не рискует, крича о нравах Лукоморья, и из этих криков складывается поразительная в своей убедительности картина: везде одно и то же. Правитель – мошенник и вор, поп – подхалим и блюдолиз, ученый – прохвост. Короче, приехали, дальше хода нет. Но дело-то как раз в том, чтобы *найти* этот ход. И тут те, кто кричит о «язвах России», немедленно объединяются *против* ищущего, и именно потому, что он рано или поздно *находит* жизнь, истину и путь...

– Ничего никто не находит, потому что ничего другого, кроме того, что уже есть, и быть не может! – зычно, в расчете на то, что медсестра тоже его услышит, объявляет Борисыч. – Что можно найти на мусорной свалке?

– А там и не надо искать, – спокойно парирует электрик, – надо искать там, где чисто. Там, где вещи и мнения окружающих перестают командовать тобой, где ты доверяешь самому себе...

– Я предпочитаю говорить о *реальных* вещах, – нетерпеливо перебивает его Борисыч, – ты же болтаешь о каких-то фантазиях... Реальность – она одна, она *окружает* нас.

– И в центре этого окружения, – усмехается электрик, – находишься ты сам, но себя-то ты и не замечаешь! Ты не желаешь считаться с собой! Ты говоришь вместо этого «мы», и в *этом* причина замусоривания жизни. Ты кричишь: «Смотрите, там вонючее болото, тамдохлая рыба!» Но сам-то ты не спасешь эту бедную рыбу, нет, не пересадишь ее в чистую заводь своих мыслей о ней. Ты накапливаешь *опыт разгребания грязи*, и только. Или, что то же самое: опыт копания в мертвечине. Кстати, нас окружает не одна только вещественная реальность...

– Твое дело, – с холодным достоинством осаживает его Борисыч, – чинить электропроводку, а не рассуждать о высоких материях.

– Вот-вот, – снова усмехается электрик, – это как раз точка зрения *мертвого*. Ты любишь, Бессмертный, смерть!

Валькина мать заваривает чай из липы, мяты и зверобоя, вынимает из духовки натертые мукой пышки. Жизнь делается все холоднее и холоднее, все меньше и меньше в ней сострадания, а понимание сути вещей, так почти уже на нуле: скоро, совсем уже скоро единственной сутью вещей станет их денежная стоимость. Помочь другому – за деньги, утешить и дать совет – за деньги, любить другого – будьте добры, оплатите вперед наличными. Так строится стопроцентно аморальное сообщество, в котором каждый, хоть и мертв, но, увы, счастлив. На этом кладбище человеческих интересов, под звездами и карикатурно величественными бюстами, слагается уже сегодня *песнь конца*: биологическая природа человека суть последняя его природа. На этом кончается, собственно, эволюция, дальше – феерический ад *нано*. И тот, у кого уже сегодня достаточно цепкий прищур, тот зябко вбирает в плечи свои склеротизированные извилины, присматриваясь к грядущему Большому Склерозу, и хочется ему, *бедному*, припасть и приникнуть к дышащему где-то рядом морю... но вокруг только пустыня.

У медсестры есть своя в жизни тайна: в своей внутренней, скрытой от глаз и рук тишине, она становится *сестрой* многим другим, сестрой милосердия. В походной бессонности ночей и склочной придиричивости будней «скорой», она изнашивает свое тридцатилетнее тело, не плача при виде смерти и не отводя глаз, провожая покидающую мир душу к порогу, за которым начинается неизвестное. Кто-то ведь проводит потом и ее... Валька? Он не знает пока, и никто пока в мире не знает, что в ее теле угнездилась новая жизнь. И сама она пока только ждет,

когда знаки этой новой жизни станут явными, и никакие проверки и пробы не коснутся едва лишь привязавшееся к материи существо. Она родит дома, в постели, а может, на полу, в полном сознании великого таинства *приземления* космического.

Дом Борисыча сдали на улице первым, положив на крышу блестящую черную черепицу и замостив перед крыльцом площадку серой тротуарной плиткой. Ему пришлось много раз ездить в город и доказывать, с бумагами в руках, что именно он, Борис Борисыч Бессмертный, нуждается, как *поэт*, в крыше над головой больше всех остальных. Он тряс перед носом чиновников коллективными поэтическими сборниками, альманахами и газетными полосами, цитировал наизусть рецензии и отзывы, грозя стать еще более маститым и известным, пока наконец кто-то, не выдержав этой профессиональной психической атаки, не распорядился, «ввиду особых обстоятельств», вселить Борисыча вне очереди. И теперь он с нетерпением ждет подъемные от союза писателей и пока никуда от электрика не съезжает, немало тем самым экономя. Он думает продать только что отстроенный дом и, приплюсовав к выручке деньги от недавно проданной городской квартиры, купить охотничий замок, достойный его, Бориса Бессмертного, стиля жизни. Но пока надо поддерживать охотничью форму.

В середине октября оценилась Сотовая связь: восемь толстых щенят копошатся в картонной коробке, лают во сне и пробуют рычать, и Валькина мать подкармливает их молочной овсянкой. Что делать с ними, пока не ясно, и щенки, опережая намерения людей, быстро растут. И вот наконец Борисыч забирает весь помет, забирает к тому же Сотовую связь, переправляет всех в свой новый дом, и в зале у электрика становится сразу пусто и скучно, только Бенья полаивает иногда на забредшую в дом курицу, и старый бородатый скотч нехотя и только по службе отвечает ему басовитым ворчанием. Под вечер Валька решает пойти посмотреть, как там теперь с «его» щенками, и уже возле новой, с новым почтовым ящиком, калитки его настораживает необычно визгливое, с переходом на вой тьякване, и хотя калитка заперта изнутри, он тут же перемахивает через ошетилившийся острыми верхушками дощатый забор. Подставив к стене ведро, он заглядывает в окно: желтый, под паркет, линолеум, пустая пока еще стенка, телевизор. Переставив ведро под другое окно, он смотрит, опершись локтями на подоконник, и ему кажется, что он рухнет сейчас на сложенные штабелем доски: стоя возле неоштукатуренной еще стены, в домашних спортивных штанах и майке навывпуск, Борисыч бьет с размаху об стену щенка... бьет до тех пор, пока тот перестает наконец визжать. В углу, привязанная к вбитому в стену крюку, воеет при каждом щенячьем визге Сотовая связь, остальные щенки сидят в картонной коробке. Не смея шевельнуть даже пальцем, Валька смотрит, не мигая, как Борисыч хватается щенка за загривок, закуривает, вдвливает горящую сигарету в щенячий глаз...

Валька не помнит, как соскочил с перевернутого ведра и перемахнул через забор обратно, очнувшись уже на своем огороде, споткнувшись об оставленную на меже тыкву. Некоторое время он смотрит на эту так и не дозревшую, не удавшуюся зелень, потом вдруг, ни о чем больше не размышляя, рвет ее вместе с подгнившим стеблем и бежит по огороду обратно.

Он не бежит, нет, несется, чуя у себя за спиной огромные крылья, огненные взмахи которых рубят, словно раскаленный меч, пахнущий

морозом осенний воздух. Он думает вовсе не о Борисыче, отсекающем хлебным ножом щенячью лапу, но о том, что живой, все еще пахнущий молоком визжащий клубок *действительно переживает* этот ужас: этот свершившийся факт ничем уже не исправить. Так много остается в жизни неисправленным! Разбив тыквой стекло в новой широкой раме, Валька прыгает с подоконника на пол.

– Ты! – кричит он незнакомым ему самому мужским голосом. – Остановись!.. прекрати!..

Борисыч с изумлением оборачивается, и на его бледном, изможденном похотью, стареющем лице проступает такое устрашающее сладострастие, что Валька в первый момент отступает, и только шелест огненный крыл за спиной возвращает ему уверенность, и его пальцы вцепляются в одеревенело твердый стебель с прочно сидящей на нем тыквой. Отшвырнув полумертвого щенка к стене, Борисыч еле слышно, одними только вытянувшимися в нитку губами, приказывает:

– На колени, щенок! Ну!! На колени!!!

Жар огненных, за спиной, крыльев. Наклонившись и увернувшись от расставленных рук, Валька бьет головой в пах, где только что стояло торчком доказательство взрослой мужественности, и Борисыч, согнувшись от неожиданной боли, роняет сигарету, и Валька с размаху лупит его по макушке тыквой... Недозрелая, но крепкая.

Еще не зная, что делать дальше, Валька стоит над грузно осевшим на пол телом, и только истеричный визг Сотовой связи приводит его в себя: сняв с нее строгий, с шипами, ошейник, он застегивает его на шею Борисыча, оставив конец поводка на вбитом в стену крюке. Потом собирает в коробку щенят, мертвых, и тех, кто, в блевотине и нечистотах, трясется от страха, дожидаясь пыток, ставит коробку на подоконник, вылезает наружу, и Сотовая связь выпрыгивает следом за ним. Только теперь, в начинающих уже густеть осенних сумерках, Валька замечает, как дрожат его руки, колени, плечи, подбородок, каким холодом отзывается у него под ребрами мысль о внезапной над Борисычем расправе. Проклятая тыква так и осталась лежать там, на полу, закатившись под стул, на спинке которого висит пятнистая охотничья куртка.

Он думает о нависшем над ним наказании: мать не купит, как обещала, новый велосипед?.. отец двинет в морду?.. учительница переведет на продленку, с обязательной зубрежкой и писаниной?.. Но ни одно из этих наказаний не идет в сравнение со справедливостью его огненной ярости, в которой, и он знает это наверняка, горячо дышит *его* правда, не проштемпелеванная ничьими распоряжениями или оценками. И Валька думает, что лучше уж в этой своей правде ошибиться, чем принять на веру чужую правду.

За забором он видит Катьку, она копает свой огород, намереваясь весной засадить его чесноком, сельдереем, укропом, петрушкой, щавелем, салатом, луком, редиской, морковью, огурцами... да она тут всего понасадит! Но главное, все это она сама же и будет потом жрать, ничего не потащит на рынок: она теперь... как это... вегетарианка. Остановившись возле забора, Валька молча на нее смотрит, и копошащиеся в картонной коробке щенки пронзительно, с переходом на тонкий вой, попискивают, словно торопя его поскорее добраться до дома, и Сотовая связь жметя к его ноге, возвращая его телу ослабевшую было дрожь.

– Я только что его убил...

Бросив лопату, Катька с испугом на него пялится: лицо в размазанных грязных разводах, руки в крови... Он умеет, этот поросенок, драть-

ся, он ведь и ей расшиб недавно нос... А если бы тогда не расшиб?.. если бы пошел с ней в кусты?.. Нет, правильно он ей тогда двинул. И, облегченно вздохнув, Катька спокойно уже интересуется:

– Этот... он не предлагал тебе денег?

– Он предлагал мне стать на колени.

– Вот ведь извращенец.

Катька снова берет лопату, чего зря по пустякам болтать. Все перешушанные ею мужики стоят теперь в длинном, аж края не видно, ряду, с этим самым наперевес, и нет среди них ни одного, кто хотел бы перестать быть скотом и зверем: это ли люди? За них всех вместе взятых Катька не даст теперь и гнилого кочана прошлогодней капусты!

– И правильно сделал, – добавляет она, с размаху всаживая в чернозем острую на конце лопату. – Так их, разэтак!

Не успел Валька закопать на лугу, под дикой грушей, мертвых щенков, как явился Борисыч, и прямо к отцу. В шею его врезаются острые шипы строгого ошейника, посреди лба синее огромная шишка. Но главное, на его пожелтевшем, осунувшемся лице нет больше прежней значительности, только неуверенность и испуг. Электрик сразу это заметил и приготовился к самому худшему: к насильственно-вынужденному сочувствию. Это ведь так среди людей распространено: изливать на другого, ни в чем перед тобой не виновного, потоки своей блевотины и экскрементов. Этот террор, эта неумная жадность до чужой искренности, мало чем отличается от наглого, среди бела дня, воровства: отколупни-ка от своей души, да побольше, кусок! Тот, кому невыносим вид самого себя, кто умирает от страха перед разоблачением, догадываясь о ничтожности своих намерений, тот ничего так не желает, как спасения... пусть даже весь мир при этом утонет в клоаке. Маленькое, требовательное, эгоистичное спасение! Оно не прощает оказанной милости, не вынося над собою превосходства. Спасен... чтобы отомстить.

– Плати, или я заявляю в милицию, – прямо с порога выкладывает Борисыч, – заявляю, кстати, на тебя! Ты же отец этому отморозку! Разбил окно, поубивал всех собак, меня чуть было не уколошил, мерзавец! Три тыщи долларов!

– Чего-о-о-о? – кричит с кухни Валькина мать, – Да у нас таких денег сроду не было! Чего это там Валька такого натворил?

– Спас остальных щенков... – негромко, чуть усмехаясь, отвечает электрик и смотрит на Борисыча в упор, прижимая его взглядом к стене. – Всего-то дал тебе по башке тыквой, та даже и не раскололась. Это на тебя надо заявлять, но только не в милицию, она с тобой заодно... и если есть еще где-то закон и справедливость, то только в душе, в том числе и в твоей, Бессмертный, душе!

– Рассказывай это своей бабе в постели, а мне за своего пасынка заплатишь!

– Ошейник-то, – усмехается в ответ электрик, – впору пришелся.

Хлопнув дверью, Борисыч топчется на крыльце, словно забыв что-то, и электрик выходит к нему, предлагает, как ни в чем не бывало, закурить. Его насмешливое спокойствие бесит Борисыча куда больше синющей на лбу шишки, и он напрягает теперь все свое интеллигентное поэтическое воображение, чтобы хоть как-то превозмочь этот, увы, факт: электрик, это не только упакованное в кожаную куртку и резиновые сапоги тридцатисемилетнее тело. Тело можно раздолбать

об стену, изгнать сигаретой, утопить на худой конец в болоте. Но... остальное? То, что встает теперь неодолимой преградой, что не желает родниться с полувывернутой наизнанку полуправдой? Все питаются этой полуправдой, желая того или не желая, и многие ею сыты. Так почему же *один* предпочитает оставаться голодным? С *одним* всегда в жизни морока: не уломаешь его, не приручишь. Один – это всегда вызов остальным. Можно, конечно, извести поодиночке всех, какие только встречаются, одиночек: хотя бы просто никуда их не пускать, не давать ходу к должностям и приличным зарплатам, да просто плюнуть на них и не обращать никакого внимания. А без внимания растет разве что крапива. Вот ведь и история, тысячи вздувшихся от фактов томов, говорит то же самое: роль личности равна нулю, если к ней не приписаны нули масс. Так задавим же массовыми нулями живучую гадину!

К дому медленно, с опаской, подходит Валька. В руках у него пустая коробка и лопата, лицо по-прежнему неумыто, руки в засохшей крови. Замирая на каждом шагу, он внутренне просит кого-то, кто незримо всегда ему помогает, помочь и на этот раз... помочь дойти до крыльца, подняться вверх по ступеням. Валька ищет на расстоянии взгляд отца и, вмиг поймав его, понимает: иди! Это ведь его дом, его крыльцо, его к тому же намерение *подняться*... и он, ускоряя шаг, думает: «Вот сейчас я подниму себя...» Он держит курс прямо на Борисыча, и тот, не понимая еще, в чем дело, жмется спиной к перилам... Но нет, Валька только проходит мимо.

Он идет в свою комнатушку, садится на край постели, зовет из-под стула Сотовую связь... она теперь никакая не Сотка, но Чара.

– Чара, – говорит он, беря ее в охапку, – он тебя больше не заберет, ты дома. А щенков раздам в школе ребятам, и не кому попало. Знаешь, откуда происходит зло?

Собака слушает, торопливо дыша и высунув, как после долгого бега, язык, и в ее темно-карих глазах просительно стоит вопрос: «Правда, не отдашь?» Щенки слабо попискивают, сбившись во сне в тепло дышащую кучу, теперь их только трое. И Валька доверительно шепчет, отвернув лохматое собачье ухо:

– Зло само по себе, как, например, соль или сахар, нигде не существует. Это всего лишь *направление* движения, вверх или вниз, и каждый выбирает направление сам. Бабушка говорит, что человек должен в конце концов стать ангелом, поэтому надо смотреть вверх... выше своей головы... и тогда, говорит бабушка, ангел наденет тебе на голову сверкающую корону. Борисыч же никогда в это не поверит: он видит только мясо, кровь и шкуру. И он не знает, Чара, что у тебя есть *собачья душа*! И хотя эта душа одна на всю стаю, на весь собачий род, все же и она, как сказала мне бабушка, стоит *высоко*... выше самого высокого в деревне тополя. По-моему... – тут Валька переходит на такой тихий шепот, что Чара перестает на миг дышать и прячет язык обратно, – ...не мои руки-ноги, голова и все остальное имеют при себе еще и какою-то душу, но это *Я сам*, который был всегда, получаю в свое распоряжение, на время жизни, это тело... – и добавляет уже громко: – Моему телу всего пока десять лет, а *сам Я*, как говорит бабушка, имею возраст Земли... Тебе это не интересно?

Чара снова принимается торопливо дышать, с языка капает на покрывало слюна. Все это, разумеется, ей известно: у нее с Валькой об-

щая история. И прежде чем произойти от волка и шакала, ей пришлось произойти... от человека.

Пахнет морозом. У самого горизонта небо силится выдавить из своей бесцветности тонкую зеленоватую полоску, и ее уже теснит со стороны выгоревших посадок серо-голубой предвечерний сумрак, обещающий тихую звездную ночь и утренний на траве иней. Солнце стоит над пожелтевшим жнивьем так низко, что, кажется, вот-вот спалит ненужные уже никому остатки стеблей и растрепанных пшеничных колосьев, и ветру нет дела до распахнутой в небо пустоты ожидания. Скоро зима, скоро подберется к спящему, выбрав для этого самую темную и долгую ночь, долгожданный вопрос: «Но ты-то сам?»

По жнивью несется пущенная галопом рыжая Наташкина лошадь: пламя хвоста и гривы сливается в одном порыве с растрепавшейся на ветру косой, и кажется, что это не два, но одно существо, вождедеющее к тонущему уже за горизонтом солнцу. Валька стоит и долго смотрит: так, должно быть, судьба рисует свои незабываемые картины. Сейчас, в этот предвечерний осенний миг. И пока еще солнце тут, со всем своим медовым, золотым, рыжим великолепием заката, надо успеть до него добраться... успеть! Он бежит лошади навстречу, обжигаясь кусачими оплеухами ветра, и Наташка что-то кричит ему... Она одета уже позимнему, в короткой, с меховыми отворотами, дубленке и высоких, по колено, сапогах, сзади плещется флагом оранжевый шарф, и Валька все это запоминает, чтобы когда-нибудь, жизнь ведь не так коротка, вернуться в этот осенний закат.

– Я нашла этот лошадиный бальзам от ревматизма, – кричит ему Наташка, – и еще шампунь! Для хвоста и для гривы, корове тоже подойдет!

Ветер жжет Вальке лицо, по щекам катятся слезы, и он торопливо вытирает их рукавом вельветовой куртки. Лошадь подходит к нему вплотную, фыркает, обдавая лицо паром, терпеливо и умно смотрит: чего стоишь? И сказать ему на это нечего, разве что развести вот так руками: я тут один, в поле... Один в свои десять уже с половиной лет. И чтобы Наташка сразу так не уносилась прочь, он мерзло, глядя на нее снизу вверх, выдыхает:

– Нет больше Белочки...

Наклонившись к лошадиной шее, Наташка долго на него смотрит. Потом, словно приняв какое-то решение, кивает ему:

– Поехали!

Он тут же, словно только того и ждал, хватается рукой за седло и легко вспрыгивает на спину лошади, и та пускается вскачь, и растрепанная на ветру коса закрывает его лицо рыжим, пахнувшим морозом пламенем. Солнце расплавляет на горизонте бледно-зеленую полосу, обдавая замерзающее поле последним своим, перед наступлением темноты, золотом: золотое, оранжевое, золотое...

10 сентября – 22 декабря 2011

Rygge

Валерий РУМЯНЦЕВ

Родился в 1951 году в Оренбургской области в семье судьи. Окончив филологический факультет Воронежского государственного педагогического института, работал учителем, завучем в одной из школ Чечено-Ингушской АССР. По окончании Высших курсов КГБ СССР на протяжении тридцати лет служил в органах госбезопасности.

Живет в Сочи.

ПРИСЯГА

Захожу я как-то к своему соседу по лестничной площадке, старику-инвалиду, в прошлом адвокату, в жизни которого остались лишь две радости: телевизор и шахматы. Он смотрел теленовости, но, пригласив меня в комнату, погасил экран. Расставляя шахматы, я взглянул на его истерзанное временем лицо и спросил, что интересного сообщили в новостях. Старик оживился, порывистым движением снял очки и, кивнув на выключенный телевизор, сказал:

– Только показали, как поступившие в военное училище принимают присягу. И я вспомнил, как это было у меня. Хочешь, расскажу?

Поправляя фигуры, я машинально кивнул. Он зачем-то подальше отложил палочку, с помощью которой передвигался по квартире, и, довольный тем, что представился случай вспомнить свою молодость, начал рассказывать.

– Было это 1 мая сорок третьего года в Мелекесе, где стоял наш только что сформированный полк. День выдался солнечный, тёплый. Наш старшина – Жидков Степан Петрович – с самого утра хлопотал. Для нас, безусых новобранцев, старшина был и отцом, и старшим братом. Надо сказать, мужик он был честный, справедливый и уже понюхавший пороху – за всё это мы его глубоко уважали. Правда, гонял он нас как сидоровых коз, но мы на него не обижались: знали, что на фронте придётся туго. А на фронт очень многие из нас прямо-таки рвались, ещё не подозревая, что девяносто процентов из нас погибнет там или, в лучшем случае, вернётся калеками.

Ну так вот. В тот день я был в наряде в полковой столовой. Повар поручил мне разделявать селёдку. Надо сказать, кормили нас неважно. А мы же пацаны, растём, есть постоянно хочется. И вот я, после некоторых колебаний, засунул за пазуху одну рыбину, что покрупней, предполагая хранить её как НЗ. Вдруг слышу команду: «Выходи строиться!» Выскочил я из столовой с рыбиной за пазухой. Пока бежал, смекнул, что она же будет нарушать солдатскую подтянутость и молодцеватость, и сунул ее в правый карман брюк (не хватило ума положить её в левый).

Торчащий из кармана хвост я согнул, чтобы не было видно. Стою в строю, придерживаю правой рукой изогнутый рыбий хвост.

Дошла и до меня очередь принимать военную присягу. Я вышел из строя, взял правую руку под козырёк и торжественным голосом начинаю: «Я, гражданин Советского Союза...» Уже заканчиваю присягу, убеждённо чеканю: «Клянусь беречь социалистическую собственность...» И вдруг в этот самый момент рыба как пружина распрямилась и рыбий хвост выскочил из моего солдатского кармана. Все присутствующие так и ахнули...

В тот день ко мне и прилипла кличка Рыбий хвост.

Потом был фронт, ранение, госпиталь. После войны окончил юршколу.

И вот через восемь лет после того злополучного дня меня уже на второй срок избрали народным судьёй в одном из районов Чкаловской области. На торжественном собрании в районном Доме культуры даю присягу судьи: «Клянусь беречь социалистическую собственность...» И надо же такому случиться! Буквально за несколько дней до этого на пост первого секретаря райкома партии прибыл тот самый Жидков Степан Петрович.

И вот в притихшем зале звучит моя присяга, а в президиуме сидит мой первый старшина и еле слышно бубнит: «Рыбий хвост...»

Закончилась официальная часть, захожу перед концертом в буфет, а народные заседатели, знающие меня уже несколько лет, облепили меня и спрашивают: «Чего это первый секретарь райкома партии ворчал?» Ну что им было ответить! Не рассказывать же всё, как было. Так они и не узнали, как принимал военную присягу их районный судья.

Старик умолк и, видимо, представляя себя молодым, жизнерадостным судьёй, стоящим в торжественной обстановке на сцене районного Дома культуры.

ДОРОГА НА ФРОНТ

До самого фронта была ещё и дорога на фронт. И эта дорога осталась в памяти на всю жизнь. Было это в декабре сорок второго. Эшелон, в котором ехал наш полк, немецкая авиация разбомбила, а до линии фронта было ещё километров сто. Мы должны были пройти пешком за ночь километров шестьдесят, чтобы к утру занять позиции и встретить прорвавшиеся немецкие танки. Полк выстроился в колонну и двинулся. Уже начало темнеть, мороз давал о себе знать, но, к счастью, ветра не было. Прошли мы часа четыре – чувствую, что начал уставать. Прошли ещё немного. Луна светит, вокруг снег – будто и нет никакой войны. Вдруг вижу – на обочине солдат лежит.

– Что это? – спрашиваю у старшины.

– Этот готов, – отвечает. – Выбился из сил, сел и замёрз.

Не может быть, думаю; подхожу к нему, смотрю – мёртвый.

Идём дальше. Ноги стали свинцовыми, сил нет, а мороз ну прямо звереет. Вижу, один из нашего взвода отошёл на обочину и сел, чтобы уже никогда не встать. Хотел я кинуться к нему, но чувствую, если выйду из строя, вернуться назад сил уже не хватит. Наступило такое состояние, что происходящее вокруг воспринимаешь как в полубреду. Вот когда выпить бы сто грамм! Идём дальше. Замёрзших на краю дороги становилось всё больше и больше. И никто не предпринимал никаких мер, чтобы спасти этих людей. Все выполняли приказ и решали главную задачу: к рассвету прибыть на позиции и удержать их во что бы то ни стало. Прошли ещё два часа, двигались уже медленно. Чувствую, что идти больше не могу. Вот она, последняя точка, когда человек уже не способен соображать, когда страдания настолько велики, что ради избавления от этих страданий человек готов на смерть. Стал я выходить из строя, а ребята мне:

«Подожди, Куликов, мы тебя поддержим...» Как, думаю, они поддержат, если сами еле на ногах стоят. Вышел я на обочину и сел прямо на снег. Сразу почувствовал, что замерзаю. «Всё, конец!» – мелькнуло в сознании. Хочу только одного – быстрее умереть. Лёг. Наши ушли вперёд. Вокруг – никого. Ночь. Мороз. Тишина. Поднял я голову, чтобы последний раз в жизни посмотреть на звёзды. Почему-то с детства я любил подолгу рассматривать их и даже мечтал стать астрономом. Смотрю на Большую Медведицу, вспомнил мать, отца. И вдруг своим носом чую, что доносится до меня запах кухни. И так мне захотелось пожрать, что это желание стало сильнее желания умереть. Появилась не жажда жизни, а жажда утолить именно голод. А при себе-то никакой еды нет: ещё вечером каждый из нас свой сухой паёк доел. Стал садиться, сел – не падаю. Стал вставать, опираясь на автомат, встал – не падаю. И поплёлся я, шатаюсь, в ту сторону, откуда доносился дух съестного. Что у меня там в голове произошло – не знаю, но я думал

только об одном: как бы утолить голод. Шёл и шёл – неизвестно откуда брались силы – в одном направлении. Прошёл, наверное, с полчаса; запах кухни всё сильнее. И вот вижу – полевая кухня, а рядом лишь один человек в шинели суетится.

И тут мне стукнуло: а вдруг это немцы? Фронт-то совсем рядом.

Снял с плеча автомат, вогнал патрон в патронник и подкрадываюсь ближе. Если, думаю, это немец, пристрелю его и всё-таки поем.

Держу автомат наготове и приближаюсь. Он увидел меня и направленный на него ствол и как заорёт:

– Твою мать! Какого хрена народ пугаешь?

Ну, думаю, слава богу, свои.

– Браток, – говорю, – умираю.

– Что такое? Ранен?

– Нет, выбился из сил. Дай чего-нибудь поесть.

– Не могу. Потерпи полчаса. Вот засыплю пшена, каши дам.

– Не могу ждать: за дезертира посчитают.

– Ну что я тебе сейчас дам?

Вижу, лежат пустые банки, из которых он только что выложил в котёл тушёнку. Взял я у него котелок кипятку и давай ополаскивать эти банки. Получился мясной тёплый бульон. Выпил я половину котелка, чувствую – силы появились. Эх, если бы ты знал, какой изумительный вкус был у того бульона. Я до сих пор помню этот вкус. Поблагодарил я кашевара и двинулся догонять своих. Пройду немного, остановлюсь и аккуратно, чтобы не разлить ни капли, пью этот бульон. Допил я его, и тут отчётливо мне в голову ударила мысль: если не догоню своих до позиций, отлучку расценят как дезертирство. А за дезертирство на фронте был разговор короткий – расстрел на месте. Особисты тогда не дремали. А впрочем, в той обстановке иначе и нельзя было. Вышел я на дорогу и ускорил шаг. Вижу, замёрзших солдат на обочине стало ещё больше.

Часа через три догнал своих и встал в строй. Никто на меня и внимания не обратил. Ребята были на пределе, шли молча, и каждый шаг для них был каторжно трудным. Стало рассветать. Слышу, рядом со мной один другому говорит:

– Вот и Куликов наверняка уже замёрз.

Ему никто не ответил. А я сам себе думаю: как бы не доложили о моей отлучке особисту. И неестественно громко так говорю:

– Нет, я здесь!

А часа через три мы уже выбивали немецкие танки из своих «сорокапятков». Немцев мы, правда, так и не остановили, но потрепали их основательно.

Из нашей батареи после этого боя в живых осталось всего двое...

Эту историю рассказал мне старик, с которым я случайно познакомился. Где и при каких обстоятельствах мы встретились, не имеет никакого значения. Кто конкретно этот человек – тоже неважно. Важно лишь то, что имя ему Русский Солдат.

ПУХОВЫЙ ПЛАТОК

Захарову повезло. Он ехал в купе вагона СВ один. В дорогу взял «Сумму технологии» Станислава Лема. Эту книгу он купил спустя месяц после окончания института, сразу начал читать, но вскоре бросил. И хотя в последующие годы он живо интересовался философией, знакомился с трудами многих мыслителей, конспектировал их, «Сумма технологии» почти четыре десятка лет пылилась в его домашней библиотеке по соседству с наследием мудрецов древности и средневековья. И вот, наконец-то, дошла очередь и до неё.

Пища для размышлений имеет неограниченный срок хранения. Захаров читал с интересом, не обращая внимания на стук колёс и бесснежные декабрьские пейзажи за окном. Перечитывал по нескольку раз отдельные абзацы, пытаясь проникнуть в логику автора. Он сожалел, что не оценил эту книгу раньше, и радовался, что никто не лезет с дорожными разговорами и не мешает ему погрузиться в каскад мыслей знаменитого поляка. Единственно, что иногда отвлекало Захарова, — предстоящая встреча со станцией Котельниково. Для него это была не обычная станция, а место, взметающее целый вал воспоминаний. В этом городке он родился, в нём прошло его детство и ранняя юность. Там он познавал мир, первый раз влюбился, а в шестнадцать лет вместе с матерью и отцом навсегда уехал оттуда в другие края. И так получилось, что за сорок пять лет он ни разу не побывал на своей малой родине. А временами этого очень хотелось, наверное, потому, что встреча со своей молодостью всегда делает тебя моложе.

В Котельникове поезд должен был стоять целых двадцать минут, там производится замена электровоза. Захаров взглянул на часы и, отметив в памяти номер страницы, закрыл книгу.

Вот-вот появится родная станция. Скорее всего, подумал он, на путях по-прежнему продают пассажирам рыбу, варёную картошку, домашние пирожки. Захаров вновь погрузился в воспоминания детства. Он вспомнил ту самую девочку Таню, которой увлёкся в четвёртом классе и любил до самого отъезда, до окончания девятого класса. За сорок пять лет все лица одноклассников стёрлись в памяти, а вот её лицо он помнил до сих пор. Странно всё-таки устроен человек: помнил, хотя ничего между ними не было, ни малейшего намёка на интимную ласку. Знаки внимания он регулярно проявлял, и она, безусловно, замечала их. Захаров жил тогда совсем как в том стихотворении классика: «Мне бы только смотреть на тебя, видеть глаз злато-карий омут...» Это была платоническая любовь, которая ещё не успела деформироваться под воздействием страсти и, видимо поэтому, единственная в жизни. «Боже мой! Как давно всё это было, — подумал Захаров. — Как сложилась её судьба? Где она сейчас? Жива ли?»

Когда за окном медленно проплывало здание вокзала, он, к своему удивлению, почувствовал лёгкое волнение. Захарову повезло: состав

прибыл на первый путь, можно будет выйти на привокзальную площадь, посмотреть по сторонам и увидеть близкие сердцу улицы и дома. Конечно, никого из знакомых уже не встретишь, а если и встретишь, то ни ты их не узнаешь, ни они тебя.

Он вышел из вагона. Холодный ветер кинулся ему на грудь и заставил застегнуть куртку. В глаза сразу бросилась целая армия шумных продавцов, которые судорожно метались от одного вагона к другому, надеясь найти покупателя для своего товара. В их руках чего только не было: копчёная рыба на подносах, пиво, консервированные овощи, сухофрукты, домашняя выпечка, рыбные котлеты, пуховые платки, шерстяные носки и варежки... Но, как и раньше, больше всего было копчёной и сушёной рыбы, оно и понятно – рыбный край. Высыпавшие из вагонов пассажиры покупали в основном именно рыбу. Разноголовые продавцы расхваливали свой товар, и чаще всего доносились слова «сом», «судак», «лещ», «балык».

Пока Захаров шёл по перрону к зданию вокзала, по радио объявили, что в связи с опозданием их поезда стоянка будет сокращена. «Вот те на! Значит, далеко от своего вагона отходить нельзя». Захаров развернулся и медленно пошёл к своему тамбуру, теперь уже внимательно вглядываясь в лица продавцов.

Одни из них задорно рекламировали свой товар. Другие нерешительным тоном просили купить что-нибудь, – и в этом было что-то унижительное для них. Менялись лица, мелькали товары. И вдруг одно лицо среди продавцов показалось Захарову знакомым. Он подошёл поближе и стал пристально рассматривать худощавую женщину примерно его возраста. В руках она держала поднос, на котором поблёскивала какая-то копчёная рыба. Одета была довольно бедновато: старая, выдавшая виды куртка с засаленными рукавами, потрёпанная вязаная шапочка, из-под которой просматривались редкие седые волосы, на ногах – башмаки непонятного цвета со стоптанными каблуками. «Не может быть!» Но чем дольше Захаров смотрел на это лицо, тем больше убеждался, что это его Таня, Танечка. Вот и та самая еле заметная родинка на правой щеке. «С ума сойти! Она!» Захаров вплотную подступил к женщине, которая не обращала на него никакого внимания, а пересчитывала только что полученные деньги за проданную рыбу. Захаров взял её за локоть и, когда та повернула в его сторону голову, всё ещё не веря своим глазам, нерешительно сказал:

– Танечка, здравствуй...

Женщина недоумённо смотрела на него несколько секунд – и вдруг в её глазах вспыхнуло радостное возбуждение.

– Юра! Неужели это ты?! Столько лет...

Захаров неуклюже обнял Татьяну и поцеловал в щёку. При этом он ощутил дрожь в её теле. Мешал этот дурацкий поднос, который она держала в руках, и резкий запах копчёной рыбы.

– Да, воды много утекло. А у меня всё-таки была, была надежда; правда, очень маленькая, что я здесь увижу кого-нибудь из нашего класса... И вот, видишь, угадал. Ну, расскажи, как ты живёшь? Есть ли муж, дети, внуки?

– Как живу? – Татьяна никак не могла справиться с волнением. – Вот, рыбой торгую. На учительскую пенсию-то далеко не уедешь. А тут надо ещё дочери помочь. Муж бросил её с двумя детьми, сбежал куда-то, ни слуху ни духу, ни алиментов.

– А муж, муж-то у тебя есть?

– Был. – Она махнула рукой. – Всю жизнь нервы трепал своим пьянством. Умер три года назад. А сын живёт в Волгограде, приезжает редко, у него там свои заморочки.

– Давай отойдём куда-нибудь в сторонку, – Захаров взял у Татьяны поднос с рыбой и, сделав несколько шагов, поставил его на большой фанерный ящик.

– А я о тебе много раз вспоминала, по-доброму вспоминала. Как ты-то живёшь?

Ложь сглаживает острые углы, и он ответил:

– У меня всё хорошо... А как наш класс? Все живы?

– Обо всех не знаю, встречались как-то лет тридцать назад... Знаю только о тех, кто живёт здесь, в Котельникове. Володя Бачалов был у нас председателем районного суда, спился, умер пять лет назад. А жена у него Любка Житецкая. Помнишь, с тобой когда-то за одной партией сидела? Тоже спилась. Два сына у них, и оба – наркоманы...

– Какой кошмар! Да что у вас тут делается?

– Да то же, что и по всей России... Лидка Кудышкина до сих пор преподаёт в нашем техникуме. Мишка Огурцов работает сварщиком. А Серёжка Семёнов где-то там на канале электриком.

Захаров слушал её, смотрел на глубокие морщины худого лица, на неухоженные руки, на подёргивающиеся от холодного ветра плечи – и жалость к когда-то любимому существу зашевелилась в его сердце. Он купил у проходившей мимо них торговки самый дорогой пуховый платок и накинул его на плечи Татьяны.

– Это тебе на память о нашей встрече.

– Да ты что?! Такая дорогая вещь...

– И не спорь, не обижай меня. Прошу.

– Ну... тогда спасибо тебе огромное. Я бы за такую цену никогда не купила, – и она поцеловала его в щёку.

Объявили посадку. Захватив поднос с рыбой, они пошли к вагону. В бумажнике Захарова лежала немалая сумма, он очень хотел дать Татьяне денег, чтобы она не стояла тут, не мёрзла. «Но она их, скорее всего, не возьмёт, – подумал он, – да и эта выходка может оскорбить её».

– А как Раиса Ивановна, наша классная? Жива?

– Жива. Но у неё был недавно инсульт, она очень плохо передвигалась. Теперь она в Волгограде у дочери. Как сейчас – не знаю.

– Поезд отправляется, заходите в вагон, – послышался голос проводника.

Юрий передал поднос Татьяне и, вздохнув, сказал:

– Увидишь наших, всем от меня привет и наилучшие пожелания...

Подгоняемый проводником, он поцеловал замёрзшую холодную руку Татьяны и поднялся в тамбур. Вагон вздрогнул, и сердце Захарова трепыхнулось и защемило. Его детская любовь стояла со своим неразлучным подносом и тихо всхлипывала. На её плечах красовался большой белый пуховый платок. Вдруг Татьяна рванулась к закрывающейся двери, и он услышал её последние слова:

– Юрочка, спасибо тебе за всё! Слышишь, за то, что ты был в моей жизни!...

...Не снимая куртки и фуражки, Захаров в одиночестве сидел в своём купе. На столике лежала книга. Читать её не хотелось. Дорога утомляет, особенно если это дорога жизни.

Михаил ЧИЖОВ

Михаил Павлович Чижов родился в 1946 году в Горьком. Окончил политехнический институт, работал в химическом объединении «Капролактам» в Дзержинске, затем в органах охраны природы.

Автор нескольких сборников прозы и публицистики, лауреат премии Нижнего Новгорода.

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

ПОПУГАЙ

Он сидел на жердочке в проволочной клетке и неторопливо перебирал клювом зеленые перышки на животе. По всему чувствовалось, что эта маленькая птаха знает себе цену: царственная орлиная вальяжность быстро сменялась короткими взглядами в круглое зеркальце, болтавшееся напротив гордого красавца. Ярко-желтые лоб и горло, салатно-зеленые животик и основание хвоста, чередующиеся черные и желтые полосы на крыльях и мантии. Живая и яркая картинка, от коей глаз не отвести.

– Мамочка, родненькая, смотри какая прелесть, – восторженно запищала девочка с двумя жиденькими светло-русыми косичками.

– Хорош! – важно согласился отец девочки, тридцатилетний коренастый малый в майке с обширными вырезами на спине, открывающие мощные лопатки с мудреной татуировкой, и, ища одобрения, вопросительно взглянул на жену. – Волнистый попугай, – добавил он, показывая свою осведомленность.

Жена молчала, зная, что похвали сейчас она эту птичку, как дочь начнет кланяться и ныть: «Купи, мам, купи!» Последнее слово всегда оставалось за ней и, чтобы оно было весомо, следовало им не разбрасываться по пустякам.

– Мамочка, купи, – подтверждая её мысли, заныла дочь, стараясь заглянуть ей в глаза. – Ты же обещала мне подарок к первому сентября.

Да, правда. Обещала. Они и пришли-то сюда, на рынок в южном приморском городке, чтобы присмотреть какую-нибудь «экзотику» для дочери, в этом году собирающейся в первый класс.

– Ну, мамочка, ну, купи. Братика мне не купили, как обещали, так хоть птичку купите.

Мать нахмурилась от воспоминаний. Да, на самом деле, ей вдруг расхотелось терпеть боли и валяться на кровати в роддоме. Фу, какая мерзость эти роды! Лучше путешествовать, смотреть мир, а тут страдания. Зачем?

– Нет, давай походим по рынку, посмотрим. Первую попавшуюся на глаза вещь не принято покупать. – Тамара старалась жить системно. – Может, найдем что-нибудь более интересное.

Умудренный опытом, как завзятый психолог, смуглый пожилой продавец в засаленной ковбойской шляпе сразу понял, кто в доме хозяин, и вступил в разговор.

– Порадуйте дочку, медам! Разве можно отказать такой прелестной девочке, – польстил он.

– Тебе бы хоть черта, хоть попугая продавать: все едино, – грубо возразила Тамара.

– Эх, медам, медам, – покачал головой продавец, похожий на пирата, но более не стал распространяться при ребенке, осуждая грубую выходку молодой и красивой на вид женщины.

– Томочка, ну зачем ты так, – смутился крепыш-отец.

– Молчи уж, – оборвала его жена и потащила дочь от вдруг громко заверещавшего попугая. – Я тебе куплю черепашку.

– Не хочу черепашку, – залилась слезами дочь, – хочу попугая, – но покорно поплелась за матерью.

Однако девочка характером оказалась в мать: через десять минут они вернулись к продавцу попугая.

– Как звать тебя, милая девочка? – ласково спросил он.

– Вика, – ответила та, не отрывая глаз от пышного попугая. Видимо, он прикипел к её сердцу накрепко.

– Я тебе даже клетку вот эту роскошную подарю, – добавил продавец.

– Подарок, включенный в стоимость товара, – насмешливо прокомментировала мать.

– Зря иронизируете, – произнес с грустью несостоявшийся пират, – я ведь от чистого сердца.

– Знаем мы ваши сердца, – не сдавалась Тамара.

– Если бы попугай был мой, ни за что не продал бы вам. Девочку жалко.

– Он что, ворованный? – изумилась суровая мать.

– Друг, умирая, велел отдать в хорошие руки.

– Вот и отдайте, – решительно сказала хваткая Тамара.

– Могилку друга надо устроить, – кротко возразил продавец.

– Сколько?

– Тыща.

– Н-да?!

– Мамочка, – сердцем чуя неладное, взревела Вика.

– Они так и стоят, да еще клетка, – поддержал продавца отец девочки.

– Но ведь еще везти надо через всю страну, а ведь дома можно такую невидаль купить, – не сдавалась Тамара.

– Такого не купишь. Клетка легкая, девочка запросто её понесет.

– Пррри-вет, – вдруг заверещал попугай. Все вздрогнули от неожиданности.

– Ой, он и говорить умеет, – обрадовалась Вика

– Одно только слово и знает, – сказал продавец.

– Боже мой, какой грабеж, – сурово сказала Тамара, доставая деньги.

– Какая ты, однако... – продавец замялся, подыскивая более мягкое определение, – черствая.

– Не твое дело. Получай и катись к своему другу, – прошипела раздосадованная Тамара. Её красивое лицо передернулось от откровенной злобы.

Вика стояла уже с клеткой в руках и не слышала последних слов матери. Её занимал только попугай.

– Ах, какой красивый, ах, какой умный – говорить может... ах, ах.

– Пусть он принесет тебе счастье, девочка, – пожелал на прощание смущенный продавец и тут же исчез, словно испарился.

– Мы даже не спросили, как звать птичку, – рассердилась мать.

– Правильно, – осудил муж, – все надо делать с любовью, а не с руганью.

– Ах, ты... – хотела наругать Тамара, но осеклась, встретившись взглядом с дочерью.

– Назовем его Кеша, – предложила девочка.

– Стандарт, – засмеялся отец и ласково подергал дочь за маленькие косички.

– Ну, папка, хватит, – отмахнулась довольная Вика.

* * *

Кеша оказался большим мусорщиком. Он любил, как вычитал отец из Интернета, льняные и конопляные семена и, разгрызая их, мотал головой так, что шелуха разлеталась по всей комнате. Еще он любил свежую очищенную морковь, которую буквально оседлывал, когда её просовывали между прутьями клетки. Кеша не столько съедал её, сколько разбрасывал, находя великое удовольствие в том, как она быстро исчезает. Тамара негодовала. Пришлось поставить красивую и изящную клетку с попугаем на подоконник в кухне. Вика терпеливо убирала шелуху и помет, меняла воду, подсыпала корм. Мать не прирагивалась – счастье обещано было не ей, а дочери. Лишь иногда помогал ей отец, и Вика его нежно благодарила: теперь у нее тоже были заботы. Школьные.

Ближе к весне, в феврале, Кеша вдруг загрустил, меньше стал клевать семена и пить водицу, а больше сидеть, задумавшись, на жерди, разглядывая себя в зеркальце. Порой кричал громко и требовательно, особенно по ночам, будя всех домочадцев.

– Заболело ваше счастье, – с оттенком злорадства говорила Тамара, – я же чувствовала что-то неладное: стар он и скоро умрет.

– Папочка, что же делать? – заплакала Вика.

– Снесем его завтра к ветеринару, узнаем, в чем дело, – успокоил дочь отец.

– Совсем, совсем это не Кеша, а Маша, – первое, чем огорошил ветеринар Павла и Вику. – Видите, у нее восковица палево-синего цвета, – он показал на основание клюва, – а у самцов она черно-синяя. Экземпляр очень достойный, – похвалил ветеринар, – вон даже и намек пахуопероedов у неё нет. Здоровенькая, а грустит она оттого, – замялся он, – что ей нужен друг.

Обескураженные новостью отец и дочь, молча, покинули айболитскую клинику.

– Помнишь, папа, песенку пиратов из мультика «Остров сокровищ»? – спросила дочь.

– Ну-ка напомни, – повеселел отец.

– Лучше быть одноногим, чем быть одиноким, – пропела Вика.

– Здорово, – восхитился отец. – Вот именно так: у каждой живности должен быть друг. Только вот что скажет мама?

– А пойдем сразу же в магазин и купим ей друга, а маме скажем, что это посоветовал врач. Ведь так и было, правда, папочка?

– Пойдем, – вдруг решился осторожный прежде отец.

Они зашли в зоомагазин и выбрали самого красивого сине-черного самца. Пришлось купить и маленькую клеточку для переноски, так как продавец не посоветовал сразу их сводить, говоря, что они должны привыкнуть друг к другу.

– Наука, – вздохнул отец, расплачиваясь попутно и за дуплянку, в которой Маше предстояло высиживать потомство. Продавец объяснил, как и когда её прикрепить к клетке.

Объяснение с мамой Тамарой было трудным, но и оно закончилось. Последующие события заставили забыть о предыдущих неурядицах. Когда через три дня, сочтя срок сближения достаточным, нового Кешу впустили в клетку к Маше, началось «ледовое побоище». Маша гонялась за ним, непременно норовя клюнуть «друга» в голову. Кеша не сопротивлялся, а с позором забивался в угол, прячась от ударов. Чтобы успокоить разошедшуюся Машу, клетку накрыли плотным черным платком, но и под ним некоторое время слышался какой-то сдавленный писк и сердитая трескотня.

– Стерпится – слюбится, – дипломатично произнес Павел.

Вика подавленно молчала: что-то смутно знакомое чудилось ей в этих яростных наскоках Маши на Кешу. Она даже ночью плохо спала, часто просыпалась и прислушивалась к тому, что творится на кухне, но там, к счастью, было тихо.

Утром, когда сдернули платок, им явилась следующая картина: сердитая Маша на верхней жердочке, на нижней же, в противоположной стороне, сидел подавленный и потерявший прежний лоск Кеша.

– Энергетика, что ли, у них разная? – спросил сам себя Павел, не ожидая ни от кого ответа. – Хорошо, хоть не дерутся.

– Не любит она его, – веско, по-взрослому подвела черту Вика.

Павел тяжело вздохнул. Тамара, вечно чем-то недовольная, на этот раз промолчала. И они разошлись каждый по своим делам.

Попугайная царица Маша, сидя на верхней жердочке, видимо, давила на сознание слабовольного Кеши так, что он и без птичьих драк угасал с каждым днем. Когда клевал семена, то постоянно вздрагивал и оглядывался, ожидая нападения жестокой соседки. Да, она стала ему сварливой соседкой, а отнюдь не подружкой жизни, как мечталось отцу с дочерью. Вика, наконец, придумала отселить его в маленькую переносную клеточку, в которой он прибыл сюда, но и это не помогло – тельце его буквально ссыхалось. Клеточку отнесли в другую комнату, чтобы вид свирепой Маши не угнетал его, но сердце Кеши не забилося от радости, не омолодилось.

Через месяц Павел вдруг проснулся среди глухой ночи, и нечто толкнуло его к клеточке. На полу её лежало недвижимое тельце некогда прекрасного волнистого попугая. «Хорошо, что Вика не видит», – подумалось ему, и он стал озираться в поисках какой-нибудь коробочки, куда можно было бы положить Кешу. Прошел в ванную, и взгляд его наткнулся на вчера купленную зубную пасту. Он вытряхнул её из коробочки и положил в нее высохшее тельце. Оно убралось туда легко.

«А почему, собственно, не говорить об этом Вике», – решил он, возвращаясь в постель. Было не до сна. Обычно чуткая Тамара спала на удивление крепко и спокойно. «Она ведь тоже своеобразная попугайка»

Маша», – невольно пришла о жене эта мысль, от которой он как бы даже застонал, но не от боли, а скорее от облегчения, что он наконец-то решился сам себе сказать правду, которую раньше старался не замечать.

– Где Кеша? – спросила Вика, входя на кухню, где завтракали родители.

– Кеша умер, – грустно сказал Павел.

– Ты еще заплачь, – подначила его Тамара.

Павел ничего не ответил и прошел в ванную комнату. Вика за ним.

– Вот он, – сказал он, открывая коробочку. Но тут ворвалась Тамара.

– Ну совсем дурак. Зачем травмируешь психику ребенку? – закричала она.

– Папа, покажи, – тихо попросила Вика, не отвечая на крик матери.

– Пойдем, похороним его в палисаднике, тебе ведь во вторую смену.

– Пойдем.

Павел взял широкий крепкий нож, коробочку, и они вышли во двор, а потом через калиточку на маленький клочок свободной от асфальта живой земли, на которой зацветали ранние нарциссы, высаженные соседкой. Дело было минутное: Павел вырезал ножом углубление, положил в него коробочку, присыпал ее землей. Вика плакала тихо и подетски обреченно. Вдруг она подняла два прутика с земли и какую-то рыжую травинку, длинную и крепкую, связала крест. Воткнула рядом со свежей землей.

– Ну, что, романтики, совершили обряд погребения? – насмешливо спросила Тамара, когда они вернулись. Отец и дочь промолчали.

* * *

Жизнь, казалось, вошла в прежнее, неглубокое русло. Как вдруг пожилая соседка, что ухаживала за цветами в палисаде, пришла к ним в гости.

– Вы, я знаю, держите волнистых попугайчиков? – спросила она прямо с порога.

– Да, – с недоумением подтвердил Павел. – А в чем дело?

– Мне тут срочно надо выехать в Украину к умирающему брату, и не с кем оставить своего попугая. Я одинокая. Можно его к вам пристроить, так сказать, до кучи? Опыт у вас есть, корма я вам оставлю много. Выручите, пожалуйста.

– Да, мы бы взяли, но у нас осталась одна попугаиха, а она настоящая зверюга. Сжила уже со света одного ухажера. Как бы и ваш не пострадал.

– Да ладно вам шутить. Хотя, впрочем, будь что будет. Мне, да и моему инвалиду-попугаю, теперь все едино.

– Несите свое сокровище.

Соседка, спустя минуту, явилась с клеткой, в которой сидело действительно «сокровище», какое-то драное, с беспомощно висячим крылом существо, ничем не напоминающее бойкого волнистого попугайчика.

– Что это с ним? – спросил потрясенный Павел (он дома был один).

– Не поверите, прошлым летом каким-то чудом забрался в открытое окно. Видимо, вылетел из небрежно закрытой клетки и поплатился от кошки за излишнюю доверчивость. Вы замечали, что все животные в трудную минуту ищут помощи у людей? Вот только тогда для них

человек – царь природы, спаситель, как и самому человеку в страданиях нужен Бог...

– Вы, я смотрю, склонны к философствованию? – с некоторой долей иронии перебил Павел.

– Страдающее существо видит главным в жизни не свободу, а смысл, и он толкает к размышлениям.

– Ну, хорошо, возьму я вашего философа. Как звать-то инвалида?

– Кеша.

«Да, брат, попал! Забьет тебя, уродца, наша Маша до смерти», – подумал Павел, принимая клетку, но не стал расстраивать пожилую женщину своими грустными соображениями.

Он прошел на кухню и поставил клетку рядом с Машиной. Попугайка вдруг встрепелась при виде нового «друга» и села на проволочное ограждение поближе к новой клетке. Потом отлетела и вновь, вернувшись, вцепилась в проволоку уже вниз головой, всячески стараясь привлечь внимание соседа. Тот безучастно сидел, равнодушно поглядывая на беспокойную птаху.

– Чудеса, – прошептал Павел себе под нос, засунул среди проволочек любимую морковку Маши, на которую она даже и не взглянула. – Чудеса!..

– Скоро ты откроешь зоомагазин на дому? – насмешкам Тамары не было предела.

– Да ладно тебе ерничать, – раздраженно ответил Павел, – уймись.

– Это что-то новенькое, – удивилась Тамара. – Ты стал смел в речах?

– Может, скоро буду таким и в делах.

– Ого, – успела произнести жена, как на кухню вбежала бойкая Вика и подхватила последнее восклицание матери, но с другой интонацией:

– Ого! Новый друг для Машки. Какой страшила!

Павел рассказал о визите соседки.

Тамара, прежде мало интересовавшаяся попугайной жизнью, внимательно всматривалась в поползновения Маши.

– Да, она втрескалась в это чудовище. Давайте соединим их вместе.

– Я боюсь, она его растерзает, – расстроилась Вика.

– Ничего ты не понимаешь, – решительно возразила мать, подошла к новой клетке и взяла в руки соседского попугая.

– Лети, – скомандовала она, впуская его в клетку к Маше.

Попугай не мог летать, он вцепился в проволоку лапками и быстро-быстро поднялся по ней на жердочку. Маша тут же подлетела к нему и села рядом. Прижалась боком и заглянула ему в глаза. Что-то прочитала в них, слетела вниз, взяла в клюв подсохшую чешуйку морковки и вновь уселась рядом с соседом. Тот безропотно открыл клюв, а Маша положила в него угощение.

Павел и Вика остолбенели. Тамара понимающе кивала ухоженной, красивой головой.

Неожиданно зазвенел звонок у входной двери. Вика бросилась открывать.

– Дед пришел, – кричала она, затаскивая отца Павла на кухню. – Дед, посмотри, что Машка вытворяет. Она кормит соседского попугая.

Машка к тому времени уже перестала кормить соседа, а сидела рядом и ласково перебирала ему перышки на голове. Тот, блаженствуя, закрыл глаза и слегка покачивался.

– Чудеса, – согласился дед и добавил, – лучше быть одноногим, чем быть одиноким.

– Дед, ты не забыл эту песенку? – восхищенно спросила Вика.

Тамара недолюбливала деда за его старческую прямоту и ушла из кухни в залу.

– Конечно, не забыл песенки любимой внучки. Еще я помню, как ты, трех лет от роду, как-то сказала: «Когда я была маленькой, я с удовольствием боялась волков», а в четыре года ты выдала: «Я уже серьезно рассматриваю вопрос о замужестве».

– Какой ужас, – Вика закрыла лицо руками и нервно рассмеялась.

– Это нормально. Все мы в детстве хотим выглядеть взрослыми, а в старости хотим вернуть детство. Нормально. Как дела в школе?

Вика рассказывала, дед слушал, и одновременно они, не отрываясь, смотрели за ухаживаниями Машки.

– Скоро им пригодится дуплянка, – наконец изрек дед.

– У них будут маленькие попугайчики?

– Скорее всего. Вот тогда начинай учить их говорить. Через двадцать дней они немного оперятся, бери одного, самого способного, отсаживай в маленькую клетку и её выноси в другую комнату, чтобы ученик не слышал родных криков, а только речь человека. Сажай его на руку и говори с ним, говори, говори.

– Трудно.

– Всё хорошее в жизни дается с трудом, – вздохнул дед.

* * *

Дуплянка, в самом деле, пригодилась. Инвалид попугайного племени оказался далеко не промах, и Машка снесла долгожданные яички, как положено, в дуплянку. Но случилось невероятное.

Машка один лишь день повозилась в дуплянке и вылетела оттуда пулей, чтобы, как и прежде, ухаживать за супругом. Павел удивлялся, что же она не высиживает птенцов. День, другой наблюдал он за Машкой, но она и ухом не вела и носа не совала в дуплянку. Новые чудеса. Может, она только ночью сидит на них, когда они спят? Вопросы, вопросы. Павел даже не спал одну ночь, подглядывая за парой. Нет, не хочет сидеть Машка над потомством. Тогда он снял дуплянку и осторожно чуть не выронил её из рук. Все яйца, все до единого, были проткнуты острым клювом и начинали уже пованивать.

Ошеломленный Павел позвонил отцу.

– Сейчас приеду, – тот был краток.

– Вот это любовь! – вынес он вердикт, исследовав яйца. – Она их проткнула, чтобы всё свое чувство отдавать любимому. Не размениваться на детей.

– Не может быть! – удивился Павел.

– Расскажи мне кто другой, тоже не поверил бы, а тут собственные глаза не дают обмануться. Попугаиха-вампи, леди Макбет птичьего племени. А по-русски: любовь зла – полюбишь и козла.

– Отец, я давно хотел с тобой поговорить, – посерьезнел Павел.

– Жена стала погуливать? – догадался отец.

– Ты стал экстрасенсом?

– Поживешь с мое, и ты станешь.

– Так что же делать?

– Расходись! Жить будешь у меня. Места хватит.

- А Вика?
- Бери с собой. Вдвоем воспитаем.
- Тамара не даст. Матерям вера, а отцам – фигу.
- А ты докажи, что она гуляет, тогда суд, если Вика согласится, конечно, примет твою сторону...

Вика согласилась. Теперь, когда она идет между двух солидных мужчин, молодого и старого, ей легко на душе, ей спокойно и радостно. Не это ли счастье ей пророчил продавец попугая?

Следующую порцию яиц Машка тоже расклевала. И третью, и четвертую... Неделимая любовь...

Евгения ОРЕХОВА

Родилась в Нижнем Новгороде. Выпускница филфака Нижегородского государственного педагогического университета. Работала в разных должностях, в нижегородских издательствах, сейчас – в редакционно-издательском управлении Нижегородского госуниверситета.

Публиковалась в ряде периодических изданий. Живет в Нижнем Новгороде.

РОЯЛЬ

*Старый рояль,
Мне поверь, мне поверь,
Старый рояль!*

Д. Иванов. Старый рояль

*Зябко скрипнет костьль, тихо всхлипнет медаль,
И тапер отпирает трофейный рояль...*

М. Свищев. Монгольское танго

1

Звуки струились из распахнутых ставен тихой июльской ночью. Шопен качал Млечный Путь на волнах вальса си-бемоль минор*. Сердце печалилось о сущем, душа плакала о неизбежности войн...

Мама обожала Шопена за его верность родной Польше и вечную мечту вернуться. Грустила она с этим вальсом, а размышляла и гневалась – с его полонезами.

Сейчас она прощалась с верным милым другом-роялем Bechstein'ом.

– Не реви! Ну что ты огорчаешься? Все получится, все устроится... – утешала Стасю мама, когда у нее не получалось сыграть без помарок или написать без ошибок.

Но не устроилось. С лета тридцать девятого жить в Трептове, на окраине Берлина, стало невозможно. Папу Волдемара отправили на фронт, и больше Стася его не видела, а они с мамой уехали с окраины Берлина подальше от войны, от гонений на неарийцев, и след их потерялся. Бросили всё: дом, сад, всё, что было в доме... Любимые игрушки, акварели и рояль. Не вернулись.

2

Рояль стоял долго один в нетопленном доме. Слушал стоны ветра в трубе и щелях зимой и щебетание за окном летом. Скучал. Хотел играть, но... никто не заходил. У людей была война. И мышь устроила гнездо

* Ор. 69 № 10 В-moll.

в куче нот на кресле. Вскоре, в начале июня сорок первого, взрывы заглушили птичий гомон – это русские бомбили заводы Siemens. Устрашали. Через небольшую вечность одиночества бомбардировки стали чаще. А весной сорок пятого в дом пришел Победитель. Первое, что он заиграл забывшими мир заскорузлыми пальцами – бетховенскую «Лунную», так горько, скорбно было на сердце. И так странно было слышать тихую печальную музыку посреди войны. Русский лейтенант пошел на войну со второго курса Горьковского музучилища. У него было две медали и орден Красной Звезды. И огромное желание победить. Победу он встретил в Трептове. Вместе со всеми очумело палил в небо и плакал.

Рояль поехал с ним. Разрешили старшему лейтенантику взять инструмент, поскольку – орден. Лейтенант-победитель вез с собой только рояль и сумку с нотами, сумасшедший. Но ему так надоела война – кровь, смерть, грабежи... Хотелось мира и музыки. По пути домой он часто садился и играл. Конечно, «Землянку» и «Синий платочек», любили попутчики «Там вдали, за рекой...». Вокруг собирались все, кто мог, и слушали, плакали. Они-то возвращались, а сколько осталось там... Потом шли Бах и Моцарт на уже подрасстроившемся в пути Bechstein'е. Классические звуки утишали боль.

3

Рояль ехал в тряском вагоне, потом плыл на барже по Волге – не один, около сотни собратьев рядом. Вода рокотала под днищем, струны роялей ей отзывались. Окончился путь в городе Горьком. На своих колесиках выехал на причал – и вскоре стал свидетелем секунды молчаливого недоумения и долгой неопишуемой радости матери вернувшегося Победителя. Она приняла рояль и полюбила. Не играла, но слушала так проникновенно... С их второго этажа часто по вечерам через распахнутые окна, перемешиваясь с густым запахом сирени, летели в пространство звуки: мелодии мира и любви.

4

Дочка лейтенанта не могла не полюбить рояль – и после музучилища стала музыкальным работником в садике. Тогда рояль переселился туда – в царство шумных детей, залихватски танцующих полечку или забавно, нестройно, но душевно поющих про елочку или улыбку, от которой всем светлей. В садике рояль чувствовал себя очень-очень старым, но нужным. Дети были очень музыкальными и отзывчивыми. Засыпали под колыбельные, просыпались под марши. Водили хороводы и пели на утренниках. Изредка Bechstein вспоминал потерявшуюся в вихре событий фройляйн Стасю и ее маму – и тогда в садике звучал Шопен.

5

– Саш, ну не могу я убить его, – с тоской в горле прошептал другу мастер-настройщик в госконторе по утилизации музыкальных инструментов, пришедших, по мнению комиссии по списанию, в негодность. – Ты никому не скажешь? Я сегодня же ночью увезу его к себе. Напишем, что, как обычно, разбились и – на лом. Магарыч за мной. Только не выдай... Не могу я...

В глазах щипало, и рука с кувалдой не поднялась. Мастер не смог. Так началась очередная новая жизнь трофейного рояля. Мастер увез его к себе в деревню на Светлояр.

6

Дружба рояля и мастера вспыхнула сразу и навсегда. Он был всего лишь ремонтником и настройщиком, но любой мастер – вольный музыкант. Он умеет слышать и слушать музыку. Брат мастера был поэтом, и частенько их деревенский дом, словно салон старого времени, превращался в музыкально-поэтическую гостиную для друзей. Были времена, когда играли тихо и с закрытыми окнами, чтобы слухачи-стукачи не пронюхали что-нибудь запретное, несоветское. Потом окна распахнулись – разрешили все, но все оказалось почти никому не нужным: в очередной раз классику «сбрасывали с парохода современности» в угоду новым веяниям – сначала популярности, затем актуальности да перформансности.

7

Рояль с мастером хандрили давно. Телевизора в доме не было, но соседки назойливо снабжали политинформацией о бомбежках Луганска. Скорбная «Лунная» лилась по вечерам из распахнутых ставен и терялась в тишине леса и тоскующих брошенных домов.

– Машенька, только недолго, не утомляй дедушку, – наказывала соседской девочке мама. – И не носитесь по дому со Стасей, ему тяжело за вами прибираться.

В гости к мастеру приехала внучка, и подружка Маша сразу прибежала к ней в гости.

Девочки носились по кроватям и залезали под них, одевали кукол и рисовали котят.

Наступил вечер, и дед по привычке снова начал «Лунную».

Через десять минут из-под рояля донеслось всхлипывание. Восемилетняя Стася плакала, как маленькая.

Дед испугался:

– Что? Ушиблась? Что случилось?

– Грустная у тебя песенка, такая грустная, – прошептала Стася. – Сыграй другую.

И Bechstein вспомнил садииковские полочки и «про елочку». Хандра рассеялась.

Девочки плясали среди на скрипучем полу развеселившегося и тоже тайком подтанцовывавшего дома.

– Спи, моя Стася, усни,
В доме погасли огни,

– пел дед уставшим девочкам и успокаивал соседку, что, мол, Маша ему не помешает, пусть спит, завтра прибежит.

А ночью роялю снились милая фройляйн Стася, молоденький русский лейтенантик и бог знает еще чего под тихий свист сверчка и скрип ветлы за окном.

Владимир СИЛКИН

Родился в 1954 году в городе Рязске Рязанской области. Окончил Рязский дорожный техникум, Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, редакторское отделение военно-педагогического факультета Военно-политической академии. Проходил военную службу в Южной группе войск (Венгрия), Белорусском, Сибирском, Дальневосточном военных округах, Главном управлении кадров Министерства обороны СССР и РФ, Военно-художественной студии писателей МО РФ. Кандидат педагогических наук. Ветеран военной службы, полковник в отставке.

Автор сорока четырёх книг стихотворений, эссе, песен, переводов. На его произведения написано более 500 песен композиторами России и зарубежья.

Лауреат Государственной премии России, Национальной премии Петра Великого, Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» и многих других. Заслуженный работник культуры РФ. Кавалер ордена Почёта, орденов святого благоверного князя Даниила Московского и преподобного Серафима Саровского.

Главный редактор военного литературного альманаха «Рать», ответственный редактор журнала «Московский Вестник». Секретарь правления Союза писателей России. Живет в Москве.

НЕ ГАСИ СВЕЧУ, СТАРШИНА...

В Оптиной пустыни

Ветер пронзительный в Оптиной пустыни,
Листьев оплавленных медь.
Небо, прошу, не подбрасывай грусти нам,
Дай на тебя посмотреть.

Дай посмотреть и открыто, и весело,
Как ты из лужицы пьёшь.
Что же ты тучи сушиться развесило,
Птицам летать не даёшь?

Русское небо, далёкое, серое
В этом осеннем краю.
Я ещё верую, верую, верую,
Верую в мудрость твою.

Верую в солнце, к берёзам летящее,
Верую в новый рассвет...
Оптина пустынь и осень грустящая,
Небо, что трепетней нет.

Голоса

*Светлой памяти всех
не вернувшихся с войны*

Обливается сердце кровью –
Золотым-золоты леса.
По бескрайнему Подмоскovie
Снова слышатся голоса.

– Говорят, скоро будет зябко,
Станут ночи ещё темней...
– А на взвод сапоги да шапка,
Проживи целым взводом в ней...

– Что молчишь, старшина Емелин,
Что не нравится мой вопрос?..
– Сколько мы ничего не ели?!
– Что ж ты ужин-то не привёз?..

– Почтальона опять не видно...
– А за почтой ушёл чуть свет...
– Понимаешь ты, что обидно, –
Мне давно уже писем нет...

– Может, дома чего неладно?
Всё случается, всё ж, война...
– А так хочется, так-то надо
Знать, как дети и как жена...

– На, Петров, отхлебни из фляжки,
Потерпи, попадёшь домой...
– Ну, куда ты в одной фуражке
Босиком побредёшь зимой!..

– Ты добудь сапоги и форму!..
– Ты дорогу расчистишь домой!..
– Как ты, мёртвый, пойдёшь до дому?..
– Ты ведь с нами, в земле, живой!..

– Только вместе пробьёмся к свету,
Только вместе побьём врага...
– Я забыл, что такое лето...
– Я забыл, как идут снега...

– Лейтенант! Ну, отправь за хлебом,
Я без хлеба уже устал...
– Эх, сейчас бы взглянуть на небо!..
– Может, бой идти перестал?..

– Все возможно, и наши близко,
Откопают, терпи, сержант.
Мы с тобою под обелиском,
А другие в грязи лежат.

И найдут их, видать, не скоро,
А на днях обещают снег...
– И когда из Мясного бора
Смогут вытащить наших... всех?..

– Хватит! Спать, экономить силы!
Старшина, не пали дрова!..
– Лейтенант, ты скажи, Россия
Всё сражается? Всё жива?..

– Эх, Петров, ты не знаешь меры!
Слышал, пушки в Бородино?
Ты пойми, под землёй без веры
Я бы умер уже давно.

Мы ещё года два протянем,
Не забудет своих страна.
Мы, Петров, поживём, мы встанем!..
Не гаси свечу, старшина!

* * *

А в саду резвится птаха
И поёт, как соловей,
А на мне поёт рубаха,
Мамой сшитая моей.

Я красуюсь перед птицей,
Но задумалась она:
Сколько лет ещё продлится
Та афганская война?

В день рождения

Ждал друзей, но оказалось,
Что друзей-то не осталось.

Разбросало по земле,
Поизнежило в тепле.

Ну а тот, кого считал
Я врагом, врагом не стал.

Отыскал неожиданно дом
И напомнил о былом.

– Поздравляю! Извини!
Если можешь, не гони...

– Заходи, – сказал ему, –
Что припёрся, не пойму?!

Посидели, всё сказав,
Я вдруг понял, был не прав.

Я сказал: «Не уходи,
Всё, что было, позади!»

Ждал друзей, но оказалось,
Что врагов-то не осталось.

В деревне Божьи Воды*

В деревне Божьи Воды
Ни капельки воды.
И просят огороды,
Поля, луга, сады:
– Воды, воды, воды!

Поломанные вишни
И бывшие пруды.
И днём и ночью слышно:
– Воды, воды, воды!

И с кладбища, где стоны,
Где мёртвые следы,
Несётся голос сонный:
– Воды, воды, воды!

Согнувшиеся груши
Да стаи лебеды...
И просят чьи-то души:
– Воды, воды, воды!

Но в прошлое нет брода
И в небе ни звезды,
И слышен гул народа:
– Воды, воды, воды!

В садах Алешни

Андрею Репкину

В садах Алешни сняли сторожей,
Бери корзину, жарь до яблок пёхом.
Но столько в мире выпало дождей,
Пока дойдёшь, и сердцу станет плохо.

Увязнут в чернозёме сапоги,
Едва шагнёшь к душистой боровинке.
Висеть плодам влекущим до пурги,
Хоть разорвись они на половинки.

* Населённый пункт в Рязском районе Рязанской области.

Дожди, дожди... На сотни вёрст они.
 Как будто кто на сад накинуд сети.
 И яблоки качаются одни,
 Не падая на землю на рассвете.

Печаль рассветов с привкусом дождей
 И лужи по ладоням чернозёма...
 В садах Алешни сняли сторожей,
 А значит, все сегодня будут дома.

Беседа

- Озоруешь?
- Озорую!
- Всё воруюшь?
- Всё ворую!
- Не боишься?
- Да, боюсь!
- Но таишься?
- Ну, таюсь!
- Не дерёшься?
- Не дерусь!
- Но ведь гнёшься?
- Гнуться – гнусь!
- Не горюешь!
- Да, горюю!..
- В ус не дуешь?..
- Дую, дую!..
- Не заглянешь?
- Загляну!
- А дотянешь?
- Дотяну!

Гадюка

В тёмном болоте не спится гадюке,
 Тянет из тьмы свои скользкие руки.
 Тысячу лет под водой прожила,
 Но не узнала любви и тепла.

Лезла с признаньями всякая мразь,
 Но обещаниям не поддавалась.
 Просто гадюка себя уважала
 И женихов от ворот провожала.

Годы летели, и было тоскливо.
 Но ведь хотелось и ей стать счастливой
 И нарожать и гадюк, и гадючек,
 И запереть это счастье на ключик.

Не удавалось найти себе пару,
Жизнь под водой принимала за кару.
Ни на кого никогда не роптала,
Только устала, до смерти устала.

Сватался леший один благородный,
Только и тот оказался бесплотный.
И для чего теперь это болото,
Если ты даже не любишь кого-то!

Снова на воду летит позолота,
И от бессилия воеет болото.
И на земле одиноким не спится,
В пору в болоте пойти утопиться.

Александр Грин

*Вопреки желанию Александра Гриневского
служить во флоте, его направили в пехоту.*

Он – во флот, его – в пехоту.
Что такому на земле,
Если жить ему охота
В море и на корабле?

Он ещё о том напишет,
Он ещё расскажет нам,
Как слезами парус вышит
У «Бегущей по волнам».

Как волна в ночи рыдает
Много лет и много дней.
Он-то знает, не гадает,
Что откроется под ней.

Чей-то парус мчится косо,
Разрезая грудью даль,
Отгоняя острым носом
И разлуку, и печаль.

Почему его в пехоту,
Почему же не во флот?..
Вновь у солнечного грота
Алый парус встречи ждёт.

Бабочка

Холодно и темно,
Тускло мерцает лампочка.
Бабочка бьётся в окно,
Бабочка.

А на дворе апрель,
А над кроватью рамочка.
Стынет твоя постель...
Мамочка!

Скажете, ерунда,
Спит в это время бабочка.
Только вот не всегда...
Мамочка!

Безголосый

Певчей птице грустно в клетке,
Певчей птице свет не мил,
А в глухом саду на ветке
Кто-то крылья распрямил.

Нет ни голоса, ни слуха,
Есть свобода и полёт.
Он в своём гнезде из пуха
Не умеючи поёт.

У него своя услада,
И свои любовь и страсть.
Ничего ему не надо,
Лишь бы в клетку не попасть.

Даль зовущая

Чем к родине ближе, тем дали светлей,
Тем больше тепла и свободы,
Всё явственней слышишь среди сонных полей
Своё отшумевшие годы.

Случайно взглянул на чужой календарь –
Да я же из прошлого века,
В котором остались зовущая даль
И два дорогих человека.

Я раньше грустил, а сегодня тоска
Всё зримей по отчему краю,
И камень свой я, как Сизиф, сквозь века
К родному порогу толкаю.

Ирина ДЕМЕНТЬЕВА

Родилась в 1957 году в Балахне. Окончила Горьковский госуниверситет (истфил). Работала корреспондентом Горьковского телевидения, экспертом Нижегородского фонда культуры, редактором радиогазеты НПП «Полет», в настоящее время – редактор издательства «Кварц».

Автор пяти поэтических и двух прозаических книжек, художественно-биографического сборника «Лигия» (к 80-летию со дня рождения Лигии Лопуховой).

Член Союза писателей России с 1997 г. Лауреат областных литературных премий им. Б. Корнилова, им. А. Люкина, им. М. Горького. Живет в Нижнем Новгороде.

ЛЮБИТЬ ТЕБЯ – В БОЛЕЗНИ ПЕРЕМЕН

Стихи о любимом городе

* * *

Навстречу Волге,
Глядя в облака,
Расправлю крылья, принимая ветер...
Мой Космос, мой Порог – моя Река,
Непостижимая,
Как все на свете.

Я заново сбиваю жизни плот,
И знаю, что стремнины не миную...
Тебя, Река, зовущая в полет,
В который раз целую,
Как родную...

* * *

Утихли речи, праздничные звоны...
И после утомительной игры
Усталый город мой – больной ребенок –
Тревожным сном забылся до поры.

Чехлами из листвы укрыты парки,
Заплаканные улицы чисты,
Дома, дороги, каменные арки
В тумане утра странны и пусты.

Но не печалься – праздники вернутся,
Всё будет: день рожденья, новый год...

И пальцы рек в пожатии сомкнутся,
Приветствуя любви круговорот.

Ты отдохни пока, мой добрый город,
Тетрадку снов заветных перечти.
Еще ты молод...
Как еще ты молод!
И мы в начале крестного пути...

* * *

Ходит красный петух по домам,
по старинным домам деревянным.
Где пройдет – только пепел и хлам
остаётся за гостем незванным.
Где пройдет – только стоны и боль
да бездомья тягучая мука,
на щеках высыхающих соль
да ворья круговая порука.

Ничего не сумела сберечь
ослепленная мать-берегиня:
сняли крышу, как голову с плеч,
заодно с козырьками резными...
Как ни была русальим хвостом,
ни стучалась в развалины дома,
так и сгнула в дыме густом
как ненужный свидетель погрома...

Вот и все. Вот и кончился век
кружевной деревянной застройки.
Лишь вода продолжает свой бег
и смывает печальные строки...
Смоет все, что в огне не сгорит,
и уже ничего не поправить...
У пожара законы свои —
что ему красота или память...

Выметают ветра-удальцы
со двора быль и небыль как нежить...
Здесь когда-нибудь встанут дворцы...
Но кого это может утешить?
И куражится красный петух,
и терзает усталые души.
И не вздумай обмолвиться вслух,
кто послал его город разрушить...

* * *

Город мой!
Ты не виден уже,
Ты с портрета,
Как с пристани машешь...

Ты на страшном стоял рубеже
Слишком долго –
По глупости нашей.
Крещены на житье, на бытие
В перестроечной – с ядом – купели,
Отстояли мы имя твое,
Но лица сохранить не сумели...
Уж едва проступают черты –
Те, родные,
Сквозь призрачный глянec.
Ты ли это, мой город, не ты?
Русский, или уже иностранец?
Вымирает твой верный народ,
Ослабели и силы, и нервы.
Под чужою личиной живет
Нижний Новгород
Век двадцать первый...
Новой, жадной ордою ползет
Распродажи поток окаянный,
Разрушая последний оплот
Нашей памяти, зоны охранной.
И вот-вот доползет до кремля,
Ни сомнений, ни страха не зная...
Город мой!
Дорогая земля!
Дорогая земля,
Дорогая...

Сердце города

*В Нижнем у людей дома каменные, а сердца железные...
Приписывают св. Алексею*

Шел божий странник улицей ночной,
Просился на ночлег у каждой двери.
Никто его не принял на постой,
Никто святому старцу не поверил...
Был странник этим фактом уязвлен.
И крова не найдя, где смежить веки,
Он город весь со всем его жильем
«Жестокосердным» заклеил навеки...

Да, город мой суров, и люди в нем.
Умели здесь расправиться с ворами,
Захватчиков встречать лихим огнем,
Гостей, напротив, – добрыми дарами...
Поставленный на нижнем рубеже
Как часть оборонительного круга,
Привык мой город быть настороже
И ждать врагов. Да не признал вот друга...

Купчина здешний цену знал замкам:
Железом крепким запирали лавку.

Раз сказано, что Нижний, мол, «карман»,
Так был карман застегнут на булавку.

Всегда мой город ссыльных привечал
И уважал соседа-иноверца.
Но никому не отдавал ключа
Ни от ворот, ни от большого сердца.

И нынче здесь не всяк – добряк с лица.
А все ж не злее, чем во всей России.
Встречались мне железные сердца,
Но чаще все же – добрые, живые.

А зацепилась вот репьем за ворот
Та байка про «железные сердца»...
И страшно мне за мой любимый город,
Как боязно за старого отца:
Он пережил утраты и увечья
Он бережет свой каменный уют...

Но как укрыться от недобрых встречных?
Прознают, что в нем сердце человежье,
Да и убьют...

* * *

С лица не воду пить, можно и корявого любить...
Русская поговорка

Родимый,
даже воду пить с лица
твоих откосов и проулков – счастье...
А исказить твой облик до конца
не смогут все временщики у власти...
Любить тебя –
в болезни перемен
и в здравии садов твоих зеленых,
и не просить любви твоей взамен –
не запретят ни люди, ни законы...
Любовь слепа.
Я видеть не хочу
тех масок, что подсовывает время
взамен тебя.
Пусть мне не по плечу
твоих потерь и перестроек бремя,
Родимый, ты останешься таким,
каким тебя мы помнили и знали.
Мы – кровь твоя. И мы еще бежим.
Бежим и остановимся едва ли...
Ты нами жив. А мы живем тобой,
Лелеем кремль, как тень средневековья...
И всех эпох безумный разнбой
однажды примем, освятим любовью...

Тогда, постигнув замыслы Творца,
детей научим дух твой вечный славить,
сцеловывать с любимого лица
дорожки слез.
И памятники ставить...

* * *

Ангелу на крыше семинарии

Мы знаем, Господи, мы слышим –
Есть мир без боли и обид!
Нам золоченый ангел с крыши
Об этом каждый день трубит.

Трубит один под небесами,
Ветрам указывает путь...

А мы с ветрами знаем сами:
Куда нам плыть, куда им дуть...

И вновь стремимся без подсказки
Жить, умирать и воскресать,
И все евангельские сказки
На свой манер переписать,
И строим из себя ученых...

Но верим – будет тяжело,
Твой добрый ангел золоченый
Подставит нам свое крыло!

Канавинский мост

Художнику Владимиру Заногe

Вот с горы – на простор...
Каждый день – новым взглядом,
Ненасытным, смотреть –
пока все еще рядом, –
как дома и деревья проходят парадом
сквозь туман
по ладони громадной руки...
И масштаб поплывет:
все деревья – тростинки,
люди – тени,
а кошки – почти невидимки.
И разломится город на две половинки,
словно ветхая книга,
по сгибу реки...
И покажется –
жизнь на две части распалась,
и ее никакими мостами не сшить.

И что большая часть за рекою осталась,
 ну, а меньшую часть еще надо прожить...
 Так любовно прожить,
 Чтоб, минуты считая,
 Вдруг понять,
 что субстанция эта густая –
 наше время –
 стоит, словно студень,
 не тает,
 не пускает,
 и выпасть нельзя из него.
 Каждый день – новым взглядом?
 Да нет, тем же самым,
 ненасытным, –
 на воды смотрю, на туманы
 и на небо над водами –
 с мыслью упрямой,
 что другого не нужно уже ничего...

Откосы

Гонимые дождем и снегом талым,
 Ползут откосы прямо на дорогу...
 Придавленные городом усталым,
 Ползут, теряя силы понемногу...
 Ползут откосы медленно, но верно,
 От сердца отрывая по куску...
 Хранители наказаны примерно,
 И, смертную предчувствуя тоску,
 Ломают руки-ветви,
 На коленях
 Ползут с откосом вместе
 вниз и вниз,
 Чуть боковым просматривая зреньем
 Тот крайний, тот трагический карниз...
 Изменников казнили...
 И отныне
 Их призраки зимой летят над взгорьем,
 Красуются ветвями кружевными,
 фонариками ёлок новогодних...

Лишь тополя, святые чужеземцы,
 Стоят –
 кто жив, кто мертв, –
 по стойке смирно,
 Им никогда уж, верно, не согреться
 Здесь, на ветру,
 на этой службе мирной.
 Верны присяге вечные солдаты,
 Чьи корни нас удержат от паденья.

Всё стерпится и слюбится когда-то.
Останется гора.
Откос.
Забвеньё.

Ноябрьский рассвет

Со стороны рассвета путь держу...
А он меня в дороге нагоняет,
Хватает за рукав и окликает:
Зачем из дома рано выхожу?
– Затем, чтоб поздороваться с тобой,
Крылатый вестник времени иного, –
И обернусь к нему.
И встречу снова
Ярчайший взор –
а в сердце перебой...
– Затем, чтобы успеть запомнить путь,
Что в сумерках неразличим и страшен,
Где вечный бой средневековых башен
Все длится,
но замрет когда-нибудь...
Окрашивая нежным этажи,
Он под ногами тень мою рисует.
И так и не поняв, зачем спешу я,
Вприпрыжку за автобусом бежит.
Но вот и он спешит, не только я:
Вперед закинув радугу, как якорь,
И приминая снежной крупки сахар,
Подтягивает лодку бытия...
Вот рядом он.
Обнял.
Не уходи!
Не хочешь,
чтоб нас вместе увидали?
...Я в розовом, и розовые дали,
И розовые окна впереди...

К неведомому прежде рубежу,
Согласно неразменному билету,
Со стороны рассвета путь держу
Я – на закат.
А город мой – к рассвету...

Евгений ЧИГРИН

Родился в 1961 году на Украине. Поэт, эссеист, автор трех книг стихотворений. Публиковался во многих литературных журналах, в ряде европейских и российских антологий. Стихи переведены на 12 языков мира. Лауреат премии Центрального федерального округа России в области литературы и искусства (2012), Международной премии имени Арсения и Андрея Тарковских (2013), Горьковской литературной премии в поэтической номинации (2014), а также Всероссийской литературной премии имени Павла Бажова (2014).

Член Союза писателей Москвы и Международного ПЕН-клуба. Живёт в Москве.

СТАРАЯ МУЗЫКА СНОВА ПРИХОДИТ ЗА МНОЙ...

* * *

«Пять апельсиновых зёрнышек»* – это откуда?
 Это из детства, из тихих местечек весны,
 Где голубело... Где мамина билась посуда,
 Где выходили на волю из книг колдуны...
 «Пять апельсиновых зёрнышек» – это из книжки,
 Фишка, загадка для Шерлока Холмса, для тех,
 Кто понимает в подобном, – всё больше мальчишки.
 Это оттуда, где вместе печали и смех
 Так скреплены, зарифмованы, так недоступны:
 Стали ручьём и холмом за рекою, рекой,
 Кладбищем южным... Мотивчик летит неотступный,
 Старая музыка снова приходит за мной...

Старые кадры

Старая-старая церковь,
 Рядышком мальчик. Весна.
 Ворон как тутошний цербер.
 Грушевый сад. Тишина.
 Да облака, как номады,
 В Винницу, Киев идут...
 Старые-старые кадры:
 Груши и вишни цветут.
 Справа полуденной лентой
 Тянется, дышит река,
 Ставшая местной легендой...
 Камешки у бережка.

* Рассказ Артура Конан-Дойла.

Вдоль, золотыми мирами,
Видишь: подсолнечник.
Мальчик не бредит стихами,
Что ты? Какие стихи?
Лишь лопухи шевелятся,
В Киев спешат облака.
Старые люди толпятся
Церковки подле... Войска
В виде ребят из стройбата,
Что за портвейном спешат,
Будет бутылка на брата
Куплена. Выпита. Факт.
Да облака над такими
И над другими идут
(Глупыми и молодыми).
...Груши и вишни цветут.
Жизнь не играет словами,
Слушает песню жука!
Старая церковь... Руками
Мальчик поймал облака.

Малороссийское

В копилке дня: на грани вдоха
Соткалась медленная мгла,
Шумит листва в ладонях Бога,
Огнём зелёным весела.
На грани прошлого: за камнем
Две нимфы тискают того,
Кто козлоног и шерстью славен...
И так под сводами легко

Смотреть во все глаза на игры
Созданий мифов и молвы:
Блестят на шкурах тварей иглы
И пахнет мерзким дух любви
Такой, с которой нам не светит...
Выносит ломтик желтизны
Младенец месяц, боком метит
Присесть в прибрежные челны,

И неприметно дышат жабры
Реки, текущей в трёх шагах,
И камыши – тугие мавры –
На грани выдоха... В кустах
Проистекает то, что было
За валуном... Крылатый бог
Любви залёг, как Буратино,
Глотая лакомый восторг.

Проистекает... где-то ангел
Спешит Хоме на помощь, но...

Уже горит летальный факел
 В таком мосфильмовском кино.
 ...Ползущий звук, в низинах кто-то?
 Всё вопросительно, всё так
 Нетвёрдо... парус небосвода...
 Правитель мух пришпорил мрак.

ФОТОСНИМОК

...ну конечно, припомню: дыра, захоlustье, отшиб,
 Впрочем, море всё скрасит, всё станет на место при звуке
 Недосолённых волн. Фотография – мыс Казантип
 В обедневшем посёлке на юге.

Ну конечно, припомню: гостиница, наш недосып
 (Казантип – казанок – в переводе с какого? – забылось).
 Всё казалось любовью, читалось, равно манускрипт,
 И глагольною рифмой светилося...

СМОТРЕТЬ С УТРА

Смотреть с утра, как вьётся лёгкий снег,
 Как дети свет поймали в рукавицы,
 Мальчишечью строку припомнить – смех...
 С каким-то сновидением проститься.
 Смотреть разиней, чайником, ещё
 Ушастым фраерком, как мокнет снегом

Неброский свет. Как тянет «хорошо»
 Сказать себе... Как срифмовались с небом
 Деревья и деревни, там, вдали,
 Река, в которой ледяные джунгли,
 Да облака, которые прошли,
 Как будто фантастические шхуны...

6 января

На улице и дома

Снег обнимает снег:
 Можно писать о снеге,
 Слышен ребячий смех,
 Вьюжные саундтреки.
 Небо – там добрый Бог,
 Ангелы детворою
 Учат какой урок?
 Светятся теплотою,
 Словно с картинок, что
 В охре и позолоте.

...Белое вещество –
По две снежинки, по две,
Видишь, могу сказать:
В мире так много Бога!
Вышептать жизнь в тетрадь
Под натуральный мокко,
Вязкий кусок хурмы,
Что обдаёт Востоком,
Этот пейзаж с детьми,
Небо, что смотрит Богом,
Сколько зимы ещё –
Стужи, дуделок ветра?
В сумерках – хорошо,
В бедных остатках света.
Снег застигает снег:
Можно писать о снеге,
Припоминая тех,
Кто отвалил навеки...
Сколько до волшебства,
Сколько ещё осталось
До – Его – Рождества?!
Только самая малость.

Это Ангелово – рядом

Скажешь «Ангелово» – ангел
Возникает по привычке,
Как внимательно он смотрит,
Прямо в душу или нет?
Вечер пишет тёмным светом
Буквы, музыку, кавычки...
Над церквушкой старой-старой
Вечер вписывает след.

Скажешь «Ангелово» – ангел
Возникает? Умирает?
Возникает – улетает...
Строчку вышепнул – пропал.
Жизнь за этой тварью Бога
Не пчелиным мёдом тает –
Это действие с повтором,
Старый-старый ритуал.

Пишешь «Ангелово»... Вечер.
Лампа малого накала
Теплит жизнь и тянет ляжку
Жизни крохотной такой.
Вечер в старые сюжеты
Смотрит просто и устало –
Тьма стоит в Ершалаиме,
В Третьем Риме, под Москвой.

Это Ангелово – рядом,
 Захолустье, угол Бога,
 В словаре не откопаешь,
 В Википедии – строка.
 Запустение и чудо...
 Жизнь от музыки до вздоха,
 Жизнь, которая сегодня
 До небес – наверняка.

Дверь

Так жизни мало, потому теперь
 Во всякой жилке копится Усталость:
 Берёт за шкирку, втискивает в дверь –
 Где на стишок, на книжку намечталось.
 Был птичий звук и был животный звук,
 Глоток Эреба и строка Эреба,
 За долгий север – на закуску – юг,
 Да облачко, закутанное в небо,
 Да свет, с которым вытекает ночь,
 Чай с лепестками розы и жасмина...
 Как много шелестнуло пооббóчь...
 Не получилось крохотного сына.

* * *

Я давно на себя не похож, я давно на себя
 Не похож, – говорю, слышу голос настырного ветра,
 Что взьерошил листву и, в негромкие трубы трубя,
 Притащил на хвосте, как ворона, холодное лето.
 Я давно на себя, я давно на себя, я давно...
 Вот заела пластинка!.. И полночь виниловым цветом
 Обросла хорошо, вот такое случилось кино...
 Я меняюсь, старею, я вижу: проснувшийся летом,

Постучался в окно мотылёк, в постороннюю жизнь...
 Может – это посланье под лампой настольной сумею
 Переделать в стихи? Может, ангел кому-то «проснись» –
 Говорит-говорит... И как будто бы ветер аллею,
 Как младенца, качает, и бродят беспечные сны...
 Беззаботное лето к светилу прижалось щекою,
 От которого много в виниловой тьме белизны
 И любые стихи обрастают Его тишиною...

Балаганное

... То ли бухта Трепанга, то ли
 Мореход в химеричном сне –
 Это снится густое море,
 Острова в голубом окне,

Где казалось: кино продлится,
Отворит дурак шапито –
И потешная вспыхнет птица,
И поскачет конёк в пальто...
Это снится эксцентрик с айном,
Смешан бред с берегами, где
Любовался оттенком чайным,
Понимал в колдовской дуде,

Как свинья в апельсинах. Этим
Перепутаны карты все?
Вот и катится жизнь «с приветом»
На неправильном колесе.
Или правильном?.. Кто ответит? –
То ли ангел, смотрящий за...
То ли Зверь, что меня приметит,
В преисподнюю подвозя?..
Старый остров (большая рыба),
Никаким Ихтиандром не...
Остальное мура и липа
И т. д. и т. п. извне.

* * *

Засыпая, впадаешь в виденья... В таком DVD
Видишь старый маяк на Сивучьей скале, и за этим
Возникает какая-то музыка, плачет в груди...
В сновидении бухта Лососей. Кораблик заметен.
Плачет муза о тех, с кем гляделся в густые моря,
Задышался зимой и в мохнатые кутался вещи.
Возникает и мрёт кавалерией красной заря...
Засыпая, впадаешь... и сон твой едва ли не вещий.
Просто деться куда? Если столько в глубинке прожил,
Химеричное свил... Продышал-промурыжил-проквалкал,
Вот и лепятся сны, вовлекают в бамбуковый мир
Воробьиных сычей да подводных уродов и дракул.
Не Господень ли знак – острова, островки, маяки?
Может статься, и я – после смерти – смешаюсь с Охотским
Сатанеющим морем. Какие миры и круги
Заприметят меня – кашалотом, тюленем неброским?

Игорь ЗОЛУТУССКИЙ

Историк литературы, писатель, исследователь жизни и творчества Николая Гоголя. Родился в 1930 году в Москве. Отец был репрессирован в 1937 году, мать – в 1941-м. Воспитывался в детдоме. Окончил филологический факультет. Работал учителем в школе, корреспондентом газеты «Молодой дальневосточник», Хабаровского радио, «Литературной газеты», обозревателем журнала «Литературное обозрение», редактором «ЛГ» по разделу русской литературы.

Автор многочисленных книг и статей о классической и современной русской литературе, в том числе знаменитой книги о Гоголе (серия ЖЗЛ, издательство «Молодая гвардия»), которая переиздавалась 9 раз и считается классикой биографического жанра. Автор многих телефильмов о наиболее ярких фигурах русской литературы. Лауреат Литературной премии Александра Солженицына (2005), Всероссийской Тютчевской премии (2009), Государственной премии Правительства РФ (2011).

Президент Международной ассоциации творческой интеллигенции «Мир культуры», председатель Гоголевского фонда в Москве, почетный председатель Общества любителей российской словесности. Член жюри литературной премии «Ясная Поляна». Живет в Москве.

ПЕРЕД ЗАПРЕТНОЙ ЧЕРТОЙ

Константин Симонов: часовой при эпохе

В феврале 1965 года в мой почтовый ящик бросили письмо. Я жил тогда во Владимире. Письмо было из Москвы.

К моему большому удивлению, в том месте, где пишется обычно фамилия отправителя, значилось: Константин Симонов.

Письмо было напечатано на машинке, и в конце его стояла подлинная подпись Симонова.

Вот это послание:

«Уважаемый Игорь Петрович!

Захотелось написать Вам, прочитав в первом номере "Вопросов литературы" обзор прозы 1964 года. Среди всего, что я прочёл, для меня самыми интересными были Ваши соображения. И те, которые касаются общих процессов литературы, в частности, военной, и те, которые касаются моей книги.

Я без всякого удовольствия, напротив, с огорчением прочёл тот абзац в редакционном заключении, который касается меня и Вас. С особой скорбью прочёл я фразу, в сущности, сводящуюся к тому, что раз "критика единодушно отметила, что сей роман "одно из самых значи-

тельных произведений года", то, стало быть, негоже никакому отдельно взятому критику сосредотачивать своё внимание главным образом на том, что в оном романе слабо". А почему, собственно, негоже?..

Я отнюдь не с каждым Вашим словом согласен, но в то же время Ваши замечания наводят меня на мысли, которые мне кажутся важными и полезными для той новой работы, которую я сейчас делаю. За это спасибо.

С товарищеским приветом

Константин Симонов.

Москва 29 января 1965 г.»

Я никак не ожидал, что мой критический «налёт» на роман «Солдатами не рождаются» вызовет у автора желание объясниться. Поступок Симонова меня тронул. Письмо знаменитого писателя литератору из провинции – такое не часто бывает. Я ответил, что буду рад, если мои замечания помогут ему в дальнейшей работе.

После явного успеха «Живых и мёртвых» (1959) роман «Солдатами не рождаются» воспринимался как ещё один прорыв в литературе о войне. В газетах и журналах писали, что Симонов идёт вперёд. На мой взгляд, он действительно продвигался, но исключительно в наращивании фактов. Мысль его при этом буксовала где-то у них в тылу. Об этом я и сказал в своём выступлении в «Вопросах литературы».

Честно говоря, я думал, что после обмена письмами наши отношения прекратятся. Но через некоторое время раздался звонок из «Литературной газеты». Звонивший мне редактор просил встретиться с Симоновым и написать статью для рубрики «Писатель за рабочим столом». При этом он добавил, что таково пожелание самого Константина Михайловича. Я согласился и поехал в Москву.

Симонов принял меня на своей квартире возле метро «Аэропорт». Теперь на этом доме висит мемориальная доска.

Он был радушен, внимателен и настороженно-откровенен. Меня это не смутило: всё же мы виделись в первый раз. Я, впрочем, предупредил его, что пришёл к нему не как интервьюер, а как литератор, который собирается писать о его военных романах. Я смотрел на эти романы как на фотопортрет эпохи. И эпоха, как она отразилась в его прозе, и эпоха без Симонова интересовали меня более всего.

Первый роман «Товарищи по оружию», посвящённый военным действиям на Халхин-Голе, ввиду его очевидной слабости я отбрасывал сразу. Оставались «Живые и мёртвые» и «Солдатами не рождаются». О них мы и повели речь.

Вспоминая сейчас эту встречу, я вижу, что говорил по преимуществу не хозяин, а гость. Мне хотелось убедить Симонова, что он подошёл к черте, которую, быть может, никогда не переступал. И что ему нужно её переступить. Я не знал тогда, что требую от него невозможного.

Симонову в ту пору ещё не исполнилось пятидесяти. Он был красив красотой зрелого мужчины. Высокий рост, седина в короткой молодой его стрижке, тёмные брови, тёмные усы, трубка, по-дворянски не выговариваемое «р». Запах душистого и, наверное, очень дорогого табака плавал по кабинету.

Не скрою, я волновался. О Симонове я знал с детства. Во время войны читали его стихи. Один за другим появлялись фильмы по его сценариям. Стихотворение «Жди меня» стало чуть ли не фронтовой молитвой.

Валентина Серова, которой Симонов посвятил это стихотворение, была любимой актрисой тех лет. Симонова изучали в школе, его портреты не сходили со страниц газет. Вместе с тем я знал, что его верная служба была оплачена шестью Сталинскими премиями.

Всё это создавало облик человека, о котором вряд ли можно было сказать правду в газете. Но там, очевидно, надеялись, что я задам Симонову вопросы, он на них ответит и потом – когда ему представят готовый текст – его выправит.

Мне понравился его кабинет. Всё здесь выглядело по-спартански скромно: полки с книгами, тахта, письменный стол. На столе нет привычного для писателя беспорядка. В углу стола стоит миниатюрный микрофон. Я слышал, что Симонов надиктовывает свои книги.

В какую-то минуту Симонов посмотрел на меня, решительно встал от стола и приблизился к стеллажу с книгами. Затем нажал на выступе полку какую-то кнопку. Квадрат с книгами отошёл в сторону (это был муляж), и в глубине его, в стене, я увидел стальной сейф.

Симонов открыл сейф и вынул из него объёмистую папку. На ней крупными буквами было написано: «О Сталине».

Чувствовалось, что этой папкой он особенно дорожит. Я попросил разрешение заглянуть в неё. Здесь были собраны ещё не известные никому воспоминания о вожде. Симонов сам их записывал со слов Г.К. Жукова, маршалов и генералов, не раз встречавшихся с Верховным главнокомандующим.

Он и свои заметки о нём хранил здесь. А ему было что вспомнить. Всё же он побывал в кабинете Сталина в Кремле не меньше шести раз. Не знаю, опубликовано ли содержимое этой папки сегодня, но то были бесценные свидетельства, которые, повторяю, Симонов собирал сам.

Сталин был для него глубоко личной темой. С этим именем он рос, стал писать, ушёл на войну, вернулся с неё невредимым и в орденах (и было ему в 45-м всего тридцать лет), а когда Сталин умер, откликнулся на эту смерть полными горечи стихами:

Нет слов таких, чтоб ими описать
Всю нетерпимость горя и печали.
Нет слов таких, чтоб ими рассказать,
Как мы скорбим по Вас, товарищ Сталин.

Такого Симонова вывел в своём романе «В круге первом» Александр Солженицын.

Имя Сталина притягивало, и имя это страшило. Всё могло случиться в его биографии, и это *всё* – зависело от благосклонности или, наоборот, неблагосклонности грозного патрона.

А то, что их отношения были отношения патрона и подчинённого, факт.

Оттого в нужное время (когда началась холодная война) он бичевал Америку (пьеса «Русский вопрос»), войну во Вьетнаме, отечественных космополитов (1949 год).

Это был не столько писатель, сколько *часовой при эпохе* со всеми вытекающими отсюда последствиями. Он точно знал, что в данную минуту *требуется и можно* писать.

Существовало, впрочем, ещё одно обстоятельство, которое заставляло его всё время быть начеку. Во всех автобиографиях Симонов упоми-

нает о своём отчине, командире Красной армии, но ни слова не говорит об отце.

Даже в предисловии к собственному собранию сочинений, вышедшему незадолго до его смерти, он сообщает читателю, что был избираем в Верховный Совет, был секретарём Союза писателей, членом Центральной ревизионной комиссии КПСС, о своих премиях и наградах.

И ни слова – о родном отце.

Меж тем отец его, Михаил Агафангелович Симонов, родившийся в 1871 году, был дворянин, выпускник Императорской Николаевской военной академии. Полковник Отдельного корпуса пограничной стражи, в 1915 году (год рождения Константина Симонова) – командир пехотного полка, награждённый Георгиевским оружием. После этого – начальник штаба армейского корпуса, а с декабря 1915 года (Симонов уже появился на свет) – генерал-майор царской армии. С матерью Симонова они поженились в 1912 году.

Последние сведения о Михаиле Симонове относятся к 1920–1922 годам и говорят о его эмиграции в Польшу. В начале 20-х годов он зовёт жену с сыном приехать к нему. Но она отказывается, сыну оставляет фамилию и отчество отца, а сама до этого (в 1919 году) выходит замуж за красного командира Иванишина.

Мог ли Симонов не знать этого? В четыре года, когда мать вышла за отчима, мог и не знать. Но, выросши, безусловно, знал. Мог ли не знать, что его мать – урождённая княжна Оболенская из знатных калужских дворян? Трудно в это поверить.

Тогда, не скрывая этого, мог ли он достичь тех высот, которых достиг?

Тайна детства невольно взывала к гибкости, к подчинению указаниям свыше, наконец, вылепила характер Симонова. Это научило его молчать в тех случаях, когда откровенность грозила опасностью. Детство – великий локатор, на экране которого виден весь человек.

Как я сказал, он закончил войну в 30 лет. Он ни разу не был ранен, хотя пропал на передовой. В отличие от других корреспондентов центральных газет (исключая Андрея Платонова) он предпочитал окоп штабу и солдата – командованию. Хотя знал, конечно, лучше жизнь комдивов и комкоров, нежели рядовых.

Вращаясь в кругу комсостава, он и сам стал одним из генералов литературы. Он был богат, удачлив. Ходили слухи, что у Симонова открытый счёт в банке.

Но это была свобода на привязи. К моменту, когда мы встретились, Симонов стоял перед следующим романом, который должен был завершить его, если считать «Товарищей по оружию», тетралогию. Роман этот, как он мне сказал, будет посвящён окончанию войны, а точнее 45-му году, взятию Берлина и Победе.

Я спросил, что он думает сделать с Серпилиным, главным героем романа «Солдатами не рождаются», бывшим зэком, а ныне командующим крупным соединением? Куда пойдёт этот человек? Что, наконец, поймёт? Ведь он и так уже *подошёл к черте*, за которой его ждёт пересмотр прежних верований. Прощаясь со Сталиным, который принял его в Кремле, Серпилин покидает его в смятении.

Он просит за своего невинно арестованного товарища и понимает, что Сталину это не нравится. Он не уверен, что его просьба будет удовлетворена.

Что при этом он должен сказать себе?

Но он, как и автор, предпочитает молчание.

Подумав недолго, Симонов предположил, что развитие его героя «пойдёт по нарастающей». В новом романе он покажет конфликт Серпилина с особистами, перлюстрацию писем на фронте, покажет, с какими жертвами брали Берлин и то, что солдаты весной 45-го не хотели умирать.

И всё же что станет с Серпилиным? – настаивал я. Симонов снова умолк. «Может быть, он зазнается», – выговорил он, наконец. Я был обескуражен. И это развитие «по нарастающей»? Развитие, как его понимал Толстой, было чуждо его героям. В лучшем случае они поступали так, как требует идеологическая схема, а не их душа.

Я, как и его читатели, хотел не событийного продолжения, а качественного скачка, ибо Симонов подошёл к черте, которая была не что иное, как черта дозволенного. Шёл 1966 год. Хрущёвская оттепель постепенно переходила в заморозки. Симонов колебался. Как было идти дальше, если, кажется, всё пошло назад.

Не будем забывать, Симонов начинал в 30-е годы. Колебания литературы, сказавшиеся в его писаниях, во многом должны были предопределить лицо тех, кто вслед за ним вошёл в литературу из окопов войны. И не только из фронтовых траншей, но и из разорённой русской деревни.

Эти писатели не только вошли, но и преодолели то, что их предшественникам, в частности, Константину Симонову, не дано было преодолеть. Это преодоление дало ход к освобождению от страха, который жил в поколении, начавшем печататься в тридцатые годы.

Пограничную полосу между государственной литературой и самой жизнью, несмотря на охраняющие её заграждения, надо было перейти и оказаться в чистом поле, а не на разрешённом пространстве.

В первую нашу встречу я понял, что Симонов остановился там, где нужно сделать последний шаг. Он всегда тормозил здесь, сознавая, что по ту сторону черты его ждёт, может быть, полная перемена жизни. Кажется, его отделяли от пересечения границы какие-то метры, но они были подобны западне.

Будучи от природы фактографом, а не мыслителем, он мог добавить к уже сказанному новые факты, увеличить их количество, но провести историю через человека было выше его сил. Все его герои – движущиеся модели идей, они внутренне не меняются – меняется лишь обстановка.

Я почти склонял Симонова к тому, чтобы он ступил туда, куда никогда не решился ступить. Он это понял, и это ему не понравилось. Не понравилась ему и моя статья в «Литературке», где я рассказал о встрече с ним. На публикацию он не откликнулся.

Прошло четыре года, и вышел роман Симонова «Последнее лето». В нём не было ни особистов, ни усталости армии, ни критики Ставки. И – ничего от прежних идей автора. Действие Симонов перенёс в 44-й год, избавив себя от тяжести изображения конца войны. К тому же честные намерения Симонова уже были не нужны. Изменилось время, изменился и он. Он не нашёл ничего лучшего, как убить Серпилина случайным осколком. Инстинкт конъюнктуры сработал почти автоматически, выведя его на нужные рубежи.

Начались 70-е годы. Как во время артподготовки, над головой Симонова про шумела сильная звуковая волна. Она про шумела и ушла вперёд. Уже были опубликованы: «Крик» и «Убиты под Москвой» Конс-

тангина Воробьёва, «На войне как войне» Виктора Курочкина, «Пядь земли» Григория Бакланова, «Батальоны просят огня» и «Последние залпы» Юрия Бондарева, «Мёртвым не больно» и «Сотников» Василя Быкова, «Пастух и пастушка» Виктора Астафьева, «Красное вино Победы» Евгения Носова. Это была не симоновская, сверху утверждённая война. Без уходов от страшного, непоправимого.

«Последнее лето» читали уже вяло. Голод на правду, кроме названных книг, утолял самиздат. Начиналась иная пора, и Константин Михайлович искал в ней место. Не получалось.

На войне у него родились стихи:

Опять мы отходим, товарищ,
Опять проиграли мы бой,
Кровавое солнце позора
Заходит у нас за спиной.

Эти строки и сейчас ранят душу. Говорят, он был храбр. И удивлял своей храбростью военных.

Говорят, что на праздновании своего пятидесятилетия Симонов сказал, что не будет писать так, как писал раньше (правда плюс полуправда), и сожалеет о своих страхах прошлых лет. Но уже появлялись романы Фёдора Абрамова, «Судьба человека» Шолохова, повести и рассказы Шукшина, Евгения Носова, Распутина, «Привычное дело» Белова. Уже Солженицыну была присуждена Нобелевская премия. Всё это было до 70-х и в 70-е годы.

Но Симонов по-прежнему оставался в 40-х.

Я никогда не любил его стихов (по большей части зарифмованная проза), но «Жди меня» и «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины» приросли к памяти, как собственная жизнь. Как-то один поэт, тоже, как и Симонов, фронтовик, сказал мне: «Неужели ты не видишь неправды в строчках: "Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня?.." Сын может поверить, жена может поверить, но мать – никогда!»

Пожалуй, он прав. Но во время войны никто не обратил на это внимания. Солдат тосковал по женской любви – Симонов выполнил заказ его сердца. Нужно было воспевать армию – он воспевал армию (поэма «Суворов», «Ледовое побоище»), надо было дать народу что-то интимное, лирическое, что тоже входило в замыслы партии, – он писал о любви («Пять страниц», «Первая любовь», «С тобой и без тебя»).

Тут ему позволялось даже то, что не позволялось другим. «Мы лежали с тобой в постели...» – писал Симонов, и читатель вздрагивал. Но его фантазия тут же пресекалась. Автор продолжал: «...и думали о чём-то не постельном». В любовных стихах он был житейски близок, телесен и аполитичен. При запрещённом Есенине они казались откровеннее.

Да, он *первым* в «Живых и мёртвых» написал об отступлении, окружении и провалах в начале войны. Он *первый* выступил с осуждением повести Ильи Эренбурга «Оттепель», где хрущёвское «потепление» трактовалось как настоящая весна. И он *первый* занёс руку на Сталина в романе «Солдатами не рождаются». И вновь *первый*, поняв, что Хрущёв хочет рассчитаться со Сталиным, превознёс повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Написанная им рецензия была напечатана в вечернем выпуске «Известий», опередив на одну ночь установочный отклик В. Ермилова в «Правде».

Но политический ветер меняет направление, и в 1973 году Симонов подписывает письмо против Солженицына.

Можно вспомнить и более далёкие времена.

1949 год. Идёт борьба с космополитизмом, Симонов делает на пленуме Союза писателей основной доклад. Не удовлетворившись им, пишет пьесу «Чужая тень», где громит советских учёных – поклонников Запада.

1954 год. В Ленинград приезжает группа английских студентов. Студенты спрашивают на встрече с писателями, согласны ли те с докладом Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» (1946). Ахматова отвечает, что она с критикой согласна. Зощенко отвечает: «Нет». Из Москвы прибывает группа писателей во главе с Симоновым. В Доме Маяковского созывается собрание. Симонов дирижирует расправой над Зощенко. Того вызывают на трибуну. Зощенко говорит, что никогда не признает себя подонком. «И вообще, – добавляет он, – жить мне осталось недолго», – и уходит со сцены. Поднявшийся из президиума Симонов кричит ему вслед: «Товарищ Зощенко бьёт на жалость». Собрание клеймит отщепенца, и только две руки поднимаются в его защиту.

Что оставалось Симонову делать в конце 60-х? Он стал собирать и печатать свои военные дневники. Хрущёвской весне окончательно пришёл конец. А литература уже не могла разогнуться, вновь подставив спину под тяжкую ношу цензуры и слезки. Симонов почувствовал, что его относит в запас.

В 1965 году я ушёл от него в полной уверенности, что больше мы не встретимся. Но жизнь судила иначе. Всю осень и зиму я работал над книгой о Симонове. Я решил назвать её «Цена долга». Мне хотелось развить разговор, который начался в доме у метро «Аэропорт». Книгу зарезали. Рецензент А. Бочаров написал, что я «преувеличиваю отрицательное значение культа личности».

Симонов тем временем стал печатать свои военные дневники. Они печатались выборочно, ибо полную публикацию ему не разрешали. Говорили, что если эти дневники выйдут, мы узнаем нечто необычайное о войне.

Часть из них всё же удалось опубликовать, и отдельные, очевидно «лояльные», главы были собраны в тонкую книжку. Я прочитал её после того, как неожиданно наткнулся на неизвестную мне повесть Симонова «Лель». Я убеждён, что и сегодня эта повесть Симонова незнакома читателю. Она была опубликована в журнале «Огонёк» (ноябрь 1957 года) и больше нигде не перепечатывалась.

Время появления её и сам факт её написания весьма примечательны. Симонов писал «Лею» в Ташкенте, куда перебрался после печальных событий, связанных с публикацией романа В. Дудинцева «Не хлебом единым». Роман был напечатан в «Новом мире» (главным редактором которого тогда был К. Симонов) в номерах 8–10 за 1956 год. А в ноябре того же года в Будапеште вспыхнуло восстание против «советской оккупации». Восстание было подавлено, а когда стали искать его вдохновителей, то обратили внимание на будапештский клуб интеллигенции, носивший имя «Клуб Петефи».

Интеллигенция никогда не была фаворитом власти: поощрялись ею только покорные. А тут – почти в одно время с событиями в Венгрии – на страницах журнала «Новый мир» печатается роман, где главный герой – интеллигент, изобретатель, который не может пробить брешь в номенклатурном бетоне и дать жизнь своему изобретению.

Идеологи быстро связали два этих факта – восстание в Будапеште, «Клуб Петефи» и ажиотаж вокруг романа «Не хлебом единым». Симонов был снят с поста главного редактора. Чтоб не мозолить глаза, он укрылся в Ташкенте. Повесть «Лель» была написана тогда, когда ему необходимо было «оправдаться» за печатание Дудинцева.

Симонов захотел прочитать мою книгу о нём. Я принёс ему рукопись и через некоторое время вновь оказался в квартире у метро «Аэропорт».

Он листал рукопись (на полях виднелись его пометы, сделанные красными чернилами) и что-то говорил по ходу дела. Но на одном месте он задержался, и я заметил, как лицо его покрылось краской. То было место, где я упомянул о его повести «Лель».

Вот что я написал об этом: «В симоновских дневниках 42-го года записан случай, который произошёл с ним в Феодосии. Освободив город, наши бойцы захватили его бургомистра – бывшего директора винного завода. Этого директора К. Симонов в "Леле" превратил в писателя. Он заставил его говорить о "свободе творчества", о "свободе индивидуальности". Писателя этого и звали Лель. После 1956 года он стал писать письма герою дневников Лопатину (альтер эго Симонова) и требовать "реабилитации". В повести был намёк: надо ещё разобраться, кто такие реабилитированные. Страсти тех лет совершили насилие над правдой симоновских дневников» (конец цитаты).

«Мне не надо было этого печатать», – сказал он, подняв глаза от рукописи.

На этот раз мы говорили дольше, чем в первую встречу. Симонов завёл меня в смежную с кабинетом комнату, где на полу в папках лежали его военные дневники. Ему так и не удалось их полностью опубликовать. Я полистал некоторые страницы. Геркулесов труд. Тысячестраничная летопись войны. Всё сбережённое от тех дней, которые, кажется, канули в Лету.

Он не знал, что с ними делать. Всё такой же знаменитый, молодой, красивый, он был растерян. Похоже, впервые он не мог угадать, куда склоняется время. Поражённый свидетельством его беспрестанного труда (говорю о папках на полу), я почти утешал его. Я считал, что Константин Симонов может позволить себе несколько лет не печататься. Я тогда не понимал ещё, что он органически не способен к молчанию, к какому-то, пусть и недолгому, перерыву в печатании. Он был писатель минуты и, я думаю, в подсознании ощущал, что минута – и есть его век. Годы забвения, ни одной книжки, ни одной пьесы, ни одной статьи – это было не для него. Он должен был присутствовать здесь и сейчас.

Когда я сослался на Булгакова, который пятнадцать лет не видел в глаза вёрстки, Симонов тут же, будто ожидая этого примера, ответил: «Ну, Булгаков же написал пьесу "Батум"!» Да, Булгаков написал пьесу о Сталине, но её писал «арестант», как Булгаков сам называл себя, арестант, желающий выйти на свободу. Симонова же назвать арестантом было никак нельзя.

Позже его военные дневники появились на свет, но не стали событием. Временное должно принадлежать своему времени. Переходя в другое время, оно теряет в цене.

А известный циник, бывший заместитель Симонова по «Литературной газете» и «Новому миру» Александр Кривицкий говорил мне на дорожках Переделкина: «Симонов сверяет показания дневников со сводками Совинформбюро, считая последние исторической реальностью.

Смеху подобно! Эти сводки сочиняли мы, работники Агитпропа, и, чтобы не ранить душу народа, делали с картой что хотели: отодвигали, придвигали фронт, а то и просто тыча в неё пальцем, определяли, где наши, а где враг».

Симонов, в отличие от Кривицкого, не был циником. Он старался верить в то, что делает. Конечно, самый чистый период его жизни была война. Тут уже не следовало притворяться. Тут он был не вымышленный, а настоящий, были понятные «наши» и понятные «не наши».

Поэтому, о чём бы он ни писал, он возвращался к годам, проведённым на фронте. К прекрасным мгновениям единения перед лицом смерти. В середине 70-х Симонов вновь обратился к той поре и стал собирать на телевидении солдат Великой Отечественной. Немало имён он просто вызволил из забвения, и за это стоит снять перед ним шляпу.

Вообще в жизни он был гораздо более человечен, мягок, даже открыт, чем в своих писаниях. Казалось, что литература для него – одно (государственное дело, где надо всё выверять, не бросаться головой в омут), а жизнь, люди, отношения к близким и дальним – другое.

Когда я в конце 60-х пришёл работать в «Литературную газету», там почти с нежностью вспоминали о Симонове. Будучи главным редактором, он, в отличие от своих преемников, всех знал в лицо, приезжая на работу, обходил редакцию, здоровался. Он многим помог – кому с квартирой, кому с телефоном, а кому – делая это инкогнито, деньгами. Вне политики он был человек, а когда дело касалось её – солдат партии.

Это портрет не только Симонова, но и многих людей того времени.

В сентябре 1979 года я был в Карелии. Собирали с друзьями грибы. Отъезжая, услышали по радио сообщение, что умер Симонов. В сердце у меня что-то сжалось. Я вспомнил о том, о чём вам только что рассказывал, и мысленно сказал его тени: «Прощай».

И тогда передо мной всплыл затаённый смысл этого русского слова. И в памяти воскресли симоновские стихи:

Мы, пройдя через кровь и страдания,
Снова к прошлому взглядом приблизимся,
Но на этом далёком свидании
До былой слепоты не унижимся.

На поле под Могилёвом, где была окружена и вышла из окружения дивизия Серпилина, есть памятный камень. На этом месте по завещанию Симонова развеян его прах. Здесь на его глазах легли в землю солдаты 41-го. Теперь, как и когда-то, он вновь с ними.

Лидия ДОВЫДЕНКО

Родилась в Могилевской области БССР. Окончила историко-филологический факультет Гомельского государственного университета. С 1996 года работала в средствах массовой информации. Кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных наук Калининградского института экономики.

Автор 16 книг, ряда телевизионных фильмов, редактор художественно-публицистического журнала «Берега». Лауреат Международного литературного конкурса «Славянские традиции», Международного литературного фестиваля «Русский стиль».

Член Союза писателей России. Живет в Калининграде.

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТРАНЗИТ ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА

Одно из глобальных исторических событий в мировой истории XX века – Карибский кризис, начавшийся в 1962 году. Он был разрешен путем переговоров двух стран СССР и США, был сформулирован итог стратегической операции, получившей название «Анадырь»: предотвращена угроза термоядерной войны, Куба защищена от агрессии со стороны США, НАТО убрала ракетные базы из Турции и Италии, возрос авторитет СССР как мировой державы.

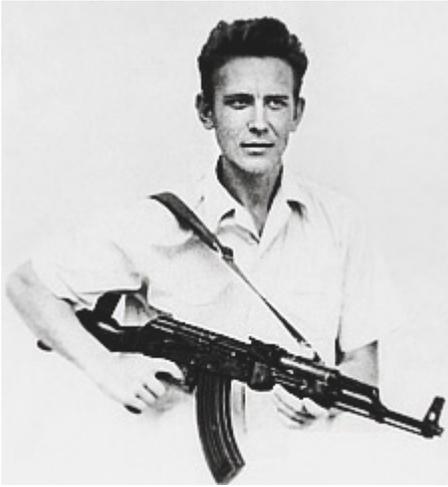
Непосредственным участником этих событий стал поэт Юрий Кузнецов, который, оказавшись на земле острова Куба, писал, что «открыл для себя русскую тему» и остался верен ей до конца своей жизни. Пойдя через «ужас космоса», так воспринял он тогда Карибский кризис, поэт не раз обращался к тем дням, когда «событием души был каждый шаг».

Балтийск

*Я помню ночь с континентальными ракетами,
Когда событием души был каждый шаг,
Когда мы спали, по приказу, нераздетыми,
И ужас космоса гремел у нас в ушах.*

25 октября 1962

«Летом 1962 года в нашу сибирскую часть пришла секретная директива: отправить лучших специалистов в неизвестном направлении. Лучшим я не был, я только что окончил учебный взвод, но командир решил от меня отделаться, невзлюбив за стихи. Хорошим специалистом я стал потом. В Белоруссии мы были сформированы, отправлены в Балтийск, переодеты в гражданское платье. В час отправки мы были



Ю.П. Кузнецов в период службы на Кубе

выстроены, и перед нами, взяв под козырёк, прошёл адмирал. Он знал, на что мы идём, и отдавал нам последнюю честь», – так вспоминал поэт в 1990 году о своей отправке на Кубу. Тогда он был связистом ВВС, начавшим свою службу в Чите.

В переброске оружия и воинских формирований на «Остров свободы», где была сформирована Группа советских войск на Кубе, участвовали Балтийский, Северный и Черноморский флот. С марта 1962 года советские корабли начали доставку на остров танков, истребителей МиГ-15 и МиГ-19, радиолокационных установок, военных специалистов. Только с

15 июля по 15 октября 1962 года на Кубу было доставлено более 260 тысяч тонн грузов: боевой техники, горючего, продовольствия, строительных материалов, более 43 тысяч военнослужащих, каждый из которых проходил специальный отбор. Среди этих 43 тысяч военных был и Юрий Кузнецов. Его путь на Кубу проходил на борту сухогруза «Балтийск», отправившегося с базы в августе 1962 года. Адмирал, отдававший честь перед погрузкой, – Г.С. Абашвили, вице-адмирал, заместитель командующего по ВМФ.

Главная военно-морская база Балтийского флота в Балтийске была переведена на режим повышенной боевой готовности. В первую очередь для переброски использовались суда вспомогательного флота. Теплоход «Волголес», например, доставил на Кубу 213-й истребительный авиационный полк. На борту теплохода «Николаевск» было переброслено 40 машин МиГ-21Ф и 6 – МиГ-15; 167 офицеров, из них 57 летчиков, 244 человека рядового состава. На теплоходе «Мария Ульянова» были перебросены подразделения 51-го ракетного дивизиона. «Во время Карибского кризиса, – вспоминает житель Балтийска Н.И. Евдокимов, – все проходило под знаком секретности. Болтать не позволялось. Нам всем оформили допуск по форме № 1. Работа выполнялась серьезная, и люди понимали ее крайнюю необходимость. Грузили самолеты, ракеты – на транспортные суда. Некоторые из них не по одному разу сходили на Кубу. Работали не по 8 часов, а столько, сколько было необходимо. Люди моего возраста не чета нынешнему поколению, отличались патриотизмом, никто не роптал и не хныкал. Работа сутками никак на зарплате не сказывалась. Доплачивали только в том случае, когда была свободная вакансия. Например, нужно было два крановщика, а я работал один, – мне доплачивали. Единственное, что нужно отметить, это усиленный паек питания, централизованно, всем!»

Вспоминает житель Балтийска А.К. Маркевич: «В начале 60-х годов в Балтийской ВМБ был сокращен охранный батальон. Эти площади, которые позже займет бригада морской пехоты, освободились для подготовки ракет на Кубу. Подготовительные работы велись только ночью. Ракеты возили на машинах, у которых колесо выше моего роста. Тан-

керы на Кубу готовились в основном на 33-м судоремонтном заводе, загружались в военной гавани. Бригада сварщиков работала там, неделями не бывая дома. Ракеты маскировались под сельскохозяйственную технику. Помню, как экипаж одного танкера после возвращения с Кубы попав в шторм, прибыл в Балтийск в тяжелейшем состоянии. Люди не могли уже ходить, только лежали, их прямо с танкера отвозили на машинах в госпиталь».

Поэт Юрий Кузнецов ничего не написал о Балтийске, ведь, оказавшись на площадке погрузки, личный состав уже не имел права выйти за ее пределы. Прерывалась любая связь с внешним миром: ни писем, ни телеграмм, ни телефонных разговоров. Эти жесткие меры предосторожности распространялись не только на военнослужащих, но и на экипажи судов, включая капитанов. Трюмы заполнялись людьми доверху. Почти месяц перехода через Атлантический океан им было суждено находиться в раскаленной стальной коробке. Верхнюю часть трюма переделывали под казарму. По стенам крепили нары для 350 солдат и сержантов. Осуществлялась посадка на суда в полной темноте, скрытно. Такого количества людей для закрытого и не приспособленного для них помещения было слишком много. Многие в пути заболели, кто-то падал за борт.

«Итак, – рассказывал поэт Юрий Кузнецов, – мы погрузились в трюм грузового судна и вышли в открытое море. Это был август. За три дня на подходе к Острову свободы нас облётывали американские самолёты, пикировали прямо на палубу, словно обнюхивая. Я был наверху и всё это видел своими глазами. Видел американский сторожевой корабль. Он обошёл <нас> вплотную, слева направо и скрылся. Нас называли: солдаты в клетчатых рубашках. Спали, засунув карабины под матрас, обоймы в головах. Шалила военная хунта. Нечто вроде контры. В самую высшую точку кризиса в ночь с 25 на 26 октября я дежурил по связи. Канал связи шёл через дивизию ПВО в Гавану. Я слышал напряжённые голоса, крики: "Взлетать или нет, что Москва? Москва молчит? Ах, мать так, так!" Такого мата я не слышал после никогда! Ну, думаю, вот сейчас начнётся. Держись, земляки! Самолёты взлетят, и ракетчики не подведут. Помирать, так с музыкой!»

Кубинский дневник

*С тех пор о славе лучше не мечтать
С закушенными изнутри губами,
Забывать о счастье и молчать, молчать –
Иначе не решить воспоминаний.*

25 октября 1962 года

«Забывать о счастье и молчать...» – как рассказать то, что открылось в напряженнейший период в мировой истории... Невыразимо. Потом, когда кубинский кошмар остался во времени, в зрелом творчестве проявилось это кузнецовское ощущение вселенского катаклизма. Но уже на Кубе в 1962 году «представленья» о мире подверглись реконструкции:

Да, вот сейчас, когда всего превыше
 Ракет континентальные штыки,
 Все наши представленья и привычки
 Звучат, как устаревшие стихи.

Два года проходил службу на Кубе Юрий Кузнецов. Проживание в палатках или в машинах с металлическими фургонами. Духота нестерпимая, но терпели. Металлические фургоны за день так раскалялись, что и ночью находиться в них было испытанием, кроме того, ночью набрасывалась мошкара. Но нужно было держаться. За год в дивизионе погибло 35 человек, и все из-за технических аварий. Поэт тосковал о доме, слушал новости из СССР. Страна демонстрировала прорывы в космос:

Машинам века доверяя слепо,
 Мы гоним их за роковой предел.
 Любуемся звездой, упавшей с неба.
 А может, это космонавт сгорел!

«На Кубе меня угнетала оторванность от Родины, – писал в дневнике Ю. Кузнецов. – Не хватало того воздуха, в котором "и дым Отечества нам сладок и приятен". Кругом была чужая земля, она пахла по-другому, и люди тоже. Русский воздух находился в шинах наших грузовиков и самоходных радиостанций. Такое определение воздуха возможно лишь на чужбине. Я поделился с ребятами своим "открытием". Они удивились: "А ведь верно!", и тут же забыли. Тоска по Родине была невыразима. После армии я возвратился в родной воздух, и всё стало на свои места. Я открыл русскую тему, которой буду верен до гробовой доски...»

Шагнули в бездну мы с порога
 И очутились на войне.
 И услышали голос Бога:
 Ко мне, последние, ко мне!

«Кубинский дневник» Кузнецов начал писать лишь в последние три месяца своего пребывания на Кубе: июль, август, сентябрь 1964 года. «Я мало писал и как бы отупел», – говорится в «Дневнике».

* * *

Я лежу на жестоком одре из досок,
 Неуютный кулак подогнав под висок.
 В кулаке, словно нитка, зажата струя –
 След на Родину, пенистый путь корабля.
 Как ревет он под ухом, как дышит бедой,
 Тот натянутый в сумерки путь молодой!
 А когда наконец засыпаю – кулак
 Разжимается.

Нить обрывается...

Мрак.

Это стихотворение датировано поэтом 1964 годом. Немного было написано, но эти два года сыграют свою роль в дальнейшем творчестве поэта. Написано немного, а передумано много, и что-то из осмысленного вылилось в его короткий дневник. А все остальное – в его поэтические сборники, в творчество, которое позволяет говорить о русском поэте Ю. Кузнецове как о гении. В 1969 году в стихотворении «Ночь» он напишет:

Я знаю, что среди мыслей
Такие вдруг выпадали,
Мне лучше б не видеть света
И жизни вовек не знать!
Четыреста карабинов
В своих пирамидах спали.
Один карабин не выдержал,
Забился и стал стрелять.

Никто из современников поэта: ни А. Вознесенский, ни Е. Евтушенко, ни Н. Рубцов – никто из них даже представить себе не мог того, что выпало пережить Кузнецову. В советское время не принято было распространяться об участии в локальных конфликтах. Только в 1990 году, снимаясь в фильме «Поэт и война», он рассказал о своем участии в Карибском кризисе, а затем коротко – в «Воззрениях» в 2003 году.

Одиноким в столетье родном,
Я зову в собеседники время.
Свист свистит все сильнее за окном —
Вот уж буря ломает деревья.

Н. Гумилев, когда в октябре 1914 года окунулся в события Первой мировой войны на территории Восточной Пруссии (сегодня Краснознаменский район Калининградской области), тоже почти не писал стихов, только «Записки кавалериста». Но позже он назвал свои первые дни на войне «священными» и начал писать стихи, наполненные христианским содержанием. Некоторые критики не поняли тогда Гумилева, так как и не может этого понять не сидевший в окопах. Ведь там, как говорят, атеистов не бывает. В последний период творчества поэта у Кузнецова тоже было достаточно критиков, не принимавших его христианскую тематику, его вселенскость:

Вместо рук над моей головой
Вижу звездную млечную сетку.
И роняет на купол живой
Белый голубь зеленую ветку.

«Новое небо», 1982

Так откройтесь дыханью куста,
Содроганью зарниц.
И услышите голос Христа,
А не шорох страниц.

«Полюбите живого Христа...», 2001

Кузнецов так оценивал свое участие в Карибском кризисе: «Куба рано дала мне два преимущества. Первое: моя человеческая единица вступила в острую связь с трагической судьбой всего мира, я напрочь лишился той узости, которую называют провинциализмом. Второе: чувство Родины с большой буквы. Ностальгия – необычное чувство. Родина была за 12 тысяч километров, а притягивала к себе как гигантский магнит. Я понял тогда, что я русский. Я частица России, и она для меня – всё».

Возвратившись на Родину, лишенный «узости провинциализма», он вскоре понял, что в какой-то степени приходится примерить на себя образ трамвая, идущего по пути проложенных рельсов, оказаться «в стенах, за которыми новые стены». Поэт выбрал путь творческого строения и созидания «большого времени», «соразмерного человеку во всей полноте его человеческого бытия» (В. Федоров). Он поставил себе сверхзадачей «сфокусировать» «рассредоточенного» богатыря, что и делал в своих стихах.

Калининград

*Я знаю, где-то в сумерках святых
Горит мое разбитое оконце.
Где просияет мой последний стих,
И вместо точки я поставлю солнце.*

«Поэзия есть свет, а мы пестры...», 1998

В Калининграде живет член Союза писателей России, талантливая ученица кузнецовской школы, поэт Светлана Супрунова, участница афганских и таджикских событий. Один из сборников ее стихов называется «Афган». В 1985 году по направлению военкомата она уехала в Афганистан, в медсанбат провинции Баграм. Вернувшись, поступила в Калининградский государственный университет на филологический факультет, параллельно училась в Литературном институте имени Горького на заочном отделении. Здесь она и познакомилась со своим учителем, в творчестве которого тема Афганистана также нашла свое отражение, вспомним хотя бы его стихотворение «Афганская змея».

«Некоторое время я занималась в творческом семинаре Юрия Кузнецова, – рассказывает Светлана. – Его энергетика, как учителя и наставника, была велика и определялась в первую очередь самой личностью поэта и его стихами, которые мы читали, перечитывали и знали наизусть. В Калининградском университете моя дипломная работа называлась: "Балладные формы в лирике Ю. Кузнецова". В моей памяти Юрий Поликарпович запечатлелся с неизменной "беломориной" – часто курил прямо в коридоре. И помню его особый почерк, чуждый скорописи, где выводилась полностью каждая буква».

Светлана Супрунова обратилась к своему преподавателю с просьбой об интервью, которое было опубликовано в университетской газете.

Кузнецов рассказал о Тютчеве как о поэте, к которому влечет его философская сторона творчества: «Мне близко его ощущение веч-

ности, стихийной катастрофичности бытия, выраженной в иносказательной форме. Я такой же преданный славянофил, как и Федор Иванович». «Нравственное начало, – продолжал поэт, – должно быть ведущим и вызывать определенный эстетический эффект. Хорошо сделанное стихотворение, содержащее нравственное начало, никогда не повлечет за собой каких-либо отрицательных эмоций». На вопрос, в чем состоит душа русской поэзии, он ответил: «Ее душа всегда была чувствительной и ранимой, она постоянно откликалась на житейский неуют и дисгармонию. Это испокон веков было ее неотъемлемым свойством. Муза мести и печали всегда посещала ее и не давала покоя. Современная поэзия многогранна, так как душа ее воспринимает бытие под различными углами зрения».

Научным руководителем дипломной работы Светланы Супруновой, когда она оканчивала Калининградский университет, был А.З. Дмитриевский, доктор филологических наук. Он является также членом Союза писателей России и инициатором данной статьи. Среди его многочисленных трудов есть работа «Жанр параболы в лирике Ю. Кузнецова», где предметом анализа стали стихи «Рыцарь», «Кто здесь хозяин?», «Разговор глухих», «Тегеранские сны», «Я помню, как в дом возвратился», которые он относит к простейшей форме лирической параболы. К параболе-притче ученый относит «Атомную сказку», «Сказку о золотой звезде», «Сказку гвоздя», «Русскую бабушку», «Простоту милосердия», «Поездку Скобелева», «Вестника» и другие. К наиболее сложной и многообразной форме лирической параболы относится миф, «где господствует пафос романтики, драматизма, трагизма, а сюжет, как правило, романтический: "Мужик", "Змеиные травы", "Колесо", "Голос", "Бочка", "Полет", "Видение", "Портрет учителя"». «Крупнейший русский поэт, – говорит Дмитриевский, – он запечатлел рефлексию величия и трагизма русского характера и уникальности русской судьбы – в ключевых ассоциациях современности и родной истории, вечных тем и повседневности, причем в поэтической образности... Он вызывал к себе разное отношение читателей, но его могучий талант, его особая "тайная свобода" в наследовании отечественной классике и фольклору в конечном счете пребывали выше всяких споров. В золотом фонде отечественной словесности также навсегда останутся его поэтический перевод "Слова о законе и благодати" и поэмы-переложения по евангельскому сюжету».

Алексею Захаровичу не довелось встретиться с Юрием Кузнецовым, который не забывал о Калининградском государственном университете, филологическом факультете. Дмитриевский рассказывает: «Поэт отметил автографом книгу для нашего факультета "Избранное: Стихотворения и поэмы", дата 17.05.94. Он передал свою личную авторучку – свое Перо. У нас на факультете стихи Юрия Кузнецова в постоянной работе, в специализации по сравнительной поэтике литературных жанров».

Как драгоценную реликвию хранит у себя Алексей Захарович авторучку Кузнецова и сборник стихов с надписью «Алексею Захаровичу Дмитриевскому на добрую память. Ю. Кузнецов».

Память о Кузнецове в Калининграде добрая. Здесь помнят, что «нельзя читать стихи, как газету». Калининградская область, отделенная границами от большой России, может быть, глубже и острее чувствует слова о том, что «в наше прозаическое время остался

один богатырь – русский народ», что человек в творчестве поэта «равен народу». Исполинской величины сознание Юрия Кузнецова вместило в себя вселенскую историю, живое единство предков и потомков, для которых с Куликова поля поэт вынес «рваное знамя победы»...

ЗНАМЯ С КУЛИКОВА

Сажусь на коня вороного –
Проносится тысяча лет.
Копыт не догонят подковы,
Луна не настигнет рассвет.

Сокрыты святые обеты
Земным и небесным холмом.
Но рваное знамя победы
Я вынес на теле моем.

Я вынес пути и печали,
Чтоб поздние дети могли
Латать им великие дали
И дыры российской земли.

1977

Николай БЕНЕДИКТОВ

Российский политический деятель, писатель, философ. Родился в 1949 году в Горьком. Окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета. Доктор философских наук, профессор кафедры социальной философии Нижегородского государственного университета. Избирался депутатом Государственной думы третьего и четвертого созывов.

Автор ряда книг, в том числе «Русские святыни» (Москва, 2003) – о системе ценностей русского народа. Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

БОГОСЛОВ, ПОЛИТИК, ПАТРИОТ

Слово о патриархе Сергии (Иване Николаевиче Страгородском)

Сегодня мы вновь поворачиваемся к полузабытой было традиции – освоению религиозной философии. К нам возвращаются имена знаменитых философов и богословов – П. Флоренского и Л. Карсавина, В. Соловьева и Н. Лосского, Н. Бердяева и К. Леонтьева, патриарха Тихона и о. Иоанна Кронштадтского... Много имен, много судеб, много мнений – радующее глаз многоцветие!

Однако здесь явно не хватает одного – может быть, наиболее достойного. Этот человек по праву может быть назван гордостью земли нижегородской – он был великим философом, великим богословом, великим политиком и патриотом. Это патриарх Сергий. Справедливости ради необходимо привлечь внимание к его многогранной личности, возродить у нижегородцев чувство законной гордости за земляка. Тем более, что о нем до сих пор нет серьезных исследовательских монографий.

Вот справка 1956 г. из материалов проверки органами КГБ уголовного дела 1937–1956 годах:

«Страгородский Иван Николаевич (патриарх Сергий), 1867 года рождения, уроженец гор. Арзамаса.

В 1927 году вступил в должность патриаршего местоблюстителя, в которой и находился до избрания в сентябре 1943 года патриархом Московским и Всея Руси. В мае 1944 года Страгородский умер.

Являясь заместителем патриаршего местоблюстителя, Страгородский в 1927 году выступил с известным обращением к духовенству и верующим, которых призвал к лояльному отношению к Советской власти.

Данными о враждебной деятельности Страгородского не располагаем, к уголовной ответственности по ст. 58 УК РСФСР не привлекался».

Справка напоминает нам, о ком идет речь, но она, скажем так, неполна. Если митрополит Сергий к ответственности не привлекался,

то под следствием и в разработке был не однажды. Он проходил по делу епископа Пылаева и группы священников в 1925 году. Секретный осведомитель сообщил, что начал активно работать кружок духовенства по изучению марксизма и материализма. Начальник Нижгуботдела ОГПУ Г.И. Лейман запросил санкции на арест участников конспиративного кружка для того, чтобы завербовать осведомителей, «захватить на этом собрании митрополита Сергия – что даст нам лишний козырь для нажима на него», а часть кружковцев выслать, что «отразится благоприятно на развитии обновленческого движения». Разрешение было дано, и аресты проведены. По делу проходила группа протоиереев, священников и мирян, имевших университетское образование. Обвинялись они в том, что прослушали доклады о происхождении мира, о происхождении евангелий, о марксизме и готовили другие доклады. Ситуация поистине сюрреалистическая – в советское время подпольный кружок изучает официальные доктрины правящей идеологии, и этот факт становится основанием обвинения в антисоветской деятельности! В результате десять человек приговорены к административной ссылке, лишению возможности проживания в шести главных губерниях страны, а дело двоих – митрополита Сергия и профессора А.С. Мишенькина – выделено в особое производство и продолжено.

Справка в деле сообщает, что митрополит «отбывал годичное наказание, виновен в том, что знал о существовании нелегальной организации духовенства и присутствовал на одном из собраний кружка, но не принял меры к предотвращению его деятельности и не донес о существовании его». Как видим, Сергей уже прошел тюрьмы, и в 1925 году он арестовывался заново, а в течение первого полугодия 1926-го дважды заключался в тюрьму. После освобождения в июне 1926 года он стал исполнять обязанности местоблюстителя патриарха, а в декабре был опять арестован за попытку письменного опроса иерархов по заочному избранию патриарха и до марта 1927-го находился в тюрьме. В 1925 и 1926 годах Сергей живет в Крестовоздвиженском монастыре в Нижнем. Нажим на него велик. Нажим этот осуществляется не только властями, но и верующими и различными течениями религиозных организаций. Вера и количество прихожан резко уменьшились. Нужно применяться и изменяться. Как и в какую сторону двигаться?

В начале 20-х годов митрополиту Сергию показалось, что обновленцы правы, и он ушел к ним с надеждой возглавить это течение и вернуть его в русло традиционной церкви. Однако очень быстро понял, что этот путь гибелен для русского православия. Сергей вернулся в «тихоновскую» традиционную церковь и публично покаялся в своих заблуждениях. Соглашаться с атеизмом и отказываться от веры он не мог, но не мог и уходить от мира в катакомбы: это означало отказаться от массы верующих, означало бросить их, загубив массовую церковь. А ведь подвиг в миру выше подвига монаха, ведь Иисус Христос погиб спасая всех людей, а не только монахов или других избранных.

Необходимость борьбы за сохранение единой православной церкви в этих условиях начинает диктовать ему основу будущей Декларации 1927 года о лояльности церкви. Сергей надеется этим выбить «козыри» из рук обновленцев и защитить церковную деятельность. Однако если в борьбе с обновленцами-раскольниками удалось добиться успеха, то защитить церковь от репрессий – нет. Происходит все более очевидная переориентация государства на всемерное ограничение ее деятельности. В громком процессе 1937 года по делу нижегородских священников

на митрополита Сергия были сделаны свидетельские показания о том, что он стоит во главе Московского центра церковно-фашистской шпионско-диверсионной организации. Следствие, ссылка, наветы, гонения – все это ему было знакомо. К сожалению, клевета и наветы продолжают и после смерти.

Он был великим богословом, и это, увы, мало кому известно. Между тем в «Законе божием» в 5-й книге (М.: Тетра, 1991) говорится: «Большое влияние имела диссертация еп. Сергия (Страгородского) о православном учении о спасении, которая воскресила древнюю традицию опытного богословия». Можно добавить, что не только диссертация «воскресила», но и весь жизненный путь епископа – митрополита – патриарха Сергия есть воскрешение «опытного» богословия, то есть вся жизнь его являлась опытом и примером жизни по православному учению.

Интересно и философское значение работы. В ней достаточно убедительно и логично показывается, что протестантизм являлся естественным продолжением и развитием католицизма, а далее этот путь ведет к агностицизму, например кантианству. Это доказательство до сих пор, к сожалению, не очень известно.

После окончания академии и защиты уже упомянутой диссертации Иван Николаевич Страгородский проповедовал православие в Японии вместе со знаменитым архиепископом Николаем (Касаткиным). Деятельность их была удивительно плодотворна – десятки тысяч обращенных в православие японцев, сотни подготовленных миссионеров, священников. Впечатляет и то, что уже через полгода молодой монах и будущий патриарх Сергей вел богослужение на японском языке. Однако – в чем-то не сошлись с великим равноапостольным и будущим святым архиепископом Николаем. Как результат, в начале нашего века мы видим молодого епископа Сергия ректором Санкт-Петербургской духовной академии. Болезненно ощущая разлад образованных слоев и народа, Сергей выступает основателем и руководителем первого у нас религиозно-философского общества, которое было призвано способствовать сближению церкви и светской жизни, интеллигенции и народа, философии и религии.

Революции и гражданские войны один из руководящих деятелей церкви митрополит Сергей встретил соратником патриарха Тихона. Всколыхнувшаяся «Россия, кровью умытая» разрывалась на куски разрухой, духовными потрясениями, сепаратизмом. Сегодня, в Русском мире (вспомните Украину), к сожалению, схожая обстановка, и скотоподобие, русофобия, антибольшевизм могут сопрягаться с наветами на Сергия не только у мирян, но и у священников. Читаешь, к примеру, отца В. Русака «Пир сатаны» (Нью-Йорк, 1991), где по отношению к «сергианству» несутся слова «позорно, лживо, преступно, гнусно, угодничество, пресмыкательство, кощунственно», и думаешь: пастырь! понял ли ты, о ком и о чем говоришь? Зовешь ли ты к любви и молишься ли за врагов своих, как учит православная вера? Или следуешь иному закону – «око за око» и зовешь к ненависти? И не будешь ли ты осудишь ли заодно святых митрополита Алексея, вылечившего ханшу Тайдулу, и Александра Невского, ездившего на поклон в Орду? Поддерживаешь ли своих предшественников из зарубежной православной церкви, приветствовавших Гитлера как освободителя?

Митрополит Сергей молодым еще человеком осознал то, что позже выскажет о. Павел Флоренский: «А русская интеллигенция еще с половины XVII века, со времен царя Алексея Михайловича, все вытравила

и вытравляла в народе прирожденный склад идей, религиозные элементы. Ну и, наконец, вытравила. Но, думаю, еще не до конца. ...А по существу я верую, что Русская церковь устоит в каком-то меньшинстве, выйдет на правильную дорогу, но большими страданиями, потрясениями. Должен быть величайший крах церковной жизни, распад на многие отдельные течения, которые могут быть все еретичны и нецерковны».

Как писал Н. Лосский в своей книге «Характер русского народа»: «...если же русский человек усомнится в абсолютном идеале, то он может прийти до крайнего скотоподобия или равнодушия ко всему», он способен идти «от невероятной законопослушности до самого необузданного безграничного бунта». «Усомнение» русского народа усугубилось последствиями империалистической и братоубийственной Гражданской войны, а положение церкви было подорвано еще и атеистическим режимом.

Церковь переживала удар сепаратизма и различного рода расколов и течений. Отделились Украинская, Финляндская, Грузинская, Белорусская, Польская православные церкви. Отделилась зарубежная церковь (Карловацкий раскол). Объявили о самостоятельности Ярославская, Иркутская, Томская, Челябинская и некоторые другие епархии. Вели самостоятельную политику живоцерковники, обновленцы, возрожденцы. Церковь подвергалась жестокой репрессивной политике правительства: закрывались монастыри и приходы, преследовались священнослужители.

В таких условиях пришлось действовать митрополиту Сергию, который двадцать лет до своей кончины стоял во главе православной церкви. Тогда и появилась известная Декларация митрополита Сергия 1927 года, призывавшая и требовавшая лояльности от всех православных. Ясно и выдержанно об этом написал в своих воспоминаниях в эмиграции Н. Лосский: «Многие эмигранты так страшно ненавидят большевиков, что стали ненавидеть, строго говоря, всю Россию, и с подозрением относятся ко всем лицам и учреждениям, находящимся в России. Они считают подлинно русскими только эмигрантов. Они не способны оценить великие заслуги митрополита Сергия, которому удалось, несмотря на сатанинскую ненависть большевиков к религии, сохранить громадную церковную организацию и, следовательно, предохранить русский народ от двух тяжких бедствий – от полного безверия и от патологических форм сектантского мистицизма. Они не понимают того, что сохранение церковной организации в России достигается путем мученического пожертвования своим добрым именем вследствие компромиссов с советской властью».

Митрополит Сергей, оказавшись в невероятно трудной ситуации и не имея других форм воздействия, кроме морального авторитета и пастырского внушения, сумел сохранить церковь и избавить ее от многих бед. Вернулись в подчинение все русские епархии, Украина, Белоруссия, большинство зарубежных епархий, практически исчезли раскольнические течения. Если, например, в 1923 году раскол обновленцев объединял до 70% православных приходов, то в 1932-м их осталось лишь 14–15%. Этому, безусловно, способствовала личность патриарха Сергия.

Он был не только великим лингвистом, богословом и философом, но и в общении и поведении очень привлекательным человеком. Высокого роста, несколько неуклюжий, всегда очень ровно доброжелательный собеседник, обладавший спокойным (не ехидным) чувством юмора,

о. Сергей оставлял людей в уверенности и спокойствии от того несомого им чувства, что все от Бога, а неизреченная милость Господа дает надежду, за которой так и видится добрая улыбка творца человечества. Интересно, что это проявлялось и в повседневной жизни. Однажды вечером в Москве уже пожилой патриарх был атакован каким-то прохиндеем. Святейший носил позолоченные очки, которые и привлекли внимание афериста. Неожиданно подскочив к выбиравшемуся из машины патриарху, вор схватил очки и скрылся в ближайшей темной подворотне. Ошарашенный помощник патриарха не знал, что делать – ведь догонять хулигана нет возможности. И вдруг патриарх сообщает: «Мы его здорово надули – ведь очки-то вовсе не золотые!» Это умение разрядить обстановку и принять самые неожиданные повороты события с улыбкой и терпением очень помогали святейшему в его жизни.

Во время войны церковь во главе с Сергием заняла ясную патриотическую позицию, а на оккупированной территории, как правило, выступала организатором сплочения и сопротивления. Это все известные вещи, и забывать о них нельзя ни в коем случае!

И последний штрих к портрету Сергия. В 1943 году его и некоторых других митрополитов повезли к Сталину, не сказав, зачем и куда. После изнурительной поездки и ожидания иерархи оказались перед «вождем всех народов», который вдруг стал спрашивать о нуждах церкви. И Сергей удивил собравшихся: он заговорил так, словно всю жизнь готовился к встрече подобного рода. Достоин и четко облек в слова нужды церкви, вызвав несомненное уважение Сталина. Был затем собран Собор, было избрание Патриархом, однако жить Сергию оставалось менее года...

Сохранение церкви и патриаршества, служение России, возвеличение России и православия – главный завет патриарха Сергия.

Мир праху его и честь имени его!

Сергей УТКИН

Родился в Шарье Костромской области. Учился в Санкт-Петербурге, в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» имени Д.Ф. Устинова.

Публиковался в журналах и коллективных сборниках поэзии и прозы. Участвовал в X Форуме молодых писателей в Липках. Финалист III молодёжного поэтического конкурса имени им. поэта Серебряного века К.Р. (великого князя Константина Романова) – второе место в номинации «Блистательный Петербург» (2013).

Из цикла «ПРОЗАИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ»

Узнать в человеке литературу...

Экспозиция литературного музея при Пушкинском доме (Институте русской литературы РАН) удивительна. Здесь, на втором этаже знаменитого петербургского здания на набережной Макарова, собраны личные вещи великих писателей, их портреты, редкие фотографии, скульптуры, первые издания самих веских книг русской литературы.

Можно ли человеку, испытывающему к русскому слову тёплые чувства и глубокое уважение, пройти без интереса и внимания мимо кинжала Михаила Лермонтова? Или его карандаша, вытащенного из кармана после последней для великого поэта дуэли? Мимо толстого, в прямом смысле, (даже очень толстого) журнала «Нива» с произведениями Льва Толстого? Мимо стола из гостиницы «Англетер», на котором Сергей Есенин написал своё последнее стихотворение?

И всё же из всего виденного мной в этом музее больше всего удивили волосы. По старой традиции, у покойника срезали клочок волос. И если волосы Николая Гоголя только оправдали мои ожидания: они оказались русыми, в точности такими, как я и представлял их себе, то цвет волос Сергея Есенина меня изумил. Вместо золотых «волос качнувшегося пузыря», я увидел несколько выгоревшие, почти седые и бесцветные волосы. Выгореть за годы, проведённые в музее, они не могли: волосы Гоголя значительно старше, но цвет сохранили. И эта мелочь, не имеющая, по сути, к великим творениям знаменитого рязанца никакого отношения (не в цвете волос суть), всё-таки почему-то ошеломила на мгновение.

Удивило несоответствие моего представления об облике поэта со свидетельствами и вещественными доказательствами его подлинного облика. Пожалуй, такое же мгновенное потрясение художественного плана было у меня в музее Александра Блока на улице Декабристов в Петербурге весной 2011 года. Тогда меня поразила посмертная маска

великого символиста: лицо казалось удивительно тонким, неестественно маленьким.

Как же сложно иногда узнать литературу в лицо или по волосам? Как же сложно узнать в человеке литературу...

Место, где похоронена музыка

Когда ты живёшь в четырёх километрах от памяти, грех не прийти к ней. Память о Викторе Цое жива во многих его почитателях, а вот он сам погиб, увы. Могила известного отечественного рок-музыканта находится на Богословском кладбище в Петербурге.

Тот январский день, в который я отправился к могиле Виктора Робертовича, заметало мягким тёплым снегом. Я вышел поздно – на кладбище уже смеркалось. У редких встречных я спросил, как пройти к нужной мне могиле. «До часовни и налево 50 метров», – объяснили мне.

Я шёл, чтобы сфотографировать могильный памятник. Прошёл мимо свежей могилы Михаила Горшенёва из «Короля и Шута». Какие громкие были люди. Громкая была музыка. Но её похоронили, и вот теперь её заметало тихим снегом. Сколько на этом кладбище известных своему времени людей, надгробий богатых. Все замолчали после встречи со смертью. И как-то неловко не то перед ними, не то за них.

Я постоял у цоевской могилы пару минут и пошёл домой. Рука не поднялась достать фотоаппарат и осквернить память последнего героя, фотографируя его в этом несчастье. В этом молчаливом бессилии перед смертью. Я быстрым шагом пошёл рядом со снегом от места, где похоронена музыка. Музыка, которая «будет вечной, если я заменю батарейки»...

Репин с красками наперевес

Дом-музей Ильи Ефимовича Репина «Пенаты» находится неподалёку от посёлка Куоккала, который после финской войны вошёл в состав России. Называется он ныне посёлком Репино и находится совсем недалеко от Петербурга. Добраться можно на городском автобусе. Проехать мимо улиц города и района, мимо памяти подпольщиков (остановки «Разлив» и «Дорога к шалашу Ленина») и прочих интересных пригородных чудес.

Я оказался у Репина в конце января. День был завален мокрым снегом и закапан оттепелью. Об экспозиции музея, удивительной и трогательной, можно писать много. Но я не стану. Скажу только о наиболее запомнившемся месте экскурсии.

На втором этаже, там, где была мастерская художника, есть редкий экспонат – подвесной мольберт. Когда у Ильи Ефимовича перестала работать одна рука, которой обычно мольберт он и держал, ему стали подвешивать доску для смешения красок.

Так и трудился он с красками наперевес. Так и жил, взвалив на себя искусство и живопись. Но не бросил в болезни ни картин, ни красок, ни жизни. Такая вот красивая верность кисти...

Вера Бишицки

Вера Бишицки (Vera Bischitzky) – немецкий русист, окончила Берлинский университет им. Гумбольдта.

Переводчик художественной литературы с русского, издатель и составитель книг. Автор статей по истории культуры. Среди её переводов русской классики пьесы и рассказы А. П. Чехова, «Мёртвые души» Н. В. Гоголя, «Обломов» И. А. Гончарова. Составила два тома писем И. А. Гончарова для немецкого читателя (к Е. Толстой и к А. Кони). Сейчас работает над новым изданием «Записок охотника» И. С. Тургенева.

Лауреат премии Союза переводчиков, писателей и издателей Германии Helmut-M.-Braem-Übersetzerpreis за перевод и подготовку немецкого издания «Мёртвых душ» Гоголя (2010). Лауреат Международной литературной премии имени И. А. Гончарова в номинации «Наследие И. А. Гончарова: исследования и просветительство» (2014). Живет в Берлине.

«АХ, ЭТОТ ФРАК!.. ЗАЧЕМ ОН ЕДЕТ КО МНЕ?»

Германские отголоски в путевых письмах

Ивана Гончарова к Михаилу и Любви Стасюлевичам

Как известно, письма Ивана Александровича Гончарова – во многих отношениях настоящая сокровищница. Они – не только окно в его «мастерскую», в мир его мыслей, его произведений, читатель писем – непосредственный адресат или сегодняшний читатель – как бы принимает участие в повседневной жизни писателя, письма позволяют познакомиться с обстоятельствами его жизни, а главное – с миром его чувств, с его личностью. Они являются ценным источником для биографического исследования. Более того: это свидетельства мысли и чувства тонкого, умного, сомневающегося, порою чрезвычайно мнительного, ранимого, самоироничного и одинокого человека, который становится нам тем ближе, чем больше мы читаем. И они интересны не одним только литературоведам. Они воздействуют на чувства и разум каждого читателя – в какой бы стране или эпохе он ни жил, на каком бы языке ни говорил, какой бы профессией и культурным багажом ни обладал.

Известно, что в своём обращении «Нарушение воли» Гончаров убеждал: *«В письмах моих нет ничего дельного, серьезного, глубокого, [...] не пеняйтесь они и той игрой блеска, остроумия, таланта, как письма*

Пушкина, Тургенева, – словом, нет ничего олимпийского, и нет даже почти ничего касающегося литературы. Это бесцеремонная болтовня с приятелями, приятельницами, редко с литераторами, иногда, может быть, живая, интересная для тех только, к кому писалась, и в то время, когда писалась».

Каждому понятны причины, побудившие Гончарова оградить свою частную сферу, в том числе и посмертно, и всё же мы сегодня можем быть бесконечно благодарны всем, кто все-таки решил не уничтожать его письма, настолько жива, увлекательна и интересна эта «бесцеремонная болтовня с приятелями»: есть ощущение, будто мы разговариваем с самим Гончаровым. Пусть он нам простит.

В рамках нашего временного предела (1860–1870) мне хотелось бы рассмотреть несколько писем из заграничных путешествий с 1868 по 1869 год, адресованных Михаилу Стасюлевичу и также порою Любове Стасюлевич, с которыми он в эти годы ближе познакомился. К счастью, конволют к Стасюлевичу из почти двухсот писем 1868 по 1891 год не только полностью сохранился, но и был целиком опубликован уже в 1912 году и сегодня легко доступен в электронном формате (Lemke, 1912)*. Четырнадцать из них – это письма из Германии, написанные в рассматриваемый мною период: два письма из Берлина и 12 писем из курортного города Киссинген**. Конечно, большинство из них, особенно письма 1868 года, посвящены роману «Обрыв» и связанным с ним размышлениям. Гончаров ведь специально уезжает за границу, чтобы закончить рукопись: «С целью скорее дописать я бросился и за границу (в Петербурге мне не пишется)», и в то же время поправить здоровье.

Все эти факты уже не раз становились предметом рассмотрения и исследования, меня же интересует другое: отражаются ли в письмах из Германии и сама страна, по которой путешествует Гончаров, и её жители? Можно ли считать его письма классическими «письмами путешественника», «путевыми заметками», или это скорее монологи, размышления на тему романа и собственного душевного состояния? И наконец – при чём здесь фрак, давший название моему тексту?

Уже из письма к Стасюлевичу от 26 мая 1868 года, отправленного еще из Петербурга, незадолго до отъезда за границу на три месяца, можно понять, какова главная цель поездки в Киссинген, Париж и Булонь-сюр-Мер помимо отдыха и оздоровительных процедур: Гончаров просит Стасюлевича купить ему в английском магазине «Маленькую [...] записную книжечку с влагающим туда карандашом – чтоб отмечать дорогой не отстающие от меня мысли, сцены, детали и т. д. Во мне теперь кипит будто в бутылке шампанского, все развивается, яснее во мне, все легче, дальше, и я почти не выдерживаю, один, рыдаю как ребенок и измученной рукой спешу отмечать кое-как, в беспорядке».

Но: какие же детали, указывающие на то, что Гончаров пишет из Германии, можно найти в его письмах – разумеется, кроме адреса отправителя? В первую очередь, конечно, это упоминание городов, где он останавливался: Берлина, Киссингена, Швальбаха. Попутно упоминаются также Ганау, Фульда, Швейнфурт, Франкфурт, Баден-Баден,

* Гончаров И. А. Письма к М. М. и Л. И. Стасюлевичам // Стасюлевич и его современники в их переписке / Под ред. М. К. Лемке. СПб., 1912.

** 10 писем рассмотренного мною периода написаны из Парижа (7) и из Булонь-сюр-Мер (3).

Висбаден, Эмс, Кёльн, а также Мюнхен и Тегернзее и река Рейн. Иногда упоминается тот или иной «немец» – редко в положительном контексте. Такое отношение мы знаем из писем Гоголя, который рассуждал: *«По мне, Германия есть не что другое, как самая неблагоприятная отрыжка гадчайшего табаку и мерзейшего пива»* (из письма Марии Балабиной, от 30 мая 1839 года из Рима), не говоря уж о письмах Достоевского из Германии. Гончаров в этом отношении, конечно, не только гораздо сдержаннее, но и «в принципе» является и другом всего немецкого. Однако и у него иногда проскальзывает это несколько странное признание: и у него, как и у многих других русских писателей, заметно, что жители той страны, по которой он путешествует, удивляют его своим присутствием (*«Киссинген начинает наполняться и становится международной выставкой разнохарактерных личностей, с преобладанием немцев»*). Ведь он путешествует по собственной воле по этим местам, т. е. сам добровольно их избрал для временного пребывания. Но, конечно, мы знаем, что люди вообще мешают ему, немцы или не-немцы...

Я однажды слышала, как один турецкий рабочий в Берлине сказал: «В Германии хорошо, только немцев слишком много». Сегодня мы говорим о «параллельном обществе»: можно жить в другой стране, оставаясь среди своих. Впрочем, в письмах Гончарова мы не найдём таких крайних выпадов, как у Гоголя или у Достоевского, – местные жители его лишь немного раздражают: *«Немцы и немки сидят, болтают на балконах, среди цветников, над речкой»*. Если учесть, что большинство из них приехало на курорт, чтобы выздороветь и отдохнуть от всевозможных недугов и забот, то можно будто бы и признать за ними право поболтать на балконе и в парке. Но Гончаров ищет тишины и уединения, чтобы писать, и повседневная курортная жизнь неизбежно сталкивается с его интересами. Среди курортной публики, которая прогуливается, болтает, лечится, отдыхает, он живёт в своём мире и только физически временно перемещается в Киссинген, куда приехал вовсе не для развлечений, и все чересчур сильные внешние впечатления только мешают творческому процессу... *«Теперь, когда я немного отдохнул [...] я будто проснулся, и опять заговорила во мне прежняя производительная сила, которая, казалось, оставила было меня совсем, и мне живее, нежели когда-нибудь видится вполне оконченной моя странная, большая картина, моя Малиновка, с бабушкой и ея внуками»*.

Что внешняя жизнь в Киссингене мешает сосредоточиться, вполне можно понять, но можно задавать себе вопрос: зачем Гончаров выбрал для работы именно этот шумный курорт? Ведь Киссинген прославился званием международного курорта, где встречались «богатые и красивые» своего времени. Общественный статус требовал от дворянства и зажиточной буржуазии проводить там несколько недель в году. Это был вопрос престижа! Итак, повторяем: почему тянуло его именно сюда? Очевидно он хочет сочетать приятное (творчество) с полезным (поправка здоровья), но в то же время жалуется на то, что его покой постоянно нарушают... А особенно мешают – очевидно – «немцы», хотя можем предположить, что «немцы» – не что иное, как синоним для «других», «чужих». Цитирую одно из его обычных юмористических высказываний: *«На счет квартиры. Таковая открывается в среду на будущей неделе в том самом доме, где я проживаю, т. е. в доме Büdel»*, – пишет он Стасюлевичу, собравшемуся навестить его в Киссингене.

«Но не знаю, понравится ли она – комнатки хорошенькие, три – но не покажутся ли малы? Пишу затем, чтоб Вы взглянули на них, прежде нежели станете искать квартиру в другом месте. Если понравится Вам – то соседство немцов Вас беспокоить не станет, ибо во всем этаже будете только Вы, да я».

О том, что он находится в Германии, свидетельствуют в этих, порою очень длинных, письмах разве что вкрапления немецких слов, обозначающих, как правило, бытовые реалии. Так, в письмах упоминаются *гульдены* и *талеры*, *кельнер* (официант), *курлист* (список гостей), встречается также «сын какого-то ландсмана» (земляка). Дорогу из Берлина в Киссинген он описывает Стасюлевичу следующим образом: *«Может быть, Вы предпочте ехать днем и ночуете во Франкфурте. Но во всяком случае во Франкфурте узнайте, который из инельцугов [скоростной поезд] идет в Швейнфурт тотчас по приезде в Вюрцбург. Вероятно есть такой цуг [поезд]. А тот цуг, который отправляется в 11 часов из Франкф. привозит в Вюрцб. в 2½ часа, но там Вас и оставит, пока другой цуг придет в 5 часов и доставит Вас в Швейнфурт в 6 часов».*

Впрочем, нужно заметить, что Гончаров вообще очень любил вставлять в свои письма (и, наверное, и в свою речь) и к другим адресатам немецкие, английские и французские слова и обороты.

Иногда можно найти и кулинарные реминисценции, например, в письме к Любове Исааковне читаем: *«очень обрадовался, что Вы нашли Schnitzel и Backhuhn [шницель и жареную курицу] по Вашему вкусу. А что же Вы ничего не скажете о маленьких австрийских хлебцах, белее и нежнее женских персей, об ароматическом кофе и сладчайших компотах?»*

Уже из Парижа, вспоминая Германию, не без юмора, но и с обычным оттенком мнительности и даже мании преследования, которую он сам констатировал в себе, в частности, в одном письме Софье Никитенко из Киссингена (с июля 1869 г.), в котором он ей сообщает, что мнительность является его природным и наследственным недугом, он пишет Стасюлевичу: *«Так как в Киссингене и Швальбахе я требовал прежде всего непременно такой комнаты, чтобы не слышать было шума, и прислуга заставляла меня, всякий раз как входила, за кучей известных Вам бумаг, то, кажется, меня и принимали все за какого-то важного человека. «Ай, ай – so viel geschrieben – und alles hier!» [так много написали, и всё это здесь!] говорил киссингенский слуга, видя мои бумаги и помогая мне укладывать чемодан. А швальбахский хозяин, заставший меня в моей маленькой комнатке за бумагами же – с улыбкой спросил: «Staatsgeschäfft [государственное дело]? Все это очень естественно, но в то же время и не совсем просто. Кто-то тут немного хлопочет о том, чтобы подрывать мою добрую репутацию и честное имя и сделать из меня какого-то Хлестакова или Чичикова».*

Одно из немногих непосредственных указаний на интерес Гончарова к окружающей среде (который безусловно у него был) можно найти в письме, в котором он сообщает Стасюлевичам о скором приезде в Швальбах:

«Я даже мечтаю, что мы с Вами покатаемся на ослax в Adolphs-eck и еще в другую развалину куда-то». Невольно вспоминается портрет Гончарова работы Раулова, созданный за границей в том же, 1868, году – Гончаров изображён на нём одетый по-летнему, в соломенной шляпе и – как кажется – готов на поход, несмотря на серьёзный взгляд.

Сегодня район Адольфсэк – часть курорта Бад Швальбах. А в то время это были романтические развалины древней крепости в скалах. Здесь начинается живописная долина реки Ар [Aar], окруженная Таунусскими горами и кое-где пролегающая в ущельях. В путеводителе XIX века читаем: «Тот, кто любит верховую езду (а мы рекомендуем это средство передвижения, в частности, дамам, чтобы добраться до ближних, интересных высот, а также посетить и более дальние окрестности), сможет выбрать себе одного из стоящих здесь в изобилии рослых ослов, умеющих бережно нести свою деликатную поклажу».

Эта прогулка к руинам в самом деле состоялась и кроме удовольствия и развлечения принесла и литературные плоды – судя по комментарию Лемке к опубликованным письмам. Там читаем: «В поисках заглавия роману, который И. А. хотел назвать "Вера", но встречал на это возражения в разном понимании этого слова, друзья как-то поехали в Adolphs-eck и там, на краю обрыва нашли, наконец, настоящее заглавие роману».

Хотя сейчас и нельзя с уверенностью сказать, что эта идея возникла у Гончарова действительно во время экскурсии в Таунус, но, глядя на скалистый пейзаж Адольфсэка, эту мысль вполне можно допустить. Сам Гончаров в сопроводительной записке к рукописи «Обрыва» выражается менее конкретно: «Прежде предполагалось назвать роман просто "Райский", потом "Вера" – и только в 1868 году, на Рейне, оканчивая последние главы огромного романа, я назвал его "Обрыв"».

Других указаний на пейзажи или географические детали окружающего мира в Германии в этих письмах к Стасюлевичу 1868–1869 годов нет, находятся еще только два маленьких упоминания, обращенные к Любви Стасюлевич, которые дают понять, как все-таки хорошо было Гончарову во время его пребывания в Швальбахе, где он проводил время вместе с супругами Стасюлевич, это ему дало чувство защищенности и радости. В одном письме он вспоминает совместные прогулки «в прохладных углах зелененького Швальбаха», а в другом интересуется: «Что Швальбах и наш милый бульвар?»

* * *

Проездом Гончаров всегда останавливался в Берлине, в своей любимой гостинице *British hôtel* (немецкое название *Englischer Hof*, французское *Hôtel Britannique*), на улице Унтер-ден-Линден, неподалёку от Бранденбургских ворот: «Выехав в Понед. [из Петербурга], я в среду, в 12 часов, сидел уже у Кранцлера за чашкой шеколада». Легендарное кафе «Кранцлер» придворного кондитера Кранцлера находилось тогда на углу Фридрихштрассе и бульвара Унтер-ден-Линден. Здесь встречался *tout le monde**, можно было людей посмотреть и себя показать (в этом кафе появилась первая уличная терраса в Берлине – выставлять столы на улицу в то время было новшеством).

Кафе «Кранцлер» было разрушено в 1944 году.

Не сохранилось и здание гостиницы *British hôtel*. Оно также было разрушено во время Второй мировой войны, как и почти весь центр Берлина. Сейчас на его месте находится телестудия**.

* Все, весь мир (фр.).

** Гостиница *British hôtel* находилась под адресом: Unter den Linden 56. Нынешний

Гостиница просуществовала в этом здании с 1842 по 1894 год. Здесь предпочитали останавливаться гости из Великобритании, здесь была и резиденция британского посла, здесь жили Достоевский, Ганс Кристиан Андерсен и др. Сохранилось описание Петра Боборыкина 1870 года, наглядно иллюстрирующее привязанность Гончарова к этой гостинице. Боборыкин рассказывает, как узкий круг друзей из России, «банда», как они себя называли, в Берлине вместе проводили время, устраивали русские чаепития и т. д. К ним присоединился и Гончаров. Они встретились на улице *Unter den Linden*, когда члены банды отправлялись на прогулку в Тиргартен – большой парк в центре Берлина.

Одна трогательная деталь из рассказа Боборыкина освещает деликатную личность Гончарова: члены «банды» обедали обычно за общим столом в гостинице *Hôtel de Rome**. Боборыкин вспоминает: *«Обед в Hôtel de Rome считался самым лучшим, и наши веселые ребята постоянно звали Гончарова обедать с ними. Он жил на улице Unter den Linden в существующем до сих пор British Hotel.*

– Иван Александрович, – повторяли ему, – ведь вы сами говорите, что еда у вас не первый сорт; так зачем же вы там обедаете? Да лучше бы вам и совсем переехать в "Рим", где цены такие же, а комнаты и стол и сравнить нельзя.

– Вы правы, друзья мои, – кротко отвечал им каждый раз Гончаров, – но, видите ли, как же я тогда буду проходить мимо British Hotel'я, хозяин может стоять на крыльце, увидеть меня. Я не могу этого сделать».

Неподалёку от гостиницы, тоже на бульваре Унтер-ден-Линден, находился и элегантный ресторан *Hiller*** , знаменитый своей изысканной французской кухней. Теодор Фонтане описывает в седьмой главе романа «Пути-перепутья» («Irrungen und Wirungen») завтрак в ресторане *Hiller*: поданы были омары, вино шабли и «Вдова Клико». Неудивительно, что гурман Гончаров открыл для себя этот ресторан:

«Вчера я нашел здесь [в Берлине] А. П. Заблоцкого – и мы с ним и его семейством обедали у Hiller'a – баснословно дешево и баснословно хорошо: за 1 талер такого обеда в Петерб. и во сне не увидишь. Советую Вам обедать там».

* * *

Как мы увидели – и могли предположить с самого начала, – письма Гончарова к Стасюлевичу не имеют ничего общего с путевыми заметками в обычном смысле слова: здесь нет описаний пейзажа, страны или людей, заметок об экзотических обычаях, традициях и т. п.

На курортах он жил замкнуто, иногда встречался со знакомыми, отправлялся на прогулки, но основное внимание он уделял работе. А для этого, как мы знаем, ему нужны были покой и уединение.

В его письмах – и это не новость – звучат все одни и те же жалобы на вездесущий шум, людскую толкотню, на несмолкаемый треск экипажей, мешающий писать. Рефреном в письмах повторяются его сетования, его стон: *«Угол – и идеальная тишина, да одно или два знакомых*

адрес дома с новой нумерацией: *Unter den Linden 36–38.*

* Гостиница *Hôtel de Rome* находилась под адресом: *Unter den Linden 39.* Нынешний адрес дома с новой нумерацией: *Unter den Linden 10.*

** Ресторан *Hiller* находился под адресом: *Unter den Linden 62–63.* Нынешний адрес дома с новой нумерацией: *Unter den Linden 48–56.*

лица – вот что мне необходимо теперь, чтоб сесть и кончить в два-три присеста». – «Нет, нет тишины на земле». Или: «Ищу идеала безусловной, почти могильной тишины и нигде не нахожу. [...] рядом разливаются в звуках пиано и пении [...] Нервы мои раздражаются, я бросаю перо, хожу, переживаю, не кончится ли? Кончилось – только сажусь, мальчишка играет в дудку, и т. д. А мне необходима тишина, чтоб чутко вслушиваться в музыку, играющую внутри меня и поспешно класть ее на ноты».

Все это нам известно.

Но для чего понадобился ему – человеку, по возможности избегавшему большого общества, – для чего ему понадобился в Киссингене фрак, этот мужской парадный вечерний костюм, атрибут больших торжеств? Невольно вспомним Гёте: «Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust» – «Ах, две души живут в груди моей». Индивидуалист Гончаров чувствовал необходимость и долг подчиниться условностям: в Киссингене ожидали приезда русского Двора: «Здесь сказали, что к 15 Июля ждут Государыню. По Вашим словам, на случай, если б здесь оказалось нужным всем Русским являться поклониться ей – (я фрака не взял, по обыкновению), однако в Берлине у Геймана под Липами оставил мерку, так что – когда услышу что другие Русские соберутся представиться Ей, я могу туда написать и они сошьют скоро и вышлют. [...] А если надобности не встретится, то не напишу и не сошьют. Мне и так люди столько положили тряпья в чемодан, что я удивляюсь, как он не лопнул. Сегодня выгружали почти корабль. А тут еще фрак прибавился бы. Чемодан – это мой дорожный крест».

Впоследствии в письмах то и дело упоминается эта обременительная необходимость и забота о фраке: «Здесь уже, наверное, известно, что Царская фамилия будет сюда: как быть? Русские готовятся представляться, следовательно, необходимо и мне. Да оно бы и очень приятно и лестно было, но одежды не имам, т. е. фрака, которого никогда не беру с собой. Если б я знал наверное, что я доживу здесь до тех пор, то послал бы сейчас в Берлин, где у портного есть моя мерка, а если я уеду раньше, или если нас не примут, тогда напрасно навяжешь себе еще аммуницию, которую надо таскать с собой». Ведь он собирался отправиться дальше в Париж и в Булонь-сюр-Мер, а одним фраком тут не обойтись: к нему нужны фракная рубашка, фракные брюки, жилет, перчатки и подходящие туфли, и цилиндр – и всё это по окончании визита ко двору пришлось бы возить с собой... Как сильно его занимает этот неприятный вопрос, следует и из того, что он размышляет, не явиться ли вместо фрака в сюртуке, как он неоднократно делал в Петербурге: «Гуляя в сюртуке (а сверху пальто), притворюсь перед швейцаром, что будто я во фраке, распишусь да как заяц от крыльца и удеру, чтоб не воротили».

Можно понять Гончарова – кто же захочет втискивать себя в такую «амуницию», особенно если не хочется стеснять себя ни физически, ни умственно или душевно...

Как обременял его этот этикет! В особенности потому, что в большом обществе он всегда чувствовал себя неуютно, неловко и стеснённо, по словам многих современников. И он сам ведь неоднократно об этом говорил (на пример в письме к Стасюлевичу с марта 1872 года: «Я большой не-охотник вообще до публичных, многолюдных собраний»). Вспомним невольно Обломова: «Он не привык [...] к многолюдству и суете. В тесной толпе ему было душно», или: «Хорошо бы перчат-

ки снять, думал он, ведь в комнате тепло. Как я отвык от всего!..» Вполне можем предполагать, что и у Гончарова была своего рода «социофобия», как у Обломова, хотя, конечно, не в такой острой форме – боязнь попасть в центр внимания в обществе, страх опозориться, не справиться с ситуацией, неизбежно ведущий к тому, что человек становится неуклюжим, краснеет, теряется... Ведь только в узком кругу Гончаров раскрывался и расцветал.

Честолюбивую сутолоку таких светских приёмов незабываемо высмеял Гоголь: *«Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая клюшница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном; [...] воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь подслеповатостью старухи и солнцем, беспокоящим глаза ее, обсыпают лакомые куски, где вразбитную, где густыми кучами. Насыщенные богатым летом, и без того на всяком шагу расставляющим лакомые блюда, они влетели вовсе не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя, пройтись взад и вперед по сахарной куче, потереть одна о другую задние или передние ножки, или почесать ими у себя под крылышками, или, протянувши обе передние лапки, потереть ими у себя над головою, повернуться и опять улететь и опять прилететь с новыми докучными эскадронами».*

Именно таких тщеславных собраний и страшился Гончаров. Но, увы, что ему оставалось делать, как не готовиться к приёму при дворе... А так как в это время Михаил Стасюлевич еще находился в Петербурге, но уже собирался в Германию, Гончаров обратился к нему с просьбой: *«Не захватите ли пару черного платья с жилетом у людей моих [...] Оно хотя и не новое, но, кажется, еще годится?»*

Стасюлевич добросовестно исполнил просьбу и по приезде в Германию выслал требуемую одежду по почте в Киссинген. Но тем временем Гончаров уже принял другое решение. Он собрался раньше времени уехать из Киссингена и лучше приехать к Стасюлевичам в Швальбах. Тем более что до него дошли слухи, что приёма при дворе давать не будут: *«Приехать к Вам в Швальбах и поработать (если погода будет хороша) в тихом Швальбахе, где я был однажды. Вы [...] пишете, что фрак все-таки высылаете [...] зачем высылать, когда мой курс идет к концу и я могу в воскресенье выехать отсюда во Франкфурт, а Двор, как здесь получено верное известие, т. е. Императрица, будет только во вторник на следующей неделе (сегодня понедельник)? Здесь знают также, что вперед прислано приказание не готовить никаких приемов, следоват. и проживающие здесь Русские представляться не будут. Зачим же фрак? думаю я и злоблюсь на Вас, что вот-де мне придется потом месяца три возить с собой напрасно это одеяние».*

Но фрак уже отправлен в Киссинген, его не вернуть... Однако близким его друзьям подобные капризы были давно знакомы, они, вероятно, не обижались на них...

На следующий день жалобы продолжаются: *«Ах, этот фрак! Знаете что я хочу сделать: не пойду за ним вовсе на почту. А почта – как себе хочет! Может быть, прилетит назад в Берлин, а проездом через Берлин – я справлюсь – и опять-таки не возьму фрака, а брошу, потому что он старый! Я удивляюсь – зачем он едет ко мне – и удивляюсь себе, потом Вам с Варварой Лукинишной, и наконец даже удивляюсь самой*

Императрице. Императрице удивляюсь потому: как достаёт у ней доброты и внимания принимать ещё толпу Русских, когда она сама едет отдохнуть и полечиться? Разве только что для развлечения: посмотреть, какие смешные лица сделают непривыкшие ей представляться. В себе удивляюсь тому, что я вообразил, будто и я, больной, расстроенный нервами, думающий о своих тетрадах, гожусь тоже для представления и решусь на него. Я уж, по обыкновению, начал раздумывать об этом, прежде нежели фрак дошел до меня – и решил в воскресенье или понедельник дать тягу отсюда, так как во вторник мне минет 4 недели, как я здесь».

Приняв решение уехать из Киссингена, Гончаров снова возвращается к юмористическому тону писем: *«Я подъеду прямо в Pariser Hof, с своим чемоданом, нет, с двумя, ибо куплю небольшой Succursale* здесь: это все по Вашей милости т. е. по милости фрака, оказывающегося мне не нужным, так как Двор приезжает сюда во вторник или среду. Да и представлений никаких, слышал я, не будет – Императрица не желает приемов и ничего подобного.*

Я далее придумал и план мицения Вам за то, что наказали (впрочем, по моей же просьбе [...]) меня фраком – и именно: ведь Вы из Швальбаха, в Августе, сколько я помню, собирались прямо отправиться в Россию – вот я и наполню свой дополнительный чемоданчик – прежде всего фраком с принадлежностями, потом прочим ненужным мне одеянием, которым обременили меня от излишнего усердия мои люди – и отпустив Вам примерно – сумму за провоз, кинусь в ноги и упрошу захватить его с собой и бросить в мою квартиру в Петербурге, понеже я задохнусь и умру под тяжестью этой всей поклажи и, вместо рукописи, только и буду возиться и теряться в ненужных мне сюртуках, пальто и панталонах – и думать: "ах – батюшки, погибаю", [...] Если же Вы за это дерзкое намерение станете мрачно на меня поглядывать или обрушите, с отказом, чемодан на мою голову, тогда я положу в него I-ю часть своего романа (на днях мною по возможности пересмотренную и приведенную в порядок) и соглашусь, чтобы Вы везли ее домой, в свою редакцию, не иначе, как в этом чемодане, с фраком и прочими вещами – и включу это в наши прочие условия».

Чем кончилась история с фраком, мы не знаем, но, вероятно, Стасюлевич не смог отказать этой просьбе и увёз фрак обратно в Петербург.

Действительно ли императрица принимала в Киссингене, также установить не удалось. Но Гончаров, счастливо избежавший исполнения неприятной обязанности, смог спокойно облачиться в свою широкую удобную одежду, не обременявшую его обширные телеса.

Впрочем, скорее всего, не только неприятная обязанность наряжаться, т. е. костюмироваться, стеснять себя и находиться в суетливой толпе людей заставила его убежать из Киссингена. Вероятно, немалую роль сыграла и неуверенность, которую всегда испытывал не дворянин Гончаров, находясь среди дворянства, – вот почему он, наверное, решил, заранее избегать визита.

Чин играл важную роль в придворном этикете: среди прочего и в распределении мест на официальных торжествах. Слово «этикет» и происходит от французского *etiquette* – «листочек, записка»: во Франции при королевском дворе использовались записки с пометками об

* Филиал (фр.). Шуточное обозначение Гончаровым второго чемодана как своего рода филиала первого.

иерархии допущенных ко двору лиц. Отсюда и произошло более позднее понятие «этикет», включавшее в себя правила «приличного» поведения при дворе.

* * *

С 1863 года Гончаров состоял в чине действительного статского советника. Занимаемая государственная должность давала ему право на получение личного дворянства, но автоматически действительные статские советники дворянами не становились с присвоением им государственного чина, необходимо было хлопотать об этом. Нам не известны документы, подтверждающие действия Гончарова по этому поводу. Но, несмотря на его относительно высокий чин, он, вероятно, ощущал несколько пренебрежительное отношение к себе столбового дворянства – или, по крайней мере, предполагал его. А в этом случае самое естественное желание – вовсе не попадать в такую неприятную ситуацию и «дать тягу» от Киссингена.

«КАКОЕ БЕЗОБРАЗИЕ ЭТОТ СТОЛИЧНЫЙ ШУМ!»

Об «идеальной тишине» в жизни И. А. Гончарова

Хорошо, что не все адресаты Гончарова последовали известному призыву Ивана Александровича не хранить его писем. В 1889 году в статье «Нарушение воли», опубликованной в «Вестнике Европы», он писал: *«Завещаю и прошу [...] не печатать ничего, что я не напечатал или на что не передал права издания и что не напечатаю при жизни сам, конечно, между прочим, и писем. Пусть письма мои остаются собственностью тех, кому они писаны, и не переходят в другие руки, а потом предадутся уничтожению».*

Перед публикацией этого завещания он колебался, сомневался и даже обращался к редактору «Вестника Европы» Стасюлевичу с вопросом, возможна ли вообще такая статья и с таким заглавием. *«Не слишком ли важно и пространно, тяжело и неуклюже везу я этот воз?»* Но Гончаров не был бы Гончаровым, если бы не приправил серьёзную тему щепоткой юмора. Итак: письмо в редакцию он заканчивает прогнозом, что этот вопрос *«[...] затрагивает многое и многих, так что, пожалуй, не одна яичная скорлупа и лимонные корки, но что-нибудь и хуже полетит в меня! Вам – ничего, а мне-то каково! Разве не подписать! Пусть в редакцию палят!»*

* * *

Очень многое уже сказано о личности Гончарова, о его эпистолярном наследии и о большом мастерстве, с которым написаны его письма. Как и его романы, письма писателя, в которых высвечиваются его характер и привычки, проанализированы гончарововедами с разных сторон и с множества точек зрения. Добавлять еще одну интерпретацию мне не хотелось бы. Мои наблюдения и не претендуют на полноту, не входит в мои намерения и филологический анализ писем. Моя цель – обратить внимание на один аспект жизни Гончарова, который был чрезвычайно важен для его творчества и в котором я соглашаюсь с ним от всего сердца: на его потребность в уединении и тишине для творческого процесса. Возможно, мне следовало бы назвать свой текст «мозаикой цитат», потому что в первую очередь я хочу дать слово самому Ивану Александровичу, приведя избранные выдержки из его писем. Да простит он меня...

* * *

В 1910 году немецкий врач и лауреат Нобелевской премии Роберт Кох высказал прогноз: *«В будущем человеку придется так же беспощадно бороться с шумом, как некогда с холерой и чумой».* Мне кажется

ся, что предсказанный момент наступил. Однако уже с давних пор – особенно в больших городах – люди страдали от всевозможного шума. Вспомним хотя бы Марселя Пруста и легендарный кабинет его парижской квартиры, стены которого были обиты пробкой для защиты от уличного шума, – здесь он написал большую часть романа «В поисках утраченного времени».

Конечно, бывают и авторы, которые пишут в кафе, как венские литераторы Музиль, Верфель, Шнитцлер – так называемые «литераторы кофейной» – die Wiener Kaffeehausliteraten; в Праге, Берлине и Париже тоже были литературные кафе, в которых под гомон посетителей создавалась мировая литература. Некоторые авторы из бедности выбирали своим рабочим местом кафе – как Хемингуэй, у которого в парижский период жизни зимой не хватало угля для отопления ...

Гоголь однажды описал ситуацию, как в момент вдохновения он сконцентрировался на работе даже среди толкотни и беготни кондитерской. Из Италии он пишет о жалком трактире, с бильярдом в главной комнате, где гремели шары и слышался разговор на разных языках. Проезжавшие мимо непременно тут останавливались, «особенно в жару», как рассказывает Гоголь. *«Остановился я. В то время я писал первый том "Мертвых душ" и эта тетрадь со мною не расставалась. Не знаю почему, именно в ту минуту, когда я вошел в этот трактир, захотелось мне писать. Я велел дать столик, уселся в угол, достал портфель и под гром катаемых шаров, при невероятном шуме, беготне прислуги, в дыму, в душной атмосфере, забылся удивительным сном и написал целую главу, не сходя с места».*

* * *

Совсем иная ситуация у Гончарова. В его письмах, особенно из-за границы, куда он уезжал, чтобы лечиться на курортах и писать в уединении, звучат все одни и те же жалобы о вездесущем шуме, о людской толкотне, о несмолкаемом треске экипажей, мешавших ему писать... Рефреном бесчисленных писем являются его сетования, буквально, зов о помощи и сочувствии: *«...мне нужна тишина. Боже мой! Неужели нельзя найти хорошенького уединенного угла!»* (письмо к сестрам Никитенко из французской Булони, 1860). Он боролся со своим «врагом», как Дон Кихот сражался с ветряными мельницами. В письме Тургеневу (тоже из французской Булони) он описывает всю проблему:

«Я здесь второй день – и напрасно ищу двух, довольно простых, но не дающихся мне никогда и нигде благ: это – уединения и тишины, но совершенно абсолютной тишины. В трактирах меня утомляет va-et-vient, в домах близ моря нет ни одной комнаты. Наконец нашел здесь, в отеле, но к морю окнами, а оно в хорошую погоду шумит, а в дурную ревет, да кроме того, по набережной скачут телеги и потом опять англичане – и в колясках и верхом. А мне хочется, то есть я покоен, когда никакой звук не доходит до меня. Хозяйка, наконец, предложила комнату на зады: [...] – прекрасно, тихо, ничего не слышать: как вдруг – вонь, так что тошно стало. Что это за запах, откуда? спрашиваю. А у нас, тут, говорит, внизу – blancherie, белье моют. Господи, камо убегу от шума и вони! Уйду ли в преисподнюю, взйду ли на гору – всюду шум и толкотня людская! Не то – так музыка одолевает: кто-нибудь поет или играет подле. В одном коридоре со мной, говорят, живет Карлотта Патти, я ее не видал и не слышал пения, но зато горничная

ее, как ласточка, раз пятьдесят прошемыгнёт назад и вперед по коридору. Я ничего, конечно, не пишу, кроме писем».

Идеальные условия для работы он обнаружил в Мариенбаде, вот где была именно «тишина идеальная», необходимая для его творчества. Неслучайно именно здесь произошло известное всем гончарововедам «мариенбадское чудо». В письме Евг. П. и Н. А. Майковым (1859) читаем: «Тишина идеальная; экипаж здесь редкость: весь Мариенбад – один парк, мешающийся с лесом», а в другом письме, написанном годом позже тем же Майковым: «В Мариенбаде [...] рай, и я намарал много бумаги и, если б остался там еще с месяц, то написал бы еще больше, благодаря совершенному уединению, тишине, тени и прочим подобным благам, необходимым для того, чтоб сосредоточиться». Случайно ли, что он останавливался в Мариенбаде именно в отеле «Пасифик»? Но слово «пасифик» означает мирный, миролюбивый, спокойный, тихий (лат. *Pacificus*) – так что *nomen est omen**!

Тем не менее приходилось ездить и на шумные курорты, ведь врачи прописывали ему морские ванны. Софии Никитенко он пишет из Булони (1865): «Я был так весел, почти счастлив до вчерашнего дня, в надежде, что уединение и тишина, ну же всего тишина, дадут мне возможность заниматься еще 15-18 дней – и довести мое дело до той точки, с которой я мог бы предвидеть вблизи конец... С этой надеждой я бросился сюда, и, конечно, прямо в старый, развалившийся, хорошо известный Вам домишко у моста, к *m-r Valbin*, где так гадко, сыро, где нечего есть: я всё презрел – ради одного, необходимого мне блага для работы, – ради тишины! и вдруг, какое разочарование: ни самого *Valbin*, ни жены его нет, ни даже тот дом не существует; он сломан, и на его месте устроен рыбный рынок. Пьяный комиссионер повел меня по городу, по отелям: "*tout est plein, all is full*" – только и слышал я в ответ – ...Наконец... я нашел очень недурной и немногочисленный *boarding-house* [...] за 8 франков в день с полным содержанием: оно бы хорошо, но – с утра до ночи раздаётся неумолкаемый треск экипажей – и моя надежда пропала! Тишина – для меня необходимый элемент: можно снести не совсем чистый воздух, даже отчасти вонь, можно затворить окна, проработать часа четыре и потом бежать на берег освежиться: но куда спрятаться от этой адской трескотни? Хозяин предлагал мне комнаты на двор окнами, но там – опять шум другого рода: кухня и говор людей ежеминутно, так что до меня долетает каждое слово, а мне нужно безмолвие могилы, тогда только я сосредоточиваюсь, ухожу в себя и вижу ясно мои создания, смотрю на них, слушаю их разговор и спешу <...> чертить бумагу. Я написал добрый том в Мариенбаде (вот где тишина!) [...] Пожалейте обо мне [...] Представьте, что в эту минуту едва могу писать это письмо: и коляски, и телеги со звонками – и черт знает что еще прыгает и скачет по мостовой! Вразу только злomu посоветую я ехать в эту гнусную щель – Булонь! [...] Боже мой: тишины, тишины, тишины пошли – и нет надежды – это ужасно!»

* * *

Эти избранные цитаты из писем я привожу *pars pro toto* (лат. – часть вместо целого), продолжать их можно долго...

* Имя говорит само за себя (лат.).

То и дело нам встречаются те же ключевые понятия, словосочетания, описания состояний и страстного желания Гончарова: ему нужна комната [...], «тихая как могила»; «безмолвие могилы»; «безмятежная тишина»; «идеальная тишина»; «совершенно абсолютная тишина»; «уединенный угол». Повторяются и причитания о том, что кругом «адская трескотня»; «толкотня людская»; «неумолкаемый треск экипажей» и т. д.

Интересно, а как эта потребность Гончарова в тишине и его страстное желание покоя отразились в «Обломове»? Материала по этой теме хватило бы на основательный разбор, на подробный анализ. Мне хочется только приоткрыть эту тему:

В романе более 140 раз употребляются слова *покой*, *спокойствие*, *тишина*, *тихо* и производные от них – причем слово «тихо» (или «покойно») учитывалось только в значении, противоположном слову «громко». Большинство этих слов употребляется в составе тех же самых формулировок, которые мы знаем из писем Гончарова. Так, в «Обломове» встречается «безмятежная тишина»; «идеальная тишина»; «невозмутимая тишина»; «ненарушимая тишина»; «глубокая тишина»; «торжественная тишина»; «тишина и невозмутимое спокойствие»; «гармония и тишина»...

В романе постоянно встречаются такие словосочетания, как «тихое счастье»; «тихо и счастливо»; «светлый, тихий идеал жизни»; «тихий, безоблачный вечер»; «тихое утро»; «все тихо, покойно»; «так тихо, мирно»; «они останавливались в мало посещаемых затишьях»; «они поселились в тихом уголке»...

Конечно, на основании многочисленных этих примеров можно было бы сделать вывод и о том, насколько интенсивно ставится диагноз застывшему обществу и человеку, по тем или иным причинам обреченному на бездеятельность и саморазрушение. Ведь в тексте достаточно таких описаний, в которых выражением «мертвая тишина» описывается застой. Это относится и к выражениям «тишина и неподвижность» или «вечная тишина вялой жизни»; «вечная тишина и ленивое переползанье изо дня в день тихо остановили машину жизни» (Обломова), к выражением «спокойствие и апатия» и другим словосочетаниям. Функция этих формулировок, конечно, иная, чем выражение описанного выше стремления героя к миру, покою и тишине. Гармония и тишина иногда могут оказаться и в тягость, как видно на примере другой героини романа – Ольги:

«...Все было у них гармония и тишина. Казалось бы, заснуть в этом заслуженном покое и блаженствовать, как блаженствуют обитатели затишьев, сходясь трижды в день, зевая за обычным разговором, впадая в тупую дремоту, томясь с утра до вечера, что все передумано, переговорено и переделано, что нечего больше говорить и делать, и что «такова уж жизнь на свете» [...], ее смущала эта тишина жизни».

Тишина и застой... В немецком языке их связь даже более очевидна, так как у нас слова для этих понятий близко родственны, это «Stille» и «Stillstand», – но я отказываюсь от оценок и от анализа и ограничиваюсь описью фактов, пока не приводя их в систему.

* * *

Вернемся к потребности в тишине и к желанию покоя и мира. Конечно, не случайность, что хитрый Тарантьев хочет заманить Обломова

в дом своей «кумы», рисуя перспективу покоя и тишины: *«Ты будешь жить у кумы моей, благородной женичины, в покое, тихо; никто тебя не тронет; ни шуму, ни гаму, чисто, опрятно. Посмотри-ка, ведь ты живешь точно на постоялом дворе...»*

И действительно, на Гороховой «до Ильи Ильича долетал со двора смешанный шум человеческих и нечеловеческих голосов: пенье кочующих артистов, сопровождаемое большею частью лаем собак. Приходили показывать и зверя морского, приносили и предлагали на разные голоса всевозможные продукты. [...] "Ах! – горестно вслух вздохнул Илья Ильич. – Что за жизнь! Какое безобразие этот столичный шум! Когда же настанет райское, желанное житье?"»

Да... Когда же... Стоит ли удивляться, что Обломов увлекся мечтаниями о тихой, спокойной жизни в деревне, с балконом на восток, с оранжереей... без вечной беготни... Кто же его не поймет...

Легко представить себе, насколько страдал от этого «безобразия» не только Обломов, но и его создатель в квартирах в центре Петербурга. До 1852 года на Литейным проспекте, а после возвращения из кругосветного путешествия в 1855 году на Невском проспекте – с окнами на двор! Вспомним еще одну сцену из «Обломова»: *«А тут раздался со двора в пять голосов: "Картофеля! Песку, песку не надо ли? Уголья! Уголья!.. Пожертвуйте, милосердные господа, на построение храма господня!" А из соседнего, вновь строящегося дома раздавался стук топоров, крик рабочих»*. Кто здесь не вспомнит высказывание Гончарова: *«Я писал только то, что переживал, что мыслил, что чувствовал»?*

Только в 1857 году он переехал на Моховую, откуда писал Стасюлевичу: *«Но ведь кроме зимних – и то морозных месяцев – в остальное время года квартира имеет незаменимые удобства, и между прочим тишину»*.

Наконец...

И можно понять, что Обломов, когда он вынужденно решился на переезд на Выборгскую сторону, тут же был очарован: *«Какая тишина у вас здесь! – сказал Обломов. – Если б не лаяла собака, так можно бы подумать, что нет ни одной живой души»*.

Такие выражения в романе, как *«Мир и тишина покоятся над Выборгской стороной»* или *«Все тихо в доме Пшеницыной»*, можно смело рассматривать и в связи с собственным желанием Гончарова попасть в такой тихий, мирный уголок. И разве удивит нас на этом фоне его участливый – пусть не без скепсиса – тон, которым он описывает Илью Ильича, смирившегося с судьбой и покорно живущего *«на Выборгской стороне»*: *«Здесь, как в Обломовке, ему удавалось [...] застраховать себе невозмутимый покой. Он торжествовал внутренне, что ушел от ее докучливых, мучительных требований и гроз, из-под того горизонта, под которым блещут молнии великих радостей и раздаются внезапные удары великих скорбей, где играют ложные надежды и великодушные призраки счастья, где гложет и снедает человека собственная мысль и убивает страсть, где падает и торжествует ум, где сражается в непрестанной битве человек и уходит с поля битвы истерзанный и все недовольный и ненасытимый. Он, не испытав наслаждений, добываемых в борьбе, мысленно отказался от них и чувствовал покой в душе только в забытом уголке, чуждом движения, борьбы и жизни. [...] И наконец решит, что жизнь его не только сложилась, но и создана, даже предназначена была так просто, немудрено, чтоб выразить возможность идеально покойной стороны человеческого бытия»*.

Итак, тишина у Ивана Гончарова – это, помимо синонима застоя, всегда и противоположность суетности и сиюминутности жизни. Тишина у него и синоним вечности. Тишина, наконец, важнейшая часть творчества и философии бытия Ивана Гончарова.

Что стало с Обломовым, мы знаем. *«На ближайшем кладбище под скромной урной покоится тело его, между кустов, в затишье. Ветви сирени, посаженные дружеской рукой, дремлют над могилой да безмятежно пахнет полынь. Кажется, сам ангел тишины охраняет сон его».*

А сам Иван Александрович?

«На новом кладбище Александро-Невской лавры течет речка, один из берегов которой круто подымается вверх. Когда почил Иван Александрович Гончаров, когда с ним произошла для всех нас неизбежная обыкновенная история, его друзья – Стасюлевич и я – выбрали место на краю этого крутого берега, и там покоится теперь автор "Обломова" ... на краю обрыва». Так писал его друг Алексей Кони*.

* Позже прах Гончарова был перенесен на Литераторские мостки Волкова кладбища.

Николай МОРОХИН

Журналист, исследователь фольклора и этнографии нижегородского Поволжья. Родился в 1961 году в Вязниках. Окончил филологическое отделение Горьковского госуниверситета им. Лобачевского. Доктор филологических наук, профессор.

Член Союза журналистов России. Живёт в Нижнем Новгороде.

КРАЯ КРАЕВА

Наше знакомство с нижегородским художником Александром Краевым было совершенно неожиданным. В зале библиотеки, где только что выступали музыканты и поэты, – так уж получилось – я подключился к общему разговору и понял, что передо мной живописец, несколько картин которого я помню ещё со школьных лет.

Буквально несколько фраз – и Александр Игнатьевич уверенно повёл меня в художественное училище. Здесь он преподаёт. И здесь в кабинете хранилось той зимой несколько экземпляров альбома с репродукциями его картин.

Прекрасно понимаю: репродукции не в состоянии передать цвет оригинала полноценно. Но когда Краев открыл увесистый том где-то на середине, я увидел пейзаж с изгибом реки. Рваные облака. Остренькие пихты слева, уже желтеющие юные березы, в жухлой траве ненакатанные песчаного цвета колеи перед поворотом и спуском к воде. И цвет этой воды – его невозможно спутать ни с чем. Он отражал серое скучное небо, но сам был гуще, спокойней, уходил то в голубизну, то в вдруг в тени в коричневатые тона.

Каждая серьёзная река имеет своё цвет. И это цвет Ветлуги.

– Да, «Дорога к Ветлуге», – кивнул головой Краев.

Мы стали листать эту книгу. На секунды буквально открывались другие пейзажи. Грустные северные поля, перелески, луга у реки. Но сама эта река...

– Я с Ветлуги. Из Шарьинского района. И всякий раз я стараюсь туда выбраться. Путешествую по этим местам, вспоминаю детство. А уж там давно никого у меня нет. И деревни нет, в которой я родился. В тех местах почти никто уже и не живёт...

Рассказывая о художниках, искусствоведы перечисляют их титулы. Краев – заслуженный художник России. Дальше идут формулы, за ко-

торыми в силу их напыщенности и многократной использованности стоять может всё что угодно. Применительно к Краеву в альбомной статье написали про «высокое образное звучание», «гармоническое сопряжение фигур и пейзажа», «взвешенную законченность картинной формы», «исповедальный характер» и «отточенность образной стилистики». Всё это, конечно, было очень красиво и умно. Но вряд ли человек, который нашёл эти слова, видел верхнее течение Ветлуги. И потому не открылась ему эта удивительная грань виртуозности художника.



А. Краев. Вещи прадедов

За ней стоит не только мастерство. Есть вещи, которые человек запечатлевает в первые годы жизни. Потом приходит их глубокое понимание. И только он сможет о них рассказать.

Краев написал натюрморт «Вещи прадедов»: грубые, но невероятно крепкие лавки и стол, а на нём деревянные ложка и рюмка, серп, кринка, к стене прислонено расписное донце прялки. Вот такую люди оставили по себе память. О том, как жили в крестьянском труде на нещедрой ветлужской земле, как стремились к красоте и радости.

— Мои родители уехали в город на заработки. А большим городом для них был Горький — когда-то Шарья входила в Горьковский край. Устроились на завод, поселились в бараке. Тут война — отец был на фронте. А после войны незадолго до моего рождения мама решила, что уедет в родную деревню. А ехать — до Котельнича, там пересадка — на Шарью. И от Шарьи — полсотни километров бездорожья, на чём уж получится. Взяла дочь и поехала. Холодно было. Моя сестра простудилась. И как доехали до деревни, через несколько дней умерла. А я родился... И вот так жизнь складывалась. Рос я в Горьком. Но лето жил у бабушки. А иногда могли меня там и на зиму оставить, когда в городе бывало голодно и денег не хватало. Тогда я учился в соседнем селе, в Матвеевском — это несколько километров от наших мест, где были деревни Бусыгинцы, Козлы. Вот это мои самые яркие детские впечатления. Лес, речка, сельская школа. И огромные красные колёса паровоза — садимся в поезд, едем из Горького на Ветлугу.

Космический интернетный снимок, на котором более или менее можно разглядеть Шарью с её домами, быстро становится невнятным, расплывчатым, если двигаться на северо-восток. Дорога, местами закрытая сверху кронами деревьев, отслеживается от Ветлуги до деревни Головино. Дальше ещё километров тридцать можно на прогалах отследить разъезженные колеи. Поляны, явно оставшиеся после деревень и теперь затягивающиеся кустами и мелколесьем. И серым бесформенным скоплением крыш и огородных полос — Матвеевское.

Он приезжает сюда. И пишет, пишет этот край: зарастающие бурьяном и подлеском улицы деревни Бусыгинцы, давно не езженные дороги и печальные избы. Он отправляется в Кажирово, в Старошангское и пишет ветлужский угор, подёрнутый ряской пруд.

Не надо его спрашивать, что он чувствует к этой земле.

И это совсем не тот случай, когда кто-то, зацепившись за город, вздыхает про «деревеньку мою». Краев вырос в Горьком и глубоко понимает ритм, жизнь большого города. Он нужен в нем, у него особая уникальная, штучная работа как у художника и как у наставника художников. И вернуться сюда некуда. Здесь, в таёжной глуши верховий Ветлуги больше не живут. И может быть, подходя к делу рационально, это легко оправдать: отдалённость, скудная земля, болота, летом лесной гнус...

Он пишет последних жителей этих деревень. Вот ворота, поставленные прадедами перед въездом на сельскую улицу. Вот – из картины в картину – одинокие качели. Старая женщина вспоминает: ведь здесь была её внучка – неделю, месяц, несколько лет назад? У марийцев, которые когда-то жили в этих местах, до русских ещё, качели почитались. И были они не только развлечением для детей. Древние сказки говорили о том, как, раскачавшись на огромных качелях, можно было уйти в иные пространства, как с их помощью спускались на землю и возвращались обратно Сын Неба и Дочь Неба.

Объёмны, тяжелы брёвна журавля-колодца. И представляешь себе его скрип в ночи, застоявшуюся воду в срубе. Обветренные на морозе, на солнце лица старых крестьян – Краев пишет их так, что ощутишь и преклонение перед их великим трудом, и смешанное чувство, обращённое внутрь себя: ты-то сам, когда они в жару, под дождём в поле работали, тихо сидел, наверное, за письменным столом или варил себе обед на уютной кухне?

Жители ветлужских деревень собираются у Краева за тяжёлым столом. Со стен избы смотрят на них иконы и фотокарточки тех, кто не вернулся с войны. Да если бы не война, жизнь была бы тут совсем другая. Или нет – просто: жизнь была бы тут... Раскрыто окно. И там – дорога. Для тех, кто ушёл и больше не вернётся. И для тех, кто вернётся, – но что тут найдёт?

«Последний житель» – у открытых ворот обезлюдевший деревни на столбе сидит кот и смотрит в сторону соседнего села, оно – за полем. А вот и село: «Святой источник Ефима». Человек возвращается домой по колеям дороги с коромыслом, на котором полные вёдра. И понимаешь: сзади его фигура превращается в крест. Под силу ли нести его тем немногим, кто сегодня живёт в дальних поветлужских деревнях?



А. Краев. Реквием



А. Краев. Врата

Дети на картинах Александра Краева смотрят сквозь время. Таково их предназначение – принадлежать сразу нескольким временам и видеть то, о чём не догадываются взрослые.

На одной из картин Владимир Белов – так зовут героя, судя по названию портрета. Видимо, он серьёзный сельский человек, председатель колхоза или бригадир, например, читает шарьинскую газету «Ветлужский край». И в ней угадываешь ниточку, связывающую пусть и не с большим миром, но с городом, живущим одной жизнью со своим районом. Связывающую, наконец, со временем.

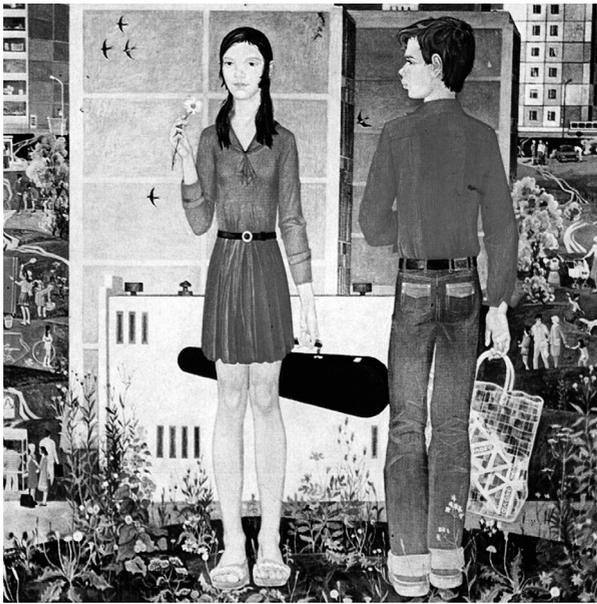
«Русская идея – любовь к земле, к человеку, природе, к Богу, создавшему мир», – написал Александр Краев, когда его попросили запечатлеть в альбоме самые важные для него мысли.

Только не надо представлять его себе этаким певцом ностальгии, уходящей в прошлое деревни. «Художники создают культурную среду, потому нужны всякие, разные направления и стили», – заметил он. И, вероятно, о себе самом. Среди его живописных работ «Царь зверей» и «Русалочка» – их явно навеяла народная резьба, но само праздничное, яркое воплощение несёт чёрты и лубочной картинки, и детского рисунка. Гротескный портрет Бальзака так поразил когда-то корифеев провинциальной живописи, что один из них, очень титулованный, протестовал против его присутствия на выставке. Абстрактная живопись – в голове не укладывается, как эти цветочные пятна мог писать тот же человек, который создал триптих «Соборность», воплотивший трагическую судьбу русского крестьянства. Наконец, стильная живопись, дышащая особой, чёткой, молодой и светлой реалистичностью семидесятых годов, посвящённая большому городу и его людям. «Моя улица» – её рассматривает с балкона ребёнок – и это счастливое обретение большого мира. «Молодые рабочие завода "Красная Этна"», «Мои друзья» – прекрасные лица людей того самого советского рабочего класса, который с тайной гордостью учился работать со сложной техникой, читал и был готов обсуждать книги, чувствовал к себе уважение. И не надо рассказывать, что таких людей не было. Городское детство и юность Краева прошли в самом что ни на есть пролетарском районе – рядом с заводами. И поныне его мастерская – в квартире дома рядом с этим предприятием «Этна», к названию которого сейчас уже полагается добавлять марсианское слово «ОАО».

И наконец, совершенно личное.

Когда я учился в десятом классе и открыл как-то раз цветную наклейку свежего журнала «Юность», то увидел репродукцию картины «молодого художника Александра Краева», которая тоже называлась «Юность». И, как оказалось, на всю жизнь запомнил этих людей с глянцево-страницы. Тонкая фигура подростка в красной рубашке и синих джинсах. В руках у него простенькая сетчатая сумка с белыми пластиковыми ручками. Там – красные и синие треугольные бумажные пакеты с молоком (мы уже почти успели забыть, как они выглядели!). Я запомнил чуть-чуть подвёрнутые штанины джинсов и удивительно чётко – как в определителе растений – прорисованные травы под его ногами. Он остановился смущённый, встретив – наверное, случайно – девушку со скрипичным футляром и ромашкой в руках. Или это он сорвал и подарил ей ромашку?..

Я не знал, разумеется, кто такой Краев. Но, разглядывая репродукцию, я представил себе, что это город Горький. И вдруг стал узнавать на фоне картины какие-то почти неуловимые черты Третьего Нагорного



А. Краев. Юность

микрорайона. И навес над автобусной остановкой. И холм, с которого открывались дома.

– Правильно, это был Третий микрорайон, – подтвердил Краев.

А этим подростком был я. Правда, художник не догадывался о моем скромном существовании. И в том углу города я никогда не встречался с ровесницами. Но у меня была такая же причёска, такие же джинсы, низ которых я подворачивал, красная рубашка (надеваемая, впрочем, редко), именно такая сумка. И она наполнялась па-

кетами с молоком, когда родители посылали меня в магазин. А этой девушкой...

В альбоме – крохотная репродукция. Где сейчас сама эта работа, никто уже не может сказать – у Краева её приобрели больше тридцати лет назад.

Когда Краев ездил в середине восьмидесятых, как это тогда бывало, в творческую командировку на далёкую сибирскую стройку, он встретил свою репродукцию в рабочей столовой: её аккуратно вырезали и вставили в рамку. Художник засиял от гордости, и его коллеги стали объяснять поварам: он автор этой картины. Женщины недоверчиво переглянулись:

– Да не может быть. У нас тут классика висит. Это что – сюда знаменитый столичный художник, что ли, приехал?

Для меня это тоже классика. Он написал именно то, что было дорого мне в моём поколении. Он радовался: те, кто моложе его, уже не знали послевоенной нужды, травы тянулись к ним не с обочин печальных просёлков, и жизнь не запрещала быть романтиками. Он обозначил надежду на то, что перед нами откроется большой, удивительный мир, что у нас есть шанс сохранить чистоту. И оставаться всегда-всегда молодыми.

– Это Ветлуга собирает людей. Видите, мы встретились, познакомились, и нам уже есть что вспомнить. И мне очень приятно, что вам интересна моя река.

Стихи по кругу

Владимир РЕШЕТНИКОВ,
Семенов, Нижегородская область

* * *

Будет все так – не иначе,
В том никого не виню,
Сядем, родная, поплачем
По уходящему дню.

Видишь – закат догорает,
Он догорает для нас,
Значит, другие за краем
Зорьку встречают сейчас.

То, что у нас за плечами,
Будет у них впереди...
И потому – так печально
Ноет сердечко в груди.

* * *

Я тебя ещё обрадую
И по-новому зажгу –
Золотой медовой брагою,
Лобызанием в стогу...

А под утро размочалимся,
Выйдем в поле налегке
И остудим пыл нечаянно
Во туманном молоке.

* * *

Нет ни ангела рядом, ни матери –
С головы беззащитен до пят.
Только взгляд предо мною внимательный,
Мой пронзает растерянный взгляд.

Как отраднo, что взглядами встретились
На просторах бескрайней Руси.
Упаси, провиденье, от третьего,
И от третьей, прошу, упаси!..

Андрей ДМИТРИЕВ, *Нижний Новгород*

* * *

На женском рубеже вселенной,
где небо крепится ребром
в утробе мира, с гобелена
глядит живое серебро
лица, очерченного нитью
под сводом каменного дня –
изящной чередой событий,
в которой живопись горда
своею верой в правду линий.
Закрыта дверь, потушен свет,
но мнётся шарик пластилина
с природой вязкою в родстве...

* * *

И горсть земли в ладони даст росток,
и буква оплетёт пространство звука,
и воздух – как прозрачный физраствор –
по капельнице проникая в руку,
отыщет сердце, мозг ополоснёт,
размочит глаз засаленные стёкла,
но стянет горло жгучее лассо,
в котором запад сблизился с востоком.

Ноябрь осип от крика и борьбы,
от ругани на кухне в час прилива.
Дома-калеки грубые горбы
железных крыш натёрли, торопливо
неся на них тугие облака.
Сыреет мир, темнеет голос выпы,
а ты меняешь эту смерть пока
на горсть земли, на буквы, воздух выпив...

* * *

Кромешным топором в редющей листве
упрятаны слова о пользе древесины,
но мы заключены в трамвайном колесе
и если слышим стук, то это не бессилье,
а гулкий пульс судьбы, спешащей по кольцу.
Учуять бы жасмин, а не клоаку урны,
хотя и этот сор в осенней тьме к лицу
дворовой суете, где разгружают фуры.

Ступня ползёт в башмак, башмак ползёт за дверь.
Колодезная ночь свои готовит вёдра,

но жажда не уйдёт – не нынче, не теперь –
она осушит рот и втиснет в призму Word'a
абсурдный этот текст. В нём буквы – поплавки
на дне пустой реки – так прочно обмелевшей.
Что ж, скинув старый груз, почувствуй, как легки
шаги вдоль анфилад, где ждал такой-то леший...

Александра ПОЛЯНСКАЯ, *Кисловодск*

* * *

Глаза твои – синькою в молоке –
Пьян в синий дым.

Приходишь ко мне
в знакомой тоске
И кажешься молодым.

Всегда возвращаешься. В уголке
Сердца – протоптанная стезя.

...И на моём седом волоске
Погоны твои висят.

* * *

А тема простая:
У сердца и моря
Похожие тайны.
И время пластает
Пространство, не споря,
Ножом беспечальным,
И память бинтует
Нажитые раны
Стандартными днями,
И шлюпку пустую
Под парусом рваным
Завалит камнями –
У сердца и моря...

Борис АНДРИАНОВ, *Нижний Новгород*

Сормовская весна

Веснушки светофоров перехода
Оранжевей синиц и сизарей
И катится «девятый вал» народа
Веснушками витрин и этажей.

И кажется – нельзя нам без апреля
За парусностью солнечной бежать.
Рекламные растяжки полетели
За Сормово лёд Волги пробуждать.

Над пробками, над сонным переездом
Автобус взмыл воздушным кораблём,
Пред парусностью простынь у подъезда
Притормозит во дворике моём.

И снова в пятнах солнечных – хороший
Помчит вне расписания... «Апрель,
Какой маршрут? – вслед кинется прохожий. –
Автобуса которая модель?»

Какое там – и не догонишь вовсе.
Вдогонку номеров не разглядишь.
Лишь дворничиха долго будет после
Метлой гонять у палисадов тишь,

Пыля усердно под ноги апрелю,
Кляня наскок заоблачных авто...
И я, летящий, громко хлопну дверью,
Махнув в парадном крыльями пальто.

Александр ЖУКОВ, *Москва*

Старик

Жизнь утекла... Осела гуща
того, чем он когда-то жил,
что было близким и грядущим,
что стало прошлым и чужим.
Лишь памяти осталось место,
а жить осталось – ничего...
Но было это так известно,
что не тревожило его.

* * *

Птица пела
и светлели тени.
Птица пела
и метался мрак.
Но сказал знаток по части пенья,
что она поет совсем не так.
Глупая,
послушалась совета
И запела, позабыв свое,
то, что было пето-перепето
птицами другими до нее.

* * *

Образ солнцеликий
не забыть нигде.
От твоей улыбки –
блики по воде.
Накрывал рукою,
все хотел понять,
что в тебе такое?
Да не смог
поймать.

* * *

И кажется, что все,
как прежде,
дни так томительно ползут,
как будто тесные одежды
расправить крылья
не дают.
Но мысль одна мне душу греет,
что новый день уж недалек,
и в прошлом
будущее зреет,
как в гусенице — мотылек.

* * *

Кольцуешь птиц,
чтобы опять
когда-нибудь с научной целью
их, окольцованных,
поймать.
А знаешь той науке цену?
Что им? – лети хоть до Луны...
Но птичьим сердцем понимают,
что и на воле
не вольны,
что их когда-нибудь поймают.

Георгий ПАНКРАТОВ, *Москва*

Ниши Нижнего

Как дуло передо мной он – страшно ли
За доли секунд пред вылетом?
Во все цвета ночи раскрашенный,
Закатною бронзой вылитый.
Кем он написан? пытались – он не напишется.
Неуловимый: был – его нет, тут же
За поворотом с Ильинки
Скрывшийся,

На волгоокской стрелке
 Мелькнувший.
 Его здесь никто не видел – толком-то,
 Никто и не знает где он? какой он?
 Был здесь один, по которого площади шёл когда,
 Я, помню, подумал – а были они знакомы?
 Кремлёвской стеной отчуждённы укутанный,
 Водоворотом на Чёрном пруду окольцованный,
 Я брёл одержимый следами его путаными –
 Попал под серую лошадь,
 Недоочарованный.
 Воде здесь нет места вообще –
 Здесь мосты как над лужей.
 Туман уникален – и вечен, и невидим.
 Он будто во сне, я хотел бы знать – может разбужен
 Он быть? да и кто? кто бы смог разбудить?
 Кто смог бы поймать? ухватить его ускользанье,
 Вцепившись, взглянуть – и отпрянуть. А может, застыть?
 Здесь нет никого. Ничего. Здесь одни очертанья,
 Здесь обозначенья того, что должно было быть.
 Но всё же он дуло – пусть никогда не увижу его
 В долях секунд перед вылетом навеки застрявшее.
 Тише живого я в нишах Нижнего.
 Страшно ли?
 Тише живого я в нишах Нижнего,
 Тише живого я в нишах Нижнего –
 Ничего личного,
 Ничего лишнего.

Екатерина КАРГОПОЛЬЦЕВА, Кострома

Из цикла «МАЛОРОССИЯ»

* * *

Брат мой кровный, православный,
 что с тобой?
 Между нами словно пыхнул смертный бой...

Речь твоя от неприязни холодна –
 В тёмном омуте обид не видно дна.

Нет ответа на слова душевных треб,
 Ты ко мне, как будто глух и точно слеп.

Только я гневливый взгляд и злой прищур,
 Помолясь,
 тебе, конечно же, прощу.

Славянск

От безверия до Веры
В испытаньях путь неблизок...
Божья птица,
 голубь сизый!
Здесь огонь и запах серы.

На душе скорбящей сыро.
Расскажи мне, ввысь взлетая,
Где отбившийся от стаи
Белый голубь – голубь Мира?

Владимир ЛЕБЕДЕВ, *Нижний Новгород*

Хлеб-соль

Космос. Звезды. Шар земной.
Небо. Поле. Летний зной.
Море цвета, лес и луг.
Шум моторов. Трактор. Плуг.

Щедрый август. Хлеб стеной.
Поле ржи, как дом родной.
Ни души семь верст вокруг.
И комбайн – за кругом круг.

Город. Улицы. Дома.
К дому дом. К стене стена.
В каждом он, они, она.
Жизнь земных хлопот полна.

Дом. Подъезд. Квартира. Стол.
Дети, муж, прекрасный пол.
На столе хлеб-соль. Уют.
Все жуют. Жуют. Жуют.

Оксана ШИКОВА, *Саранск*

Деревня детства

Деревня детства, ты уже не та.
И если посчастливится вернуться,
Не воплотится глупая мечта
В одно и то же дважды окунуться.

Обрыв. И обмелевшая река
Раскатом капель прочь с гусиных крыльев.
О, как легка у времени рука.
И спорить с нею – тщетные усилья.
Всё то же солнце свет закатный льёт
Да ивы гнёт под гнёт беспечной лени.
Но на реке давно измерен брод
Шагами юных резвых поколений.
Закладывает уши стригунок
И прямо в белых гольфах лезет в воду,
А возле тонких жеребьячьих ног
Лучи зарницы водят хороводы.
Похоже, месяц наострил рога
На сочный луг в засилье молочая,
А над холмами высятся стога,
Их золотыми шапками венчая.
И детвора хохочущей гурьбой
Всё той же жаждой жизни одержима,
Но больше не зовёт тебя с собой,
А пробегает мимо, мимо, мимо...
Под сизым фюзеляжем облаков
Скользит теней ползучая пехота.
И рыжий щен боится чужаков,
Но лает ввысь, играя в Дон Кихота.

Андрей ТРЕМАСОВ, *Нижний Новгород*

Автопортрет

Вот он – с кожаным портфелем,
В кашемировом пальто.
Счет ведет пустым неделям
И не верит ни во что.

Пьет коньяк в кафе по средам,
Отгоняя рифмы прочь...
Говорят, он был поэтом,
А таким нельзя помочь.

Лишний в суетливом мире,
Обворованный Судьбой...
Он остаток дней транжирит
И смеется над собой...

Розовая даль

Вижу розовую даль,
В той дали
Правит радость, а печаль
Погребли...

Там смеются, пьют вино
Лучших лет...
Слезы высохли давно,
Или нет?

Там, по слухам, отреклись
От побед...
Оба войска разошлись,
Или нет?

Снова розовая даль
Снится мне...
Вьется траурная шаль
В стороне.

Все очень странно

Все очень странно в этом мире,
Все очень странно, господа...
Мне хочется играть на лире,
Она не строит ни черта.

Я струны вновь перебираю,
Извлечь, пытаюсь, верный звук...
Но слышу, что не то играю,
Хотя и хлопают вокруг.

Из будущих книг

Евгений ГАЛКИН

Родился в 1947 году в деревне Малахово Горьковской области. Окончил факультет советского строительства Всесоюзного юридического заочного института и четыре курса историко-филологического факультета Горьковского государственного университета. Работал в Горьковском областном комитете ВЛКСМ, в органах внутренних дел; занимался юридической практикой, руководил коммерческими и общественными организациями.

Автор ряда книг, посвященных жизни и творчеству А.С. Пушкина.

Член Союза профессиональных литераторов. Живет в Нижнем Новгороде.

ЖЕРТВЫ ЛЮТОЙ ЛЮБВИ

Из цикла «Персоны пушкинской поры»

Время в истории России, ограниченное датами рождения и смерти Александра Сергеевича Пушкина, было отмечено крупными историческими событиями: победоносная Отечественная война 1812 года, декабрьское восстание, смена на российском царском троне трёх императоров... И всё же этому небольшому периоду досталось имя Пушкина и его называют пушкинским временем и даже эпохой Пушкина. Присоединённое к имени человека уточнение «современник Пушкина», особенно если этот человек упоминался поэтом в одном из своих сочинений или писем, является особым знаком, пропуском если не в бессмертие его имени, то уж, во всяком случае, на место в памяти потомков на многие годы. Причём память, как правило, мало зависима от его духовных качеств или жизненных достижений: был ли он героем или трусом, глубоко порядочным или развратным человеком, жестоким злодеем или даже безумцем – он интересен нам уже хотя бы тем, что его имя сочетается по времени с именем Пушкина.

*Всей России притеснитель,
Губернаторов мучитель.
И Совета он учитель,
А царю он – друг и брат.
Полон злобы, полон мести,
Без ума, без чувств, без чести,
Кто ж он? Преданный без лести,
...грошевой солдат.*

А.С. Пушкин. Эпиграмма
на графа Аракчеева

История России знает немало жестоких и гнусных людей. Особое место среди них занимает и эта любовная парочка: граф Аракчеев с его насаждением палочной дисциплины и его любовница крестьянка Минкина, которая в жестокости и подлости намного превзошла своего барина-самодура.

Алексей Андреевич Аракчеев родился в 1769 году. Был он выходцем из мелкопоместных дворян, в детстве кое-как изучил у местного сельского дьячка, по его собственным словам, «русскую грамоту и четыре правила арифметики». В 1783 году он поступил в кадеты Артиллерийского и инженерного шляхетского корпуса. В учебе успехи его были блестящие, начальство отличало его, но товарищи ненавидели за тяжелый характер: они частенько били его, а однажды даже сбросили с лестницы на него тяжелый камень.

Неизвестно, как бы пошла дальше его карьера, если бы не начал он службу в Гатчине, которая тогда принадлежала наследнику престола великому князю Павлу Петровичу. Тот заметил усердного до педантизма молодого офицера и назначил его командовать артиллерией в своем небольшом гатчинском «войске». Настоящий апогей своей карьеры Аракчеев пережил после воцарения Павла. Став императором, тот щедро вознаграждал своего преданного фаворита: дал звание полковника и назначил комендантом Санкт-Петербурга. По милости императора Аракчеев становится богачом: Павел подарил ему имение Грузино в Новгородской губернии с окрестным селом Оскуя и девятнадцатью деревнями, а также две тысячи душ крестьян. В день коронации императора Аракчееву было даровано звание барона, а в 1799 году он стал графом Российской империи.

Все это было им заслужено – Аракчеев был весьма усерден в исполнении любых обязанностей, возложенных на него государем. Куда бы ни послал его Павел – вскоре после назначения Аракчеева на должность в подведомственных ему учреждениях воцарялся безукоризненный порядок. Достигалось сие совершенство самыми грубыми методами: пользуясь почти безграничной властью, дарованной ему императором, и сознавая свою безнаказанность, Аракчеев не скупился на площадную брань и даже побои. Причем его тяжелый нрав и руку испытывали на себе не только рядовые чины, но и старшие офицеры-дворяне. На Аракчеева не раз пытались жаловаться самому императору – другой управы на него не могло быть, – но толку не было: Павел безоглядно верил ему. Некоторая холодность в отношении к Аракчееву появилась у императора лишь после того, как своей грубостью тот спровоцировал настоящую трагедию. Однажды он грязно оскорбил заслуженного полковника Лена, суворовского ветерана, награжденного за заслуги Георгиевским крестом. Лен ходил домой, зарядил два пистолета и вернулся обратно, но не застал Аракчеева. Тогда он вернулся к себе и застрелился, оставив письмо, в котором объяснял причину своего поступка.

Именно в это время Аракчеев и встретил женщину, которая стала главной любовью его жизни.

Сам он ни внешними, ни внутренними достоинствами, приятными для прекрасного пола, совершенно не обладал. Вот как описывали его внешность современники:

«По наружности Аракчеев походил на большую обезьяну в мундире. Он был высок ростом, худощав и жилист: в его складе не было ничего стройного, так как он был очень сутуловат и имел длинную тонкую шею, на которой можно было изучать анатомию жил, мышц и т. д. Сверх того он как-то судорожно морщил подбородок. У него были большие мясистые уши, толстая безобразная голова, всегда наклоненная в сторону; цвет его лица был нечист, щеки впалые, нос широкий и угловатый, ноздри вздутые, рот большой, лоб нависший...» Ко всему

этому внешнему неблагообразию присоединялся крайне неприятный голос: высокий и тонкий.

Даже не слишком красивый мужчина может нравиться женщинам, если обладает своего рода харизмой, обаянием. Но, увы, и этим Аракчеев не мог похвалиться. И ни одна женщина не испытывала к нему бескорыстных нежных чувств. Впрочем, это Аракчеева совсем не беспокоило – он и без того не испытывал недостатка в женском обществе. Утолял он свои сексуальные аппетиты (а они, судя по отзывам современников, были у него немалые) с красивыми крепостными девушками. Если не хватало своих, то покупал приглянувшихся ему красоток у своих соседей-помещиков: те боялись отказать всемогущему временщику. Постоянством чувств до поры до времени Аракчеев не страдал, его наложницы менялись очень быстро: надоевшую он снабжал небольшим приданым и быстро выдавал замуж, а на ее место поступала следующая. Такое продолжалось не один год.

Хотя граф и отличался холодным, даже суровым характером, однако он до самой своей старости не был равнодушен к женщинам. Значительная часть библиотеки Аракчеева состояла из книг и сочинений нецеломудренного содержания. Аракчеев воплотил свою любовь к пикантности даже в особого рода постройке. Он построил у себя в усадьбе особый павильон с соблазнительными картинами, которые закрывались зеркалами, отворявшимися посредством потаённых механизмов. Павильон этот стоял уединённо на острове, окружённом прудами. Только самым избранным своим приятелям граф показывал внутренность устроенного им причудливого павильона, который в его отсутствие был совершенно недоступен.

Граф Аракчеев не питал никакого уважения к браку, даже пренебрегал им. Брак имел для него значение главным образом внешнее; он рассматривал его с физической стороны.

Аракчеев как помещик особенно заботился о том, чтобы у него было больше рабочих, крепостных рук, поэтому он не мог терпеть в своей вотчине холостых и вдовых крестьян. Обыкновенно первого января каждого года ему представляли список их с указанием возраста, одновременно с этим подавали список девушек, которым он делал смотр. В поданных списках он делал отметки собственной рукой – кого на ком женить. Если ему доносили, что какая-либо из сторон не согласна на это, то давал краткое приказание: «Согласовать!» Согласие в таких случаях получалось путём строгих наказаний. Аракчеев любил, чтобы рождалось больше мальчиков, и женщинам, рожавшим девочек, он угрожал даже штрафом.

Алексей Андреевич был любимцем своей матери, служил предметом её гордости. Мать беспокоило, что её сын, которому было уже за 30, всё ещё оставался холостым. Вряд ли уступая просьбам матери и едва ли по любви, но в начале февраля 1806 года граф наконец-то женился на дворянке Наталье Фёдоровне Хомутовой. В день своей свадьбы невеста Аракчеева получила фрейлинский шифр, а непосредственно после венчания, на котором присутствовал император Александр Павлович, ей был пожалован Екатерининский орден второй степени.

Начавшаяся при таких счастливых обстоятельствах семейная жизнь супругов Аракчевых продолжалась совсем недолго. Супруги не сошлись характерами и разъехались. Да и трудно было ожидать от этого брака долгого семейного счастья. Наталье Фёдоровне к замужеству едва исполнилось 18 лет. Она была хороша собой, имела слабое и нежное

сложение. По своей натуре и по своему нравственному воспитанию она имела кроткий, мягкий и добрый характер. Аракчеев же был суровым, грубым, бессердечным, очень некрасивым человеком, притом по годам он годился своей юной жене в отцы: на момент женитьбы ему было без малого 40 лет. Алексей Андреевич ничем не мог вызвать у жены не только любви, но даже малейшей симпатии. Поэтому граф с первых дней брака начал мучить Наталью Фёдоровну неосновательными подозрениями и ревностью, к тому же сам, почти открыто, постоянно изменял ей и не только с женщинами их круга, но и из числа дворни. Не выдержав такого семейного позора, Наталья Фёдоровна, однажды дождавшись отъезда мужа по делам службы, уехала в своё поместье и больше к Аракчееву не возвращалась, а он и не настаивал на возврате.

Лет за шесть до женитьбы Аракчеев купил себе понравившуюся ему крестьянку, которая словно приворожила к себе непостоянного господина. Звали ее Настасья Федоровна Минкина, было ей от роду 19 лет, и была она дочерью кучера Фёдора Минкина. По другой версии, официально она была женой местного крестьянина. Так о ней сообщал писарь графа Аракчеева Ефимов: «Когда Аракчеев возвысил ее до своей интимности, то на мужа она смотрела свысока: за каждую вину, за каждую выпивку водила на конюшню и приказывала при себе сечь». Говорили, что в ее жилах текла цыганская кровь, потому что была она черноглазой и смуглой, с темными вьющимися волосами. По словам современников, в ее огромных черных глазах «плясали огонь и страсть. А на темных щеках полыхал нежный румянец». Другой современник писал про нее: «Настасья была среднего роста, довольна полная; лицо ее смугло, черты приятны, глаза большие и черные, полные огня... Характера живого и пылкого, а в гневе безгранична. Она старалась держаться как можно приличнее и всегда одевалась в черное».

Красотой Минкина действительно в молодости славилась, но ведь и другие наложницы графа этим не были обижены, а почему-то именно Настасья стала его постоянной любовницей на долгие годы. Крестьяне деревни Грузино, где она жила со своим хозяином, на полном серьезе считали ее ведьмой, которая приворожила Аракчеева с помощью колдовства. Они говорили про неё: «Как граф её купил, так туман на него напустил и в такую силу попала, что и не приведи господи».

Но, скорее всего, дело было в другом: Настасья оказалась просто ловчее и умнее многих своих предшественниц. Она не довольствовалась ролью, но, будучи вначале безграмотной, очень быстро научилась читать и писать, выучилась считать и вести немалое домашнее хозяйство графа. Вскоре Аракчеев доверил ей все дела не только по дому, но и по всему имению. Его привязанность и доверие к ней не уменьшались, а, наоборот, возрастали с каждым годом.

Чтобы сделать из цыганки даму хорошего происхождения, граф Аракчеев пошел на прямую фальсификацию. В город Слуцк Минской губернии был командирован один из аракчеевских сподвижников – генерал Бухмейер, который всего за 50 рублей выправил у адвоката Тамшевского документы, подтверждавшие происхождение Настьки Минкиной от некоего Михаила Шумского, чуть ли не с 300-летней дворянской родословной. Минкина в одночасье сделалась Шумской, причем отец ее – цыган Федька Минкин – продолжал числиться кучером на конюшне Аракчеева в Грузине. После смерти цыгана похоронили возле той самой церкви, под алтарем которой впоследствии нашла свой

покой и доченька. То, что цыган даже не был православным, никого не смутило, как не смутило и то, что возле храма по древней традиции хоронили обыкновенно только приходских священников. Если Аракчеев приказал хоронить цыгана возле храма – что ж, значит, придется похоронить!

Уверившись в покровительстве своего хозяина, Настасья развернулась во всей красе и показала свой характер. Можно сказать, она была отражением своего господина – этакий Аракчеев в юбке. Сначала она просто изводила возможных соперниц – молодых и красивых женщин из дворни и деревни, чтобы они, не дай бог, не заняли ее место. Потом стала без разбора мучить всех дворовых и крестьян. Особо доставалось тем, кто был у нее в непосредственном окружении. Сама будучи крепостной, она не чувствовала ни малейшей связи с теми, из чьей среды вышла, и расправлялась с ними с такой жестокостью, что любой тиран-помещик мог бы позавидовать ее усердию в мордобойном и кнутобойном ремесле.

Анастасия Федоровна Шумская была чрезвычайно охоча до порки. Могла и сама отхлестать по лицу, и раскаленными щипцами прижечь, но такого рода действия даже и наказанием не считались. После «бытового», так сказать, рукоприкладства обыкновенно следовало посажение в «эдикюль» на хлеб и воду. Домашняя тюрьма не отапливалась, прогулок заключенным не полагалось. Строго говоря, это была даже не тюрьма, а карцер. Если дворовый человек просто отсидел в «эдикюле» двое-трое суток, то он мог считать, что легко отделался, поскольку Настасья Федоровна имела обыкновение наказывать за одну и ту же провинность по нескольку раз. Бедного узника «эдикюля» нередко выводили из тюрьмы для того лишь, чтобы выпороть кнутом, после чего возвращали обратно. Но порка силами домашних палачей, обычно осуществлявшаяся перед окнами библиотеки, была отнюдь не самым суровым наказанием. Человек страдал не в пример сильнее, если Шумская жаловалась на него графу. Аракчеев был вообще бессовестен. Он никогда не пытался узнать суть дела и не интересовался объяснениями обвиненных – он вызывал немедля солдат комендантской роты с батожем. Под батогом понималась палка длиной около аршина (0,7–0,8 м) и толщиной около двух пальцев. Но граф, полагая подобный инструмент недостаточно устрашающим, использовал для порки палки большего диаметра, которые получили название «аракчеевских». Порка батогами велась не под счет, т. е. не до определенного количества ударов, а просто до тех пор, пока не следовала команда остановить наказание. Это был просто-таки вопиющий произвол: нигде – ни в армии, ни на казначействе – не порол человека без объявления наперед положенного числа ударов и их счета во время исполнения наказания. Аракчеев приказывал пороть батогами всех – и здоровых мужчин, и женщин, и подростков, и даже стариков. Ни один закон Российской империи не позволял столь вольно распоряжаться наложением этого тяжелого телесного наказания.

Но даже и это было далеко не самое страшное. Граф мог направить провинившегося в столицу. Там, в Петербурге, Аракчеев имел личных палачей – двух солдат Преображенского полка огромного роста и силы, которые привлекались им для расправы с особо провинившимися крепостными. Эта практика была широко известна многим должностным лицам в столице, но, несмотря на ее незаконность, не находилось желающих остановить произвол графа.

Кроме того, особые палачи жили в военном округе, в так называемой «матросской слободе», на другом берегу реки Волхов. Некоторых провинившихся для особо строгого наказания граф отправлял туда, а по их возвращении обратно требовал показывать спины, дабы лично убедиться в тяжести нанесенных побоев.

Помимо жалоб Аракчееву и прямых физических наказаний Шумская использовала и иные формы преследования неугодных ей лиц. Она неоднократно отнимала у матерей детей и передавала их в чужие руки либо вообще в военно-сиротский дом. От подобной практики пострадала даже Дарья Константинова, жена управляющего мирским банком. По распоряжению домоправительницы у Дарьи отняли младенца и передали его мужу, в то время как сама мать была сослана в Санкт-Петербург, где ее заставили работать простой прачкой. Константинова была достаточно богата, для того чтобы откупиться от подобной работы, нанять вместо себя другую женщину, но Шумская запретила ей это делать.

Вообще направление на изнурительные работы было обычной практикой в военных поселениях. Обычно местом такой ссылки для мужчин были местные кирпичные заводы, рабочую силу которых составляли многочисленные штрафники. По укоренившейся традиции зарплату там никогда не платили, потому попадавшие туда работники фактически оставляли свою семью без пропитания. Некоторые из дворовых людей Аракчеева побывали на этих заводах после жалоб Шумской.

Менее чем за месяц до гибели Анастасии Шумской в Грузии разыгралась трагедия, которая произвела тяжелое впечатление на всех дворовых людей Аракчеева. В середине августа 1825 г. Шумская надумала устроить инвентаризацию графского погреба, для чего не поленилась лично туда сходить. Домоправительница объявила, что нашла хищения продуктов, и повелела посадить смотрителя погреба дворецкого Стромиллова в «эдикюль». В течение двух дней его дважды пороли по приказанию Шумской, после чего выпустили из тюрьмы. Настасья Федоровна заявила дворецкому, что сообщит о хищении из погреба Аракчееву. Стромиллов не сомневался в жестокости графского гнева и, страшась его, вечером того же дня зарезался.

Между тем дворовые люди, прекрасно осведомленные о деталях личной жизни Настасьи Федоровны, имели полное основание сомневаться в правдивости возведенных на Стромиллова обвинений. Шумская позволяла себе гульнуть и проделывала это с широтой и всей горячностью своей цыганской натуры. Прекрасно изучив характер Аракчеева, склонного к болезненной регламентации и педантизму, любовница в точности знала, что граф никогда не вернется из поездки внезапно, а потому располагала свободным временем по своему усмотрению. Одиночество Шумской разделяли некоторые из помещиков и местных чиновников; флигель с зеркальными стеклами повидал немало веселых кутежей и жарких оргий без участия Аракчеева. Разумеется, дама с таким нравом, как у Настасьи Федоровны, никогда бы не стала платить за подобные развлечения из своего кармана. Поэтому всевозможными оброками и поборами были обложены все люди, находившиеся в зависимости от домоправительницы. Долгое время попойки Шумской оплачивал сельский голова Иван Дмитриев, который, пользуясь случаем, обделывал попутно и свои делишки. Но в конце концов кредит Дмитриева оказался исчерпан, и он отказался

снабжать Шумскую деньгами. Домоправительница подготовила настоящее «дело» о хищениях Дмитриева, донесла Аракчееву о вырубке лесов, о выписке фальшивых билетов на продажу леса и прочих злоупотреблениях головы. Это привело Дмитриева и его сына под суд. Доноса Шумской оказалось достаточно, для того чтобы фактически уничтожить его и его семью. Иван Дмитриев получил 50 ударов кнутом и был сослан в Сибирь, сын его был забрит в солдаты, все имущество семьи подверглось конфискации. Фактически жена и дочери сельского головы были пущены по миру. После расправы над Дмитриевым домоправительница искала новый источник пополнения средств. Вполне могло стать, что Стромиллов оказался тем человеком, который был вынужден идти на разного рода злоупотребления именно в силу неумеренных требований Шумской. Когда же он оказался неспособен удовлетворять алчность цыганки, она уготовила ему судьбу Дмитриева, и лишь самоубийство Стромилова избавило его от неизбежных унижений и мучения.

Сколь ни тяжела была доля дворовых людей графа, все же главный удар раздражительности стареющей графской наложницы принимали на себя ее комнатные девушки – Антонова, Аникеева и Иванова. В том, как преследовала и всячески мучила их Шумская, есть, безусловно, что-то патологическое. Ее ненависть можно сравнить только с ненавистью к своей прислуге Дарьи Салтыковой. Самая красивая из комнатных девушек – Прасковья Антонова – подвергалась порке розгами дважды в день на протяжении продолжительного срока. Ввиду постоянного большого расхода ивовых прутьев для их замачивания в здании арсенала, расположенного в селе Грузино, стояла кадка с рассолом. Никто из дворовых не сидел в «эдикюле» столько, сколько эти девушки. Шумская заставляла их носить на шеях рогатки, специальные приспособления, призванные затруднить человеку принятие пищи и сон. Рогатки эти неделями девушкам было запрещено снимать даже при посещении церковных служб. По закону только заключенные тюрем могли быть наказаны ношением рогаток, да и то к началу XIX столетия этот инструмент сделался достоянием почти исключительно каторжных тюрем в Сибири. О пощечинах, тасканиях за волосы, прижиганиях щипцами для завивки волос или утюгом даже и говорить отдельно не стоит – такого рода издевательства Анастасии Федоровны даже и не почитались за наказание.

Все дворовые люди, наблюдавшие вблизи быт Аракчеева и Шумской, не сомневались в том, что домоправительница преследовала цель сжить со света своих комнатных девушек. Все они были еще молоды и выглядели замечательными красавицами. Шумская нарочно отобрала их в свой штат, чтобы не дать возможность похотливому сатиру Аракчееву «загулять» с упомянутыми девушками. То, что бедные красавицы были постоянно у нее перед глазами, с одной стороны, успокаивало Шумскую, а с другой – терзало ее самолюбие и лишало покоя. Она панически боялась старости и утраты своего влияния на графа.

Лишь одно дело ей никак не удавалось: она не брезговала никакими методами, чтобы привязать к себе любовника, и понимала, что самый лучший способ – это родить ему ребенка. Но забеременеть у нее не получалось. Тогда она решила изобразить беременность – это ей было нетрудно сделать, так как граф не жил в своем имении постоянно,

а довольно часто и надолго уезжал. Настасья же всегда почти жила в Грузии.

В 1803 году она то ли уговорила, то ли заставила одну местную крепостную крестьянку из отдаленной от Грузина деревни Пролеты отдать ей новорожденного мальчика. У этой крестьянки (ее называют по-разному – то Авдотьей Филипповной Шеиной, то Лукьяновой) умер муж, а вдова осталась беременной. Растить ребенка одной ей было бы трудно, и она поддалась то ли на уговоры, то ли на угрозы Настасьи: за большие деньги объявила, что новорожденный младенец скончался, а подкупленный Минкиной священник похоронил пустой гроб. Настасья еще до родов женщины изображала беременность, а когда ей принесли новорожденного, также разыграла его «рождение». Истинная мать мальчика крестьянка Лукьянова была взята ею в кормилицы, а позднее в няньки ребенка и поклялась хранить тайну. В метрическую книгу младенец был записан как крестьянский сын Михаил Иванович Лукин.

Аракчеев был на седьмом небе от радости, но сразу же решил, что его «сын» не будет расти крестьянином. Он даже послал своего адъютанта купить подложные документы для Мишеньки, чтобы тот считался не крестьянином, а дворянским сыном. В городе Витебске (или Слуцке) в это время в небогатой дворянской семье Шумских умер маленький сын, которого тоже звали Михаилом. Его документы и приобрел адъютант всемогущего графа. Так ребенок крепостной крестьянки стал дворянином Михаилом Андреевичем Шумским. Эту фамилию приняла и так называемая его «мать»: с 1803 года Настасья Минкина стала подписываться фамилией Шумская.

После этого чудесного «рождения» граф Аракчеев стал еще более внимателен к любовнице. Он заказывал ей туалеты по последней моде, брал с собою в служебные поездки, прислушивался к ее замечаниям, когда она инспектировала вместе с ним государственные учреждения или военные поселения. Аракчеев сумел записать ее в купеческое сословие, даже изменил своей привычной скупости – положил на ее имя в банк 24 тысячи рублей: немалые по тем временам деньги!

Незадолго до этой истории, в 1801 году, высочайший покровитель Аракчеева император Павел был убит заговорщиками: эту смерть Аракчеев воспринял как тяжелейшее личное горе. Все со злорадством ожидали, что скоро его блистательной карьере придет конец, да и сам Аракчеев этого опасался. Новый император Александр I слыл человеком либеральным, просвещенным, и грубые солдфоны типа Аракчеева вроде бы должны были ему внушать отвращение. Но ничуть не бывало – вскоре Аракчеев сумел заслужить милость и этого императора, стать незаменимым и для него и наладить с ним близкие, даже дружественные отношения. Император Александр часто навещал своего фаворита в Грузии и даже вместе с ним распивал чай с наложницей Аракчеева Настасьей – она в это время жила уже в отдельном доме, который выстроил специально для нее граф напротив господского дома.

Даже навещавшие графа Аракчеева столичные вельможи не брезговали целовать ручку Минкиной. А уж о непосредственных подчиненных графа говорить нечего – даже генералы, не говоря уже о других офицерах и служащих Аракчеева, лъстили и заискивали перед ней. Вышшая петербургская знать, чтобы заслужить милость самого Аракчеева, забрасывала Настасью уважительными письмами с подарками, чтобы она походатайствовала за них перед всемогущим графом.

Несмотря на наличие законной жены и постоянной наложницы, Аракчеев имел и другие любовные связи. Обычно любовницами его становились дамы, которые хотели поиметь от связи с всемогущим графом личные выгоды для себя – в виде подарков, а также для своих мужей, отцов и других родственников – в виде чинов, должностей, орденов и медалей. Дольше всех подобных «искательниц удачи» продержалась некая Варвара Петровна Пукалова, молодая и красивая жена обер-прокурора Синода Ивана Антоновича Пукалова. Современники так рассказывали об этом своеобразном *menage trois* (сожителстве втроем – франц.): «...он (Пукалов) ум и совесть считал товаром и продавал их тому, кто больше даёт денег; тело супруги также отпускал напрокат, да граф Алексей Андреевич Аракчеев абонировал тело г-жи Пукаловой на бессрочное время». Пукалов от этой связи жены с Аракчеевым имел свою выгоду: «Иван Антонович наконец уклонился от службы по собственному желанию, но как абонемент тела супруги его продолжался, то он был у графа домашним человеком, другом дома и занимался промышленностью – доставлением желающим "табуреток" ("табуретками" Пукалов называл орденские звезды) и "миндалий" ("миндалями" он называл медали) по установленной цене. "Табуретка" стоила 10000 руб., "миндаль" – 5000 руб.» Знал ли об этой «промышленности» сам Аракчеев – неизвестно, но продолжалась эта купля-продажа долгие годы, пока жена Пукалова пребывала в должности очередной любовницы господина графа.

Несмотря на эти похождения (были и другие женщины – очень и очень многие), Минкина прочно удерживала первое место в сердце Аракчеева. Настасья как женщина умная и хитрая понимала, что привязанность сиятельного любовника она сохранит только в том случае, если сама будет высказывать ему самую верную и нерушимую преданность. Грубая и жестокая со своими подчиненными баба превращалась в присутствии графа в сущего ангела – чуткого и кроткого. Никаких сцен и упреков по поводу его связей с другими женщинами не было, по приезде графа в Грузино она тотчас же окружала его самой нежной заботой и вниманием.

Подобная заботливость имела под собой основания: с течением лет здоровье Аракчеева стало приходить в расстройство. При всех его недостатках, грубости и жестокости он не умел жалеть себя и всегда работал как заведенный, с раннего утра до поздней ночи. Ночами же часто маялся бессонницей, но какой бы тяжелой ни была для него бессонная ночь, утром он снова принимался за ревностное исполнение своих служебных обязанностей.

Немало поводов для расстройства графа доставлял ему «сын» Михаил Шумский. Судя по всему, воспитание от приемного отца и матери он получил совершенно безалаберное: это была какая-то странная смесь беспутного баловства и неоправданно жестокой строгости. Приемная мать Настасья Минкина в воспитании мальчика не брезговала ничем, чтобы с его помощью еще больше привязать к себе Аракчеева: она учила его непрерывно лстить приемному отцу, как это делала сама, вытягивать из него деньги. Она также внушала ему свойственное ей презрение к простым людям. Если она замечала, что приемный сын говорил с крестьянином или играл с крестьянским мальчиком, то сразу же наказывала его розгами. Зато очень любила, когда маленький Михаил, изображая из себя барина, вел себя с крепостными и прислугой заносчиво и жестоко: если он грубо разговаривал с няней

(не зная, что именно она – его настоящая мать) или бил по лицу ногой горничную, обувавшую его по утрам, то Настасья громко хохотала и хвалила его.

Чтобы вырастить из приемного сына «настоящего дворянина», как это она сама понимала, она даже старалась извести его природный здоровый румянец и придать его лицу модную в высшем обществе бледность: а для этого не давала есть досыта и приказывала пить уксус. За малейшее непослушание она жестоко секла ребенка и этим вызывала ненависть к себе со стороны «няни», настоящей матери Мишеньки, которая, чтобы укротить жестокую женщину, грозила, что расскажет графу всю правду о рождении мальчика. Настасья под воздействием этих угроз несколько притихала, но ненадолго – в воспитании она твердо руководствовалась древним правилом: «Пожалеешь розгу – испортишь ребенка».

Мальчика могли в один день наказать за то, за что хвалили еще вчера, или запретить то, что с легкостью разрешалось совсем недавно. В результате такого воспитания дети растут дезориентированные, не уверенные в себе и окружающем мире, с расстроенным мировосприятием. Учеба в престижном Пажеском корпусе, куда его устроил Аракчеев, только добавила ему проблем. Его приемного отца практически все в России, кроме императора Александра, не любили. Товарищи Михаила по учебе, которые слышали самые нелюбезные мнения о царском фаворите от своих отцов, свою неприязнь вымещали на сыне Аракчеева. Кроме того, все его одноклассники были в основном законнорожденными сыновьями знатных отцов, а за Михаилом тянулся шлейф «незаконного» происхождения – в Пажеском корпусе он не раз слышал в свой адрес презрительное слово «бастард». Эти конфликты отравляли жизнь подростка и отвращали от учебы – он был одним из самых нерадивых и ленивых учеников, несмотря на то что был умен и имел неплохие способности. А когда окончил корпус и вышел во взрослую жизнь, то весь душевный разлад, который он чувствовал с самого раннего детства, стал «лечить» традиционным способом – с помощью бутылки.

Современники описывали Михаила Шумского как доброго, но совершенно безвольного человека. Протекция влиятельного «отца» открывала ему блистательную карьеру: сначала он был зачислен в камерпажи при императорском дворе, потом стал флигель-адъютантом. Но все пошло не впрок: Михаил часто появлялся на службе пьяным, да и в обычной жизни выкидывал фортеля.

Летом 1824 года во время смотра войск, на котором присутствовал сам император Александр I, Михаил Шумский в пьяном виде при всех свалился с лошади. Император был разгневан, велел удалить Шумского из своей свиты и строго выговорил за сына Аракчееву. Тот приказал притащить Михаила на конюшню, жестоко выпороть плетью, лично присутствовал при наказании и приговаривал:

– Секу вас не как слугу престола, а как сына своего.

Этот случай еще больше осложнил их отношения – а они никогда не были ни близкими, ни душевными. Михаил не любил Аракчеева и часто говорил ему всевозможные дерзости прямо в лицо. После того как император удалил его из своей свиты, Шумский начал служить под началом приемного отца и жил то в Грузии, то в Петербурге, где без помех предавался своему излюбленному занятию – пьянству. После жестоких ссор с «отцом», которые постоянно теперь отравляли жизнь в Грузии, Михаил убегал из дома в деревню, где жила его старая

кормилица и няня, всегда встречавшая его с лаской и любовью. Во время одного из таких посещений она и раскрыла Михаилу тайну, которую хранила много лет, – что на самом деле ни граф, ни Настасья Минкина не были ему родителями, а настоящей родной матерью Михаила была она. Михаил даже обрадовался такому известию – он ненавидел обоих приемных родителей и был рад узнать, что в его жилах не течет ни одной капли их крови. Мать умоляла его сохранить эту тайну, потому что боялась мести Настасьи, и Михаил обещал ей никому ничего не говорить.

Все эти семейные неприятности воздействовали и на Настасью – с годами она начала попивать. Бездельная жизнь стала сказываться и на ее прежде неотразимой внешности: она растолстела и подурнела. Один из гостей графа Аракчеева, побывавший в Грузии незадолго до 1825 года, описывал ее как «пьяную, толстую и злобную женщину». Вот как ее описывал в последние годы жизни известный в свое время писатель Николай Греч: «Грубая, подлая, злая, к тому безобразная, небольшого роста, с хамским лицом и грузным телом». И все-таки, несмотря на потерю молодости и красоты, ее положение при графе было нерушимым.

Она никогда не давала ему забывать о себе и даже в его долгие отлучки из Грузии постоянно писала ему самые нежные и проникновенные письма. Их не слишком грамотные строки раскрывают секрет многолетней власти Настасьи Минкиной над ее господином. Она оказалась единственной женщиной и вообще единственным человеком, который сумел определить одну уязвимую точку в душе графа: ему было очень одиноко и неудобно в той ледяной пустыне, которую он сам вокруг себя создал.

Друзей у Аракчеева не было, были лишь знакомые да подчиненные, которые в лучшем случае боялись его, в худшем – ненавидели. Да, его ценил император, но скорее как верного слугу и пса, а не как друга. А у любого человека, даже изверга, бывают минуты, когда хочется, чтобы тебя полюбили, пожалели, позаботились – даже если человек прячет эту потребность глубоко в душе и не признается в ней никому (самому себе тоже). Наверняка была такая потребность и в заскорузлой душе Аракчеева. Но ни окружающие мужчины, ни тем более женщины, которые лучше и щедрее всего могут одарить душевным теплом, не желали никакой близости с человеком, от которого исходила лишь жестокость, ругань, грубость всех мастей.

Если в такой пустыне одиночества и всеобщей неприязни найдется хоть кто-то, кто будет смотреть с искренней любовью и восхищением, будет окружать нежной заботой и вниманием, служить «не за страх, а за совесть», – этот человек приобретет неограниченную власть над душой своего господина.

Именно это и давала Аракчееву его «Настенька» – поэтому он не расставался с ней более четверти века, не обращал внимание на потерю ею с возрастом красоты и свежести, всегда возвращался к ней от других любовниц – чтобы получить от нее то, что никто и никогда больше ему не давал: любовь, заботу, восхищение и преклонение. И не знал, вернее, не хотел знать, что на самом деле это была всего лишь имитация. О том, что все ее чувства и уверения оказались ложью, он узнал только после ее смерти.

Немалую роль в привязанности Аракчеева к Минкиной сыграло также то, что она, оказавшись по воле графа полноправной хозяйкой в

Грузине, наводила там порядок железной рукой. В это время в России реализовался план организации так называемых военных поселений, разработанный самим Аракчеевым и воплощенный в жизнь с благословения императора Александра I. В этих поселениях жизнь была организована на военный лад – крестьяне должны были не только заниматься хозяйством, но и нести дополнительно военную повинность. Образцом военного поселения было как раз поместье графа Аракчеева Грузино, и там все было устроено под непосредственным руководством его любовницы – граф часто отсутствовал, государственные дела занимали у него много времени, и жил он в основном в Санкт-Петербурге, а хозяйкой за себя оставлял Минкину.

В Грузине все дома были выстроены по одному шаблону, их невозможно было отличить друг от друга. Вся жизнь была регламентирована на военный лад – мужики строем под дробь барабана ходили пахать или косить, бабы доили коров только по сигналу рожка. Двери в домах запирались на ночь по сигналу, занавески на окнах задергивались и отдергивались – тоже по сигналу. В селе и в округе были вырублены все деревья, чей рост превышал установленный, вместо них насадили новые, которые мужики должны были стричь, чтобы все они были одной высоты и пышность кроны была определенного размера. Чистоту соблюдали до такой степени, что извели всех кур и свиней, а если по селу проезжал чей-то экипаж, то специально назначенные крестьяне должны были после проезда подмести улицу – чтобы не было видно следов от колес. Если собака не вовремя залаяла – то ее тут же давили, да еще писари составляли при этом графу докладную записку, пронумерованную и подшитую в архив: мол, такого-то дня пес по кличке Дерзай вздумал нарушить тишину, за что его... и т. д. И так была расписана вся жизнь. За малейшую оплошку полагались строгие наказания: гауптвахта, розги, шпицрутены...

Из-за пьянства Михаила Шумского и его разлада с приемным отцом атмосфера жизни в Грузине в конце жизни Настасьи Минкиной становилась все более нетерпимой. При этом еще больше возрастали ее злобность и жестокость. Настасья все чаще и чаще стала срывать злобу на своих дворовых: побои сыпались направо и налево, экзекуция шла за экзекуцией, порка за поркой. Настасья теперь не просто отдавала приказы о наказаниях, но и сама присутствовала на них и руководила ими.

Дворовые терпели, терпели, но однажды их терпению пришел конец.

Как-то горничная девушка Прасковья Антонова завивала Минкиной волосы и нечаянно обожгла ее горячими щипцами. Настасья пришла в самую дикую ярость, схватила щипцы и стала жечь ими лицо девушки. Этого ей показалось мало, и она приказала выпороть ее розгами, причем присутствовала на экзекуции и решила по ходу дела, что розог мало. По ее приказу принесли батоги и «добивали» истерзанную Прасковью ими. Горничную унесли полуживой, а выхаживать ее начал брат Василий Антонов, работавший на кухне, и его жена Дарья. У постели избитой девушки собрались почти все дворовые. Ими уже овладело отчаяние – жестокость Настасьи возростала с каждым днем, а управы на нее не было. Дворовые решили, что «злодейку» надо известить. Решился отомстить за всех брат избитой Прасковьи Василий Антонов.

Рано утром Василий взял кухонный нож и вошел с ним в спальню Минкиной. Она проснулась и поняла, что ей пришел конец: начала умолять и упрашивать пощадить ее, а когда просьбы не подействовали,

попыталась защищаться от ножа, заслоняясь руками. Потом на ее теле нашли множество порезов от ножа и на лице, и на руках, и на теле – она долго сопротивлялась и пыталась увернуться от ударов. Но все было бесполезно: Василий сумел ухватить ее за волосы, резким движением отогнул голову назад и полоснул по горлу. Вернувшись из спальни на кухню, он воткнул нож в стену и сказал: «Вяжите меня. Я за всех вас расквитался...»

Смерть Настасьи избавила окружавших её людей от её мучений, но превратила их жизнь в сущий ад.

Перед властями встал вопрос: как решиться сообщить Аракчееву о смерти его любовницы? Все боялись крутого нрава графа: как бы он не поступил с вестником несчастья так, как поступали древние сатрапы, которые вешали гонцов, привозивших им плохие новости. Смелчачка не нашлось и нарочный, который прискакал из Грузии в Петербург, где в это время находился Аракчеев, сумел только выдать из себя: мол, Настасья Федоровна опасно больна, не изволите ли прибыть к ней, ваше сиятельство? Сам же по секрету шепнул приближенным графа – доктору и полковнику фон Фрикену, что на самом деле произошло в Грузии.

Граф немедленно приказал запрягать экипаж и поехал в Грузино в сопровождении доктора и полковника, которые всю дорогу ломали голову – как сообщить ему правду. За несколько верст до Грузина повстречали едущего верхом из деревни приближенного офицера Аракчеева. Граф приказал ему остановиться и спросил: каково состояние Настасьи Федоровны? Тот ответил горестно: «У нее голова осталась лишь на одной коже».

Аракчеев не сразу понял, о чем речь, а когда до него дошло, то он словно сошел с ума. Он завыл диким голосом, бросился на землю, катался по ней, выдирая траву с корнем, рвал на себе волосы. И при этом безумно вопил: «Убили, убили её, так убейте же и меня, нарежьте скорее!»

Его с трудом успокоили, посадили в коляску и привезли в Грузино. Но когда он увидел труп Минкиной, приступ сумасшествия повторился. Он осыпал бранью собравшихся во дворе крестьян и кричал: «Злодеи! Режьте и меня! Вы отняли у меня всё!»

Такая же дикая сцена повторилась и во время похорон. Могилу убитой любовнице граф приказал вырыть рядом с тем местом, которое он выбрал для себя, чтобы и после смерти они были вместе. Пока готовились похороны, Аракчеев пребывал как будто в оцепенении, ничего не ел и не пил. Лишь когда на кладбище гроб начали опускать в могилу, он словно пришел в себя и даже бросился в яму, громко крича: «Без неё мне жизнь не нужна! Зарежьте меня!» Его еле вытащили, побитого и поцарапанного.

Свое горе он излил в письме к императору Александру, в котором намекал, что заговор был направлен не только на Минкину, но и непосредственно на него, самого Аракчеева: «...дабы сделать меня неспособным служить вам и исполнять свято вашу, батюшка, волю, можно еще, кажется, заключать, что смертоубийца имел помышление и обо мне...»

Расследование направлял непосредственно сам граф Аракчеев. Все его дворовые были арестованы, их допросы велись с «пристрастием». Жестокость следствия была непомерной: ведь главный виновник был уже известен, скоро были выявлены и соучастники. Но следователи,

понукаемые Аракчеевым, старались привлечь к делу как можно больше крепостных и не только их. Граф, одержимый мыслью о мести, хотел, чтобы за ее гибель расплатилось как можно больше людей. Он повязал на шею окровавленный платок, снятый с тела убитой, и с ним приходил лично допрашивать всех подозреваемых. Любая попытка следователей проявить хоть малейшее милосердие тут же им пресекалась.

Ему было мало привлечь к суду своих крепостных, он отыскивал «злоумышленников» и среди жителей Новгорода, в окрестностях которого находилось Грузино. В Новгороде хватали людей по самому малейшему подозрению, за любое неосторожное слово об этом убийстве, или даже за мимолетное знакомство с кем-то из крестьян или дворовых Аракчеева. Арестовали там около 80 человек, не разбирая чинов и званий, среди арестованных были мелкие чиновники, вроде писарей, люди купеческого сословия и даже случайные проезжие. Всех их неделями держали в остроге для допроса, не объясняя причины ареста. Жители Новгорода дрожали от страха в своих домах, и никто не смел и намеками говорить об этом деле. Сам новгородский губернатор получил строжайшие указания Аракчеева о расследовании по этому делу, и так старался, что кабинет в своем доме превратил в застенок, где днем и ночью пытали и допрашивали арестованных по делу об убийстве графской любовницы.

Впервые рассказал подробности об убийстве Минкиной и жестоком расследовании его А.И. Герцен. В «Былом и думах» Герцен писал об исправнике Василии Лялине, который пожалел беременную крестьянку и отказался ее сечь. С точки зрения закона он был полностью прав, так как беременных запрещалось подвергать телесным наказаниям. Но Аракчеев не простил такой «мягкотелости» своего подчиненного. Местный губернатор, которому граф лично приказал действовать с максимальной жестокостью, набросился на Лялина чуть ли не с кулаками, крича: «Я вас сейчас прикажу отдать под суд, вы – изменник!» Исправник Лялин был отстранен от должности, арестован и более двух месяцев провел в арестантской под строгим караулом. После освобождения он был вынужден выйти в отставку – карьере его пришел конец. Такому же аресту был подвергнут заседатель земской уголовной палаты А.Ф. Мусин-Пушкин, который и посоветовал Лялину отказать бить беременную женщину. Надо сразу сказать, что это заступничество не только вышло им боком, но и не помогло Дарье Константиновой: она в результате расследования тоже была признана виновной, приговорена к 95 ударам крутом, вынесла это истязание, а потом была отправлена на каторгу в Сибирь.

Всех обвиненных приговорили к наказанию кнутом и каторге. В первой половине XIX века уголовных преступников в России никогда не приговаривали к смертной казни: она в России не была полностью отменена, но применялась только лишь к политическим преступникам, которые покушались на государственные устои Российской империи. Однако это не означало милости к тем, кого судили по уголовным делам, – помимо приговоров к каторге их дополнительно приговаривали к телесным наказаниям: солдат гоняли «сквозь строй» и били шпицрутенами, а гражданских лиц избивали розгами, плетьюми или кнутом. Причем если было нужно, чтобы приговоренный умер, то специально назначалось такое количество ударов, которое наверняка убивало человека.

Самым страшным орудием избиения считался кнут. Сохранилось свидетельство, что палачи могли пробить кнутом тело человека до легкого с трех ударов! Опытные палачи имели немало секретов в своей «кнutoбойной» науке. Сохранились рассказы, как проходило обучение: палач должен был так наловчиться, чтобы с одного удара кнута переломить толстую дубовую скамью – такими ударами впоследствии он мог ломать избиваемому позвоночник. Была еще одна хитрость: ловили муху, отрывали у нее крылья и пускали ползать по этой же скамье. Нужно было научиться хлестать кнутом прямо по мухе, чтобы удары казались очень сильными, но муха при этом оставалась жива. Этот вид битья применялся, когда кто-то из родных, желая облегчить участь осужденного, давал взятку палачу и тот лишь имитировал сильные удары, которые лишь слегка срывали верхний слой кожи со спины наказуемого. Такие побои только создавали видимость наказания, они быстро заживали и обходились без тяжелых последствий для здоровья.

Осужденным по делу Минкиной крестьянам такой милости ждать не приходилось: Аракчеев наверняка позаботился о том, чтобы палачи постарались от души.

Обвиняемых в убийстве Минкиной перед отправкой на каторгу били в Грузине, на площади перед церковью. Смотреть на истязание согнали всех крепостных, вплоть до малых детей. Убийца Минкиной Василий Антонов и его сестра Прасковья, которой Минкина жгла лицо щипцами, были забиты насмерть здесь же. Еще одна женщина умерла после избиения через несколько дней. Остальные пережили экзекуцию и после выздоровления от ран и рубцов были отправлены по этапу на каторгу в Сибирь.

В XX веке о Минкиной напомнил в романе «Мастер и Маргарита» Михаил Булгаков сценой, которая называется «Великий бал у Сатаны». В этом эпизоде Маргарита – королева бала – встречала гостей – знаменитых злодеев и злодеек. Почти все приглашённые были реальными историческими лицами. Вот Коровьев представляет Маргарите очередную гостью: «...Госпожа Минкина, ах как хороша! Немного нервозна. Зачем же было жечь лицо горничной щипцами для завивки! Конечно, при этих условиях зарежут!..»

Убийство Настасьи что-то сломало в Аракчееве: его жизнь словно бы покатила под гору. Вскоре после расправы над убийцами Аракчеева постиг еще один удар: в Таганроге скончался император Александр I. Новый император Николай I не смог простить графу тот факт, что занятый своим горем и расследованием убийства Аракчеев «прозевал» восстание декабристов. Аракчееву пришлось подать в отставку. Звезда временщика неотвратно закатывалась. Сильно попортили репутацию Аракчеева бунты военных поселян. Сам граф просто по счастливому стечению обстоятельств не сделался жертвой взбунтовавшихся солдат.

Окончательно доконало его известие о том, что погибшая возлюбленная много лет наставляла ему рога. Разбирая бумаги покойной, он нашел во множестве любовные записки молодых офицеров. От этого открытия Аракчеев впал в очередной приступ ярости: сорвал со стены портрет Минкиной и разорвал, а потом побежал к её могиле и там топтал ногами и плевал на надгробную плиту, поливая умершую площадной бранью.

Кроме свидетельств измены, Аракчеев нашел множество писем с просьбами и подарков от разных чиновников и сановников, которые с

помощью любовницы графа искали милости у него. Когда он приказал собрать все подношения, то набралось ни много ни мало – сорок возов! Граф велел вернуть все подарки, но дарители не желали принять их обратно и тем самым признаться в том, что все эти сиятельные вельможи были обыкновенными взяточдателями, да к тому же кланявшимися простой бабе! Разозленный их отказом, граф пригрозил, что напечатает в газете их прошения к бывшей крепостной девке Настасье с указанием всех их знатных фамилий. Эта угроза подействовала, и они срочно разобрали свои приносы.

Вскоре после смерти Минкиной Аракчеев упрекнул Михаила Шумского за то, что тот не молится за душу своей «матушки». Тут-то молодой человек и нанес ему сокрушительный удар: сказал, что Минкина никакой «матушкой» ему не была, да и Аракчеев не является «батюшкой». Это настолько сокрушило прежде неукротимого графа, что у него уже не осталось сил шуметь и буйствовать, как он делал раньше: он лишь молча склонил голову перед известием о последнем вероломстве столь любимой им женщины.

Шумского он, однако, не выгнал, но тот продолжал пить и все дальше отдалялся от графа. За всевозможные «неприличные поступки» (как было указано в приказе), совершаемые в пьяном виде, его отправили воевать на Кавказ, куда ссылали в то время всех проштрафившихся офицеров. Михаил воевал храбро и даже писал Аракчееву покаянные письма с просьбой о прощении. Аракчеев в последний раз похлопотал за непутевого сына, и того через четыре года вернули в Петербург. Но Михаил продолжал пить, и в конце концов его вообще выгнали из армии якобы «по болезни». Он заделался бродягой, то возвращался в Грузино, то опять начинал бродяжничать. Наконец, решил обосноваться в монастыре – это было уже в конце жизни Аракчеева. Но и там не ужилась, продолжал спиваться, перешел в другой монастырь, потом сменил еще несколько и наконец скончался в больнице для бедняков в 1851 году.

Аракчеев до этого не дожил – умер в 1834 году. В последние годы жизни Аракчеева роль его погибшей домоправительницы отчасти приняла на себя ее племянница – Татьяна Борисовна Минкина. По воспоминаниям некоторых лиц, это была девица кроткого нрава и очень добрая к крепостным людям. Она всегда заступалась за тех, кто навлек на себя аракчеевский гнев, и пользовалась потому самой доброй славой. Впрочем, Аракчеев, впадавший время от времени в состояние совершенно маниакальной подозрительности, и ее саму немало тиранил. Он запрещал Татьяне Борисовне выходить замуж, и она смогла обрести семейное счастье лишь после смерти графа, выйдя за молодого поручика Владимира Андреева. В своем завещании Аракчеев отказал Татьяне Борисовне Минкиной 10 тыс. рублей золотом.

Говорят, перед смертью характер Аракчеева смягчился, он завещал большие суммы на благотворительность. Последними словами, которые он произнес, были: «Простите меня, кого я обидел».

В финале этой жуткой истории нельзя не упомянуть о весьма любопытной командировке Клейнмихеля в Грузино, имевшей место уже после смерти Аракчеева. Генерал прибыл в резиденцию Аракчеева по прямому указанию императора: Клейнмихелю надлежало уничтожить следы особых отношений Аракчеева и Анастасии Шумской. Он лично разобрал документы из архива Аракчеева и отобрал переписку графа с домоправительницей, изъял портреты Шумской. Тело домоправительницы

было извлечено из-под алтаря храма и перезахоронено на улице, рядом с отцом. Исчезла и мемориальная доска над склепом, установленная лично Аракчеевым.

После графа Аракчеева в наследство другим правителям России остались перлы его административной мудрости, вроде этих:

«Мы всё сделаем: от нас, русских, нужно требовать невозможного, чтобы достичь возможного».

«Для того чтобы заставить русского человека сделать что-нибудь порядочное, надо сперва разбить ему рожу».

«Касательно же толков людских, то на оное смотреть не должно, да они ничего важного не сделают».

Книжная полка

Анастасия РОСТОВА

Родилась в 1986 г. в деревне Пестенькино Владимирской области. Окончила Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова. Работала журналистом, переводчиком, копирайтером, организатором конференций, в настоящее время – специалист по маркетингу IT-компаний Persona (США).

Публиковалась периодических и коллективных изданиях. С 2006 года руководит литературным объединением «Феникс» для авторов-студентов НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. Живет в Нижнем Новгороде.

ПРАВДА ПРОЩЕНИЯ

Некоторые темы только кажутся исчерпанными, даже дежурными. До того момента, когда является тот, кто докажет их неисчерпаемость, взглянув на них под новым углом, с нового ракурса, новыми глазами.

Что можно сказать спустя семь десятилетий о Великой Отечественной, о фашизме, о концлагерях? Спустя семь десятилетий, в течение которых были написаны горы документалистики, стихов, романов, научных работ и аналитических статей, – что принципиально нового может быть сказано?

Новое – есть. Чтобы сказать его, был нужен голос достаточно смелый – озвучить истину, которая нужна нашему времени. Живую – пусть и художественную – правду, с которой нам всем жить дальше. Правду прощения. Правду того, что детство должно быть детством, а не нескончаемым ужасом и не постоянной тревогой.

Роман Елены Крюковой «Беллона» – о великом прощении за то, чего нельзя забыть, но простить необходимо. Простить расстрелы, пытки, газовые камеры – всё, что придумал человек-фашист для человека с иными убеждениями, иным цветом кожи, иной метрикой...

Фашист – и вдруг человек? Да – человек. Может быть, уже бывший, может быть, гнилой, слабый, ужасный, жестокий. Но – человек. Крюкова не вешает ярлыков, не выбирает монохромных решений. Она пытается разобраться в том, что должно сломаться в человеке, чтобы он стал убеждённым фашистом, делящим людей на сорта. И пытается найти, чем можно (если можно!) излечить эту пагубу души человеческой.

Грандиозная задача, и решение её требует вовлечения многих персонажей. Пёстрая, многонациональная толпа помогает понять, что военное время не было каким-то особым, эпическим и далёким.

Люди, на чью долю выпали сороковые, становятся не фигурами памятников, а теми, кого можно взять за руку – читатель видит, как отчаянно пытается спасти своё дитя узница концлагеря киевлянка Двойра, как не может расстрелять фашиста Гюнтера Вегелера Иван Макаров... Это цветной мир без чётко очерченных границ «чёрного» и «белого», в этом мире есть одна правда – созидательная правда человечности, носителями которой являются все герои.

Зверства и издевательства, убийства и надругательства – и рядом сочувствие и помощь: немецкий солдат протягивает ребенку мешок сухарей, выпавший из кузова грузовика. Жителей полесского села сгоняют в здание школы, чтобы расстрелять и сжечь – и рядом немец, фашист, фриц, изначальный враг («...сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!») – вспомним знаменитое в те страшные годы стихотворение Константина Симонова) берет за руку девочку Марысю и шепчет матери: я ее спасу, уведу. Так война обнажала и фиксировала не только ужас, но и милость, веру, любовь.

Читатель становится свидетелем знакового момента, когда ослабевший и обезумевший Гитлер перед своим смертным часом видит собственных нерождённых детей, поющих на его свадебном обеде в почти павшем фашистском Берлине. Это и есть та «награда» грешнику, о которой некогда говорил Христос, – быть приговорённым к себе, вечно бежать от собственных кошмаров, зная, что от них нет спасения. Человек ли Гитлер Крюковой? Всё-таки – человек, пусть и страшный. Но и в нём есть полустёртая, полузабытая искра неразрушения...

Странный это коллаж – читатель романа побывает и в тылу русских в Горьком, и у газовых камер Освенцима, увидит руины Сталинграда и обеда Гитлера. Но, наверное, только так и можно понять, сколько судеб перепутала безумная война.

Автор не приукрашивает и не отменяет ужасов «коричневой чумы» – в книге есть и ямы с горами расстрелянных людей, и страшные утренние переключки, которые становятся последними для многих узников – часто лишь по прихоти надзирателей. Но даже в надзирательнице Освенцима Гадюке, убившей множество людей, остаются крохи человечности – она спасает и выхаживает Лео, ребёнка погибшей Двойры.

Грязь остаётся грязью, кровь – кровью, смерть – смертью. Магда Геббельс убивает своих детей: им не место в мире, которым правят «красные». Кинорежиссёр Лени Рифеншталь приезжает в Освенцим и понимает, чем на самом деле обернулась для военнопленных нацистская идея, и решает снять кадры жуткой правды помимо предложенных постановочных съёмок.

Но всё-таки главным фиксатором происходящего в этом мире, перевёрнутом и искалеченном войной, остаются детские глаза, жадно впитывающие все детали происходящего. Глаза, от которых в мирное время скрывают и меньшее зло, видят всю войну как она есть – с голодом, вшами, расстрелами. Дневники этого детства предпосланы каждой главе, и читая их, сознаёшь: прощая, нельзя забывать этого не наившегося, не наигравшегося детства, главной радостью которого было – уснуть в тишине, не под свист орудий.

Этим детям суждено пройти разными тропами, выжить чудом и быть воспитанными в чужих семьях. Но это – трудная победа самой жизни над смертью.

Изображая войну через линзу детского взгляда, легко было впасть в сантименты. Но «Беллона» не сентиментальна, Крюкова нигде не

«бьет на жалость». Иные фрагменты написаны даже спокойно, чуть отстраненно – и от этого не менее, а быть может, и более трагично и напряженно. Страсть и страдание воздействуют сильнее всего тогда, когда они сдержанны и скрыты.

Спокойное и суровое повествование не лишено метафизики, тонко прописанной мистичности. Девочка Ника, рожденная уже после войны, дочь бывшего танкиста Никодима Ульянова, бесконечно рисует войну. Ожившие рисунки этой Ники-художницы и есть весь роман: да, он реалистичен, но читатель вдруг понимает, что это война, увиденная талантливым ребенком-ангелом откуда-то из дали времени, сверху, объемно. Подробности «близкого видения», подлинность трагического военного реализма не заслоняют крупных исторических движений, позволяющих осмыслить символы прошлого.

Автор считает свою книгу данью детям войны – уже уходящему от нас поколению...

В финале Крюкова даёт монументальное полотно, настоящее послание тонкого мира: Великая Матерь кладёт руки свои на головы своим сыновьям, белокурому немцу и белокурому русскому, братьям-близнецам, а вокруг водят хороводы небесные дети. Эта правда прощения больше многих ныне известных нам правд. Но со временем мы её примем, это – правда будущего. Правда прощения, которое не равно забвению.

Елена КРЮКОВА

Родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького (семинар А. Жигулина, поэзия).

Публикуется в литературно-художественных журналах России («Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Нева», «День и Ночь», «Сибирские огни», «Юность», «Волга» и др.). Автор книг стихов и прозы, куратор и автор художественных проектов в России и за рубежом. Лауреат ряда литературных премий.

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я с трудом выпустила эту книгу из рук, дочитав. Как птицу. Но она должна лететь.

Чувство природы и чувство человека соединяются в нас в одно, не побоюсь банального эпитета, великое чувство Родины. Кстати сказать, далеко не всем дано его ощутить. Родина на биологическом уровне сознания, на эмоциональном, на социальном, на нравственном – многоуровневое это чувство, и Олегу Рябову дано не только носить его в себе, но и рассказать о нем – в новой книге со сложным длинным названием: «Убегая – оглянись, или Возвращение к Ветлуге». Здесь ключевое слово – «возвращение». Куда возвращаться, если жизнь сожжена, даже если на взгляд окружающих она и удалась? Есть куда: к рыбацкому костру, к ночной сырости и лесу, с родным звездам над головой. К России.

Три судьбы, три друга. (Как три брата в русской сказке.) Судьбы непростые, так писателем и задумано. И не покидает ощущение, что они списаны с натуры, хотя мастерство дает право нам ощутить первозданность (как модно говорить – креативность) замысла. Три студента, и каждый по-своему талантлив: Левка Бородич, Андрей Ворошилов, Боря Иванов. Кем они станут? Куда их бросит резкий, часто валящий с ног ветер жизни?

Пассионарный Андрей становится карточным игроком, искусным каталой. Это тоже своеобразный талант. Все выше и выше взбирается по крутой лестнице бизнеса. Теряет любимых и семью, попадает в тюрьму, отсиживает срок, – и вот он уже в Африке, этот загадочный для Запада русский магнат. «Деньги есть, ума не надо» – такова старая поговорка, а у Андрея одна мечта: однажды бросить все, всю эту богатую приморскую тунисскую жизнь, и оказаться снова на Ветлуге, в ночи у костра, с уловом в лодке. На Родине. Поймать этот миг горького счастья, как рыбу...

Левка Бородич мечтает преподавать в Нью-Йоркском университете. Мечтает об Израиле, об Америке – опять о Западе, о «земле обе-

тованной». Талантливый еврейский парень, он и вправду оказывается там. Советский Союз кажется примитивным и нищим в сравнении с «продвинутым» Западом. Но Америка показывает Левке и «империалистический оскал»: он теряет и Нью-Йорк, и престижную работу – и занимается продажей антиквариата в провинциальном Сан-Хосе.

А Боря Иванов, нелепый, смешной, внезапно женится на первой любви Андрея, Эллине. У пары рождается дочка. Трагедия наступает тоже внезапно: Дашенька тонет в лесной реке, а Борис сходит с ума и живет отшельником в лесу, в землянке. Он не хочет видеть людей и быть внутри людского мира. Звери, лес ему ближе. В ночных видениях к нему приходит дочь, они беседуют.

И вот финал – закономерный или неожиданный, решать читателю. Ворошилов прилетает на Ветлугу. И Бородич прилетает. В лесных краях они, созвонившись, находят друг друга. Сколько лет не видались! Сзади к вечернему костру подходит Боря Иванов. Все как всегда. Они вместе. Далеких краев и прожитой жизни нет. Есть Родина и они на Родине – и это самое главное, что с ними произошло в жизни.

На этой встрече, на этой ночной ноте роман обрывается. Чтобы продолжиться – вот этой ночной, лесной, речной музыкой Родины – в сердце каждого из нас.

Простое повествование, простые жизни. С очень непростой подкладкой, которая выстилает изнутри – копни поглубже каждого – вполне традиционную канву: «родился – учился – женился». В книге нет моралите и поучения, но в ней есть то, что сейчас становится огромной редкостью, ценностью: любовь и вера. Любовь к человеку и вера в Родину. В то, что мы все – ее дети, даже покинувшие ее, «беглые».

Человеческий мир сейчас очень ожесточился. «Злые языки страшнее пистолета» – людская злоба вечна, и теперь она принимает гипертрофированные, уродливые формы. Книга Олега Рябова – о том, что мы порядком подрастеряли: о добре, о потерянном счастье, о найденном смысле, о преодолении смерти. И надо всем – материнское, теплое крыло Родины, которая одна поймет и простит нам все наши заблуждения и грехи.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Олег Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Дмитрий Бирман

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Александр Котюсов

Ольга Лисятникова

Владимир Седов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Кирилл Анкудинов (Майкоп)

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Глеб Горбовский (Санкт-Петербург)

Ирина Горюнова (Москва)

Нина Зверева

Диана Кан (Новокуйбышевск)

Елена Крюкова

Захар Прилепин

Роман Сенчин (Москва)

Евгений Эрастов

УЧРЕДИТЕЛЬ

ООО «КНИГИ»

Рукописи принимаются

по электронной почте:

jurnal.nn@yandex.ru

или по адресу:

издательство «Книги»

603057, Нижний Новгород,

ул. Бекетова, 24/2.

Тел. (831) 412-16-04

Выпуск издания осуществлен
при финансовой поддержке
правительства
Нижегородской области

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Приволжскому федеральному
округу ПИ № ТУ 52–00924
от 20 февраля 2014 г.

Редакция не вступает в переписку.

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Ответственность
за достоверность фактов несут авторы
материалов. Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов.

При перепечатке материалов ссылка
на журнал «Нижний Новгород»
обязательна.

Подписано к печати 21.05.2015
Формат 70×108 1/16. Усл.-печ. л. 23,1.
Тираж 1000 экз.
Цена свободная

Отпечатано в типографии «Растр НН»
603024, Нижний Новгород,
ул. Белинского, 61